

Амаяк ТЕР-АБРАМЯНЦ



## О романе Амаяка Тер-Абрамянца «В ожидании Ковчега»

*Есть книги, с которыми не хочется расставаться. Прочтёшь последнюю страницу и с сожалением думаешь, кончилось. Кончилось то прекрасное погружение в незнакомый мир, которое не отпускало, заставляя тебя читать взахлёб, не отрываясь. Это свойство Большой литературы. Роман Тер-Абрамянца «В ожидании Ковчега» — такая книга.*

*Язык романа красив и прост, нет в нём модной теперь словестной шелухи. В нём есть глубина и мысль, выношенная и выстрадавшая. Роман — полифоничен. Он весь наполнен воздухом, светом, надеждой, как инстинктом жизни. Перед читателем проходит галерея героев; людей разных социальных слоёв, разных национальностей, и ни одной схемы, — все облечены в плоть, у каждого свой характер и своя судьба. И автор не судит их и не оправдывает, он страстно бесстрастен. Бог даёт человеку свободу выбора между добром и злом. Нам ли судить?*

*Это — роман-нерв. Это эпическое полотно, это реквием по жертвам геноцида, это ода армянскому народу. Быль и легенда соединились в талантливом повествовании автора. Исторические события, в гуце которых живут, любят, предают, погибают герои книги, написанной сочными, яркими сарьяновскими мазками. И перед читателем встаёт та правдивая история армянского народа, болью души написанная, о которой, к стыду, ты и не знал.*

*Какого цвета кровь? Её много в романе. Кровь армянских крестьян, мирных жителей, вырезанных целыми деревнями, русских офицеров — двух соперников любви: Анушавана — легкомысленного красавца, забитого и застреленного в ЧК, поручика Гайказуни с его обманутой любовью, прихотью судьбы спасшегося от чрезвычайки и не вынесшего известий о позорном мире с турками. Обездоленных детей умирающих от голода и холода, священника Левона, солдат армян, солдат русских...*

*А ещё кровь — родная, как у двух братьев Гургена и Петроса. Только человеческая природа и правда у них разная. У Петроса — мировая революция и абстрактное счастье для всех, с тотемом — бюстиком Карла Маркса. У Гургена — дом, семья, родная земля. Только дом разграблен, семья турками убита, а по раненой родной земле алчно рыщут то курды, то турки, то красные. Его правда — правда корней, традиций. Такая правда была у Тили Уленишигеля. Пепел Клааса стучал в его сердце. А у сердца Гургена грелась маленькая деревянная куколка, вырезанная им для маленькой дочки. Всё, что осталось от семьи, от намоленной дочки — куколка. И льётся, льётся кровь, и принимает её земля Армении, и прорастает она травами, цветами, камнями...*

*Был пастухом, солдатом русской армии, георгиевским кавалером Гурген, стал богатырём, даже после смерти нет для него границ, нет для него покоя. И появляется он призраком-стражем и оглядывает свою землю, в ожидании Ковчега. Может быть ещё построят? Может?*

*Елена Белосельская, режисёр. 9 ноября 2012 года*

*И отрет Бог всякую слезу с очей их,  
и смерти не будет уже; ни плача,  
ни вопля, ни болезни уже не будет,  
ибо прежнее прошло. И сказал  
Сидящий на престоле; се, творю все новое.  
Откровение ап. Иоанна Богослова.*

## ПРОЛОГ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛОМ ЭПИЛОГА

Труп грозного Гургена лежал на площади перед церковью. Справа от него, в ряд, лежали его сотоварищи дашнаки-маузеристы. Он был крайним, а за ним — Або, Саркис, Каро, Ваче и другие. Красная армия взяла Город с четвертой попытки. Кто решил отступить — отступили в Зангезур, а здесь остались те, которые не успели уйти или не захотели. Пространство перед папертью было занято рядами мертвых маузеристов с голыми ногами и синими ступнями. Несмотря на раннюю весну, солнце припекало по-летнему, и животы у трупов начали неизбежно вздуваться, отчего все они казались толстяками. На груди у многих горели всунутые в мертвые руки маленькие свечи — у некоторых они уже погасли. Тихо и редко позванивал церковный колокол, а между убиенными ходил в черном маленький горбатенький старичок с блестящей лысиной, окруженной седой порослью, тербил дешевый нагрудный крест и шевелил губами. Грозный Гурген лежал, и теперь его никто не боялся: ни большевики, ни турки, ни городские обыватели, ни духанщик Мамикон. Кто знал своих, тех уже забрали, а эти, оставшиеся, были в основном из других уездов, из деревень. И лишь любопытные к смерти люди пришли сюда, образовав небольшую толпу, и перешептывались. Женщины, морщась,

поднимали к лицам платки, мужчины — рукава к носам, чтобы ослабить назревающий трупный смрад, но не уходили, а будто еще чего-то ждали. Иногда кто-то шептал: «Смотрите – Гурген лежит!».

Жара творила разложение и в животе Гургена, грозного командира вольного хумба — отряда. Гнилостные газы, вздув живот, как барабан, нашли слабое место – грыжу – следствие позапрошлого пулевого ранения под Сардарабатом. Источенный грыжевой мешок, подрезанный осколком гранаты, лопнул, и газы с сипом покинули чрево.

Те, кто стояли неподалеку, замахали руками и отошли, но не ушли совсем. Кто-то весело высказался.

Над глазницей Гургена, заполненной подсохшей кровянистой кашей, деловито зудели мухи, свечка догорала, и пламя уже касалось бесчувственных пальцев.

Матрос Жлоба, перевязанный крест-накрест патронными лентами, подошел к мертвому Гургену и поставил свой сапог ему на голову. Сапоги у Жлобы были хорошие, хромовые – он менял их после каждого наступления. Так было на Кубани, так было в Крыму, так и здесь...

Матрос Жлоба покачивался. Он был пьян, но недостаточно и злился оттого, что его поставили здесь зачем-то охранять эти трупы, в то время как его боевые товарищи праздновали победу в винном погребе, который взяли накануне штурмом. И ведь этот был там! – Жлоба его сразу узнал по отрубленной щеке, за которой белел частокол зубов. Кто его так? – Шашек у красноармейцев в том бою не было – штыки, винтовки, пистолеты... И когда они ворвались в духан, этот уже придерживал щеку рукой, зверем выл, сидел в углу и раскачивался. И молодой солдат Силкин ударил штыком ему в глаз, просто так, в отместку за собственный страх.

— Свиделись! – усмехнулся, покачиваясь, Жлоба, снял сапог с головы и достал из-за пазухи сильно початую бутылку. – Свиделись!

Грозный Гурген молчал, зудели мухи. Жлобе стало скучно. Он поднял глаза и встретился с глазами толпы, в большинстве своем черными, настороженными, молчаливыми, и вдруг почувствовал себя в центре внимания. От него будто чего-то ждали. Мужчины смотрели угрюмо, женщины прикрывали черными платками лица, выражение их глаз было неопределенно-выжидающим.

— Товарищи! – Жлоба вытянулся во весь свой богатырский рост и выбросил вверх руку совсем так, как это делали их комиссар Фрумкин. – Товарищи! – провозгласил Жлоба. — Вот теперь, когда мы этих гадов порешили, и начнется счастливая жизнь!

Толпа молчала, и Жлоба понял, что надо по-яснить.

— Товарищи армяне! – в этот миг он казался себе солнцем, осветившим все дальние дали. – Вот и все! Теперь – свобода! Теперь вас никто не тронет – ни, бля, Антанта, ни Врангель никакой!.. – Жлоба икнул.

— А турки? – вдруг прозвенел мальчишеский голос.

— Турки? – Жлоба расхохотался, — Да турок мы вааще в бараний рог!..

— Э, нет-нет-нет, не так работаете с насе-лением! – матроса толкал в бок молодой комиссар Фрумкин. Как он здесь появился, да еще в сопровождении двух красноармейцев, увлеченный речью Жлоба и не заметил. Комиссар был молод, красив, его черные глаза весело блестели от победы, от выпитого вина, но где бы он ни был, в любое время суток, хоть среди ночи разбуди, он постоянно чувствовал себя на боевом идеологическом посту, готовым к работе.

– Не с того конца Жлоба берете, не так, — он бесцеремонно отеснил гиганта.

— Товарищи армяне, трудящиеся! Ваши настоящие враги не турки, а буржуи, капиталисты и помещики! Это они натравливают один народ на другой! Простые турки – такие же, как и вы, бедняки, угнетаемые своими помещиками и капиталистами! А скинем капиталистов по всему миру — и будем жить как братья! Товарищи армяне! Да вы хоть знаете, что такое интернационал? ИН-ТЕР-НАЦИО-НАЛ! – благоговейно продекламировал Фрумкин, воздев руки к небу. – Это, когда все люди равны, независимо от нации... «Эгалитэ! Фратэрнитэ! Либертэ!» — так сказать, товарищи армяне!

Вот в нашей доблестной Красной армии – и русские, и татары, и грузины, и армяне, даже китаец один есть!

— Пра-пра-правильно, — вдруг пробудился за-дремавший было Жлоба, — и даже жида, и армяшки!

Фрумкин только небрежно пожал плечами и снова продолжил:

— Товарищи!..

— Нет, дай я скажу! – Жлоба снова рванулся вперед. Ему вдруг захотелось рассказать этим людям о многом. О своих павших друзьях, с которыми мерз в окопах, пил водку, кормил вшей, полз под пулями, шел по грудь через ледяной Сиваш, за которых отомстил... А главное, о счастье, которое он им принес, как матросское яблочко... Однако Фрумкин не пускал: «Да погоди ж ты!»

Жлоба попытался протиснуться впереди ко-миссара, но быстро снова сник. Он уже еле стоял, и все силы уходили, чтобы оставаться хотя бы в относительно вертикальном положении.

— Товарищи! – бодро провозгласил Фрумкин – у нас ведь даже гимн есть, который так и называется – ИН-ТЕР-НАЦИО-НАЛ! Вы только послушайте... Ребята, споем? – подмигнул он двум сопровождающим его солдатам.

— Сми-ирна! – скомандовал Фрумкин, выпря-мившись в струнку, солдаты тоже вытянулись, ударив о землю прикладами.

Вставай, проклятьем заклеименный,

Весь мир голодных и рабов...

— вдохновенно запел Фрумкин, а вместе с ним и солдаты, белобрысы парни из Рязани.

Ему нравилось думать о себе как о «железном» комиссаре, однако, между нами, у этого железного комиссара была все же одна слабость – полное отсутствие музыкального слуха. Но как и большинство людей с подобным недостатком, он был внутренне глубоко убежден, что поет замечательно и все дело в том, что пока просто не нашел достойных слушателей.

На втором куплете у поющих солдат сделались такие лица, будто у них неожиданно страшно разболелись зубы, а народ вдруг стал довольно быстро расходиться.

— Да куда же вы, куда? Стойте! — закричал в отчаянии Фрумкин. Вот так всегда: не успевал он по-настоящему показать всю глубину и мощь таланта, как невежественная публика, склонная к легким базарным куплетикам и любовным песенкам, начинала исчезать!

Площадь стремительно пустела.

— Э-эх! — махнул Фрумкин и тут же был вы-нужден ухватить за ремень падающего Жлобу. — Да хватайте его, хватайте, — заорал он, обернувшись к солдатам, — один я эту тушу не удержу! А не то упадет, и его вместе с трупами увезут!

Солдаты ловко подхватили Жлобу справа и слева, Фрумкин шел сзади и командовал:

— Тащите его в отряд!

А грозный Гурген молчал: свое вино он уже все отхлебал.

Поднялась пыль, промчалась лихо по площади открытая пролетка, остановилась у церкви. В ней привстал человек во френче с биноклем на груди и, деловито оглянув убиенных (значительная часть из них поверила в обещание оставить им жизнь, сдалась и была на месте расстреляна), с удовлетворением кивнул, потом пальцем поманил вновь появившегося маленького старичка священника.

Попик подошел, перепуганно кланяясь.

— Это что? — ткнул человек во френче на колокольню, с которой время от времени доносился тихий звон.

— Церковь, господин...

— Ты дурак? — спросил красный командир священника, — теперь у нас господ нет, все — товарищи, кроме тебя, конечно, блядины, и всех попов, кровь из народа сосущих! Я спрашиваю, звонят зачем?

— Мертвые тут, — обвел святой отец руками площадь.

— Ты это свою музыку поповскую кончай, а то враз научим, — рука потянулась к кобуре.

Старик испуганно затрясся, и, увидев его страх, командир добродушно расхохотался.

— Что? Обосрался?! — Кончай звонить, опиум народа, люди после боя отдыхают...

— Слушаю, слушаю, — закивал священник, птясь.

— Так-то! — строго погрозил пальцем командир и крикнул сидящему впереди красноармейцу: — Балдерис, трогай!

Колокол смолк. Пыль рассеялась.

Некоторое время у церкви оставались только мертвые. Солнце перевалило за полдень, Редкие прохожие старались побыстрее миновать площадь.

Ближе к вечеру подъехало несколько скрипучих телег, влекомых изможденными клячами. Возницы были мрачные и тощие, подстать клячам. И глаза возниц и кляч были печальные и покорные. Рядом с телегами шли, бойко балагурия, красноармейцы.

— Теперь уж закоченели, будет полегше!

— Грузи по двое, как бревнышки!

Грузить начали не с того конца, где лежал Гурген. Телеги уходили одна за одной. Время быстро двигалось к вечеру. От веселого настроения солдат не осталось и следа. Теперь они то и дело переругивались.

— Ну не туда, не туда, мать твою, головой заноси!

— Ноги наружу!

— Да аль им не все равно?

— Положено так...

— Вот и положи свой хрен куда положено! — хрипел некто, приподнимая тело из последних сил на вершину образовавшейся на телеге пирамиды мертвецов.

Солнце уже коснулось края крыш и золотило пыль, стало холодать.

— Не успеем до темноты, ребятки — одной телеги не хватит!

— Авось да хватит!

С лицом и бородой ассирийского царя возница сидел в белой застиранной до дыр рубахе и равнодушно ждал.

— Так что, из-за одной телеги вертаться? Эй, Ашот, что сидишь, как прынец армянский, а ну помогай!

— Чо говорит там?

— Говорит, телега старая, не выдержит.

— А он ехать лишний раз не хочет по темноте?

— Авось выдержит, — выдержит, куда денется? А ну, наддай, ребятки, как в последний бой!

Солдаты кричали, злились (заслуженный отдых был так близок!), и гора росла и росла. Уже прощальные отсветы исчезающего за крышами солнца озаряли площадь. На земле оставался последний — хмбапет Гурген. Взялись двое и сразу опустили.

— Тяжел, черт! А ну, ребятки, подмогни! Высоко кидать...

Четверо самых рослых солдат взяли труп за руки и за ноги, хорошенько раскачав, бросили на самый верх.

Вдруг раздался треск дерева — это сломалась тележная ось, и вся телега с башней из мертвецов грозно накренилась, и трупы, будто ожив, медленно, потом быстрее и быстрее поползли, заскользили, обгоняя один другого, сваливаясь на землю, в кучу.

— Ну, хватит! — орал разъяренные солдаты. — Пускай до завтра теперь и остаются, а завтра пускай комиссар других дураков поищет!

Ругаясь, они отправились в надвигающихся сумерках к огням, к живым людям, где была вода, чтобы умыться, где были свет, тепло и вино. Стремительно темнело.

А «прынец армянский», вздыхая и тихо ругаясь, выпряг клячу и уходил с площади уже в полной темноте. Еще некоторое время белела его рубаха, слышалось недовольное бурчанье да перестук копыт. И все, наконец, затихло.

Настала холодная ночь. Где-то голоса затягивали пьяные песни, где-то брехали собаки. Несколько бродячих псов приблизились к трупам, но их прогнал появившийся из церкви маленький священник, бросая мелкие камешки, и они быстро исчезли, а может, уже и почуяли что-то неладное. Маленький священник ушел в церковь молиться. Поднялся ветер, луну то и дело затягивали облака.

В церкви было зажжено всего несколько свечей и тлела лампада перед иконой Божьей Матери с младенцем. Священник смотрел на нее жадными черными глазами, будто пытаясь выведать последнюю правду, и шевелил губами. Вдруг тревожно и жалобно завыли все собаки окрест, но кроме него никто этого не заметил – люди были или слишком пьяны, или слишком крепко спали. По церкви будто дунуло зимнее дыхание, вмиг загасив свечи и лампаду, и священник, очутившись в полной темноте, сжавшись от ужаса, почувствовал, что происходит что-то невероятное, страшное, и продолжал неистово молиться за всех живущих и умерших со времен прародителя Ноя.

Неожиданно в горе трупов что-то шевельнулось. Из нее показалась чья-то рука и стала шарить в воздухе. Словно кто-то протискивался наружу. Рука выпрастовывалась из кучи все более и более и, наконец, показалось плечо, за ним голова с тянущейся на кожном лоскуте щекой. Скоро весь Гурген вылез из кучи и уселся. Веко неповрежденного глаза дрогнуло, и мертвый глаз открылся. Выглянула Луна, но не отразилась в нем. Мертвый глаз только принимал, но ничего не отдавал.

Мертвый Гурген повел головой – в ту, в другую сторону. Он был мертв, конечно, но все неистовство, что двигало им, не могло исчезнуть просто так, — оно превратилась в самостоятельную силу, готовую куда-то вести...

А справа от него лежал красавчик Або, тот самый – Иуда!..

## **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.**

# **КОМАНДИР ГУРГЕН ИЛИ ПЕСЕНКИ ТЕТУШКИ ВАРДУИ**

### **СЛАВА ХМБАПЕТУ!**

Грозный Гурген был грузен и коренаст: квадрат на квадрате, скала на скале, и низкий глухо рычащий голос его был подобен отдаленному грому над горами. Никого он не боялся – боялись только его, и притихал вольный отряд, когда он, налившись, как кувшин, до горла вином и туговой водкой, смотрел из-под своих сросшихся на переносье лохматых колочих бровей, впивался поочередно в каждого боевого товарища за столом, тарачил черные с красными белками глаза, будто в каждом выискивал измену и предательство, будто Иуду в каждом узревал, а пальцы тянулись к деревянной кобуре маузера, сокращались от злобы, скребя ее. Притихал отряд, отводили глаза: что ему в голову взбредет? – собственную сестру убил за то, что с турком связалась!.. И лишь красавчик Або, сидящий обычно напротив, улыбался ему своей улыбкой-ухмылкой, а черные глаза его бывали, как обычно, цепко неподвижны.

Або был другой – гибкий, как змея, и речь у него текла, шипя и извиваясь, как хищная горная река.

«Что смотришь, Або?» — улыбка, которая раньше ему нравилась, теперь, после опорожненных бутылей, казалась Гургену все более подозрительной и наглой, — а Або не отвечал, а только смотрел прямо в глаза и, как всегда, улыбался. «Что улыбаешься, Або?.. Ни пуля турецкая меня не достанет, ни штык, ни сабля... а если суждено умереть, так от своего... а может, это ты сзади подкрадешься и, как шакал, ножом в спину! А?.. — Знаю тебя, вижу! Так уж лучше, быть может, мне прямо сейчас тебя!..»

Ярость охватывала Гургена, реальное смешивалось с воображаемым, по лицу прокатывалась судорога, слышался костяной зубовой скрип, рука тянулась к маузеру.

Но Або был начеку и, как только приближался такой момент, он незаметно подмигивал кривому рыжему Сурену, стоявшему позади командира или сидящему рядом, тот незаметно, легким движением снимал с пояса Гургена кобур с маузером, и рука Гургена лишь впустую шарилась в поисках оружия.

И тогда в ярости Гурген вскакивал, но Або давал сигнал, и все, кто был рядом, наваливались на хмбাপета кучей, потому что Гурген был, несмотря на свой средний рост, силен, как вол. Он стряхивал с себя эту кучу, но на него вновь налезали. Так происходило несколько раз, пока измучившийся от борьбы Гурген внезапно не засыпал (иногда прямо стоя!). И тогда Ваче из Карабага, всегда полусонный богатырь, взваливал командира себе через плечо и относил спать. И пока он нес тело, круглая голова командира болталась арбузом, болтались беспомощно квадратные крестьянские кисти с воловьими жилами вен.

Да, Гурген никого не боялся. И не было над ним никакого начальства – ни Дро,\* ни Андраника,\* ни Католикоса! И папаха была на нем не овечья, как у большинства, а из тонкого каракуля, как у самого Андраника, и газыри всегда были полны желтыми патронами! Не было над ним ни начальства, ни Господа Бога!

---

\*Дро – Драстамат Кананян – видный член партии Дашнакцутюн (союз), герой национально-освободительного движения армян против турецких поработителей и большевиков, военачальник, министр обороны республики Армения в 1919-1920 гг.

\*Андраник – генерал Андраник – герой национально-освободительного движения армян против турецких поработителей.

Зато своих в обиду не давал. Один раз ему отказали в месячном довольствии. Он знал, чьи это козни. Это обыватели Города пожаловались Дро на его бойцов, — мол катаются ночами пьяные на пролетках, палат по окнам! Ну и что, было всего раз, когда кривой Сурен пальнул кому-то в окно и разбил чью-то венецианскую вазу! А так только в воздух палили! А разве запрещено в воздух палить? Есть закон, который запрещает в Луну палить? Им, победителям, героям, которые кровь проливали за этих трусов, отсиживавшихся за ставнями и шторами и только в страхе молившихся, когда турки наступали!?

Это, конечно, они, обыватели, хитрые – они давно хотели избавиться от отряда Гургена! Но сам Дро боялся связываться с Гургеном в открытую, вот и придумали в интендантстве, будто запасы закончились. Но не учли, что с Гургеном так нельзя! – Гурген заслуженный человек, сам Генерал руку ему пожимал! Гурген – народный герой! И никогда не оставит своих бойцов голодными. Нет довольствия? – Ладно...

Он мог бы разграбить базар, просто отнять у этих торгашей то, что они и сами могли бы принести ему добровольно в качестве благодарности, будь у них совесть. Но он сделал все справедливо, открыто... Нет довольствия в интенданстве? – Ладно...

В тот вечер он сел в фаэтон, которым правил рыжий кривой Сурен, а рядом скакали на лошадях его товарищи. Заслышав крики и топот коней издали, обыватели торопились прикрывать ставни, прохожие жались к краям улиц, по которым, весело переключаясь, рысью двигался, время от времени переходя на галоп, его отряд. Отряд остановился у парадных дверей банка, лестницу к которым охраняли два мраморных льва.

Бойцы спешили, расседлали коней, привязав вожжи к коновязям, а из фаэтона вышел Гурген во всеоружии – в папахе, чохе с газырями, он решительно топал вверх по лестнице, волоча постукивающую через ступеньки длинную шашку и придерживая кобуру маузера. За ним устремился весь отряд – красавчик Або, кривой Сурен, богатырь Ваче и другие...

Солдат охраны, сидящий на табурете у дверей банка с винтовкой меж колен, смолил самокрутку и будто не замечал их. Рабочий день в банке уже заканчивался. Здесь было полутемно. Красный шар солнца заглядывал в окно, и хрустальные подвески люстр тускло поблескивали.

Банковский служащий, немолодой человек в очках, сидел в кассе, вписывая что-то в журнал. Два тощих босых мальчика семи и десяти лет сидели неподалеку у окна. Банковский служащий был из беженцев, а мальчишки – его сыновья: они жили здесь же, в банке, поскольку идти им было некуда. Дети с настороженным любопытством смотрели на вошедших вооруженных людей в папахах, заполнивших пространство шумом голосов и шагами. Никто из вошедших не обратил на них внимания – весь город был переполнен голодными беженцами, оборвышами, потерявшими родителей, просящими подаю или что-то подворовывающими на рынке. Жители уже привыкли к этим ждущим, молчаливо просящим глазам, с которыми сталкивались повсюду, выходя из дома. Утром детей часто находили мертвыми, и специальная телега собирала их тела, отвозила на кладбище, где их сваливали в общие ямы, поливали хлоркой и закапывали.

Ваче и Хачатур быстро встали у дверей банка, чтобы не допускать посторонних. Гурген подошел к конторке, банковский служащий поднял на него лицо, поправил очки.

— Барэв дзэс!\* Чем могу Вам служить, уважаемый?

\*Барэв дзэс – добро вам, здравствуйте (арм).

Гурген локтем оперся о конторку и широко зевнул, показав ряды крепких желтых зубов.

— Я хмбапет Гурген, слышал о таком?

— Да, уважаемый, кто не слышал вашего славного имени?

Хмбапет довольно ухмыльнулся:

— Моему отряду необходимо десять тысяч!

— Сколько? – очки дрогнули.

— Десять тысяч, — говорю – ни больше, ни меньше! Я знаю, сегодня у вас наличность есть.

Служащий мелко закивал, задрожал.

— Но я... Я не могу вам выдать без соответствующего документа...

— Документ? – Гурген внезапно расхохотался, хлопнув себя по лбу, — ну, конечно, а я-то забыл! Ну, бери тогда бумагу, писарь, пиши, а я подпишу...

Дрожащей рукой, под диктовку, служащий выводил каллиграфическим почерком буквы на бумаге, однако слегка разбрызгивая чернила и нервно окуная перо в чернильницу.

— Я хмбапет Гурген Аршаруни изымаю на нужды отряда положенные мне деньги – десять тысяч.

Записал?

— Сейчас, — кивнул служащий, — еще число надо указать.

Гурген милостиво кивнул, а затем вытащил бумагу у кассира и стал рассматривать красивые, загадочные, ничего не говорящие ему буквы. Нахмурившись, он делал вид, что читает. В его родном селе была трехгодичная церковно-приходская школа, где священник обучал началам армянской грамоты, счету и Закону Божию. Дальше буквы «А» Гурген грамоту не осилил и вместо учебы предпочитал днями напролет скакать по горам на жеребенке, подаренном на свою беду сердобольным родителем в день десятилетия, ставить силки на птиц и зайцев... Не помогали ни уговоры, ни битие,

и несчастный отец в конце концов махнул рукой на сына: «Пастухом будет!». Но с течением времени знакомством с этой единственной буквой Гурген все более втайне гордился, она была как бы преддверием в какой-то загадочный, сияющий непостижимый мир, в который он уже сделал первый шаг, и несколько раз давал себе зарок обучиться грамоте, но жизнь не оставляла на это времени.

Он знал, что в таких случаях ставят подпись. А поскольку его фамилия начиналась именно на эту букву «А», он нарисовал ее ниже текста и протянул бумагу кассиру с удовольствием, будто совершил меткий выстрел.

— Теперь все в порядке? — ухмыльнулся Гурген.

— Уважаемый хмбапет, — однако, дрожащим голосом возразил служащий, — этого недостаточно для такой большой суммы, нужна еще печать...

Гурген нахмурился.

— Так тебе слова хмбапета недостаточно! Тебе бумага нужна! Ты и бумагу получил... Тебе этого недостаточно?

— Уважаемый, меня выгонят с работы, а с детьми мне идти некуда...

Гурген грозно надвинулся, вытащил маузер, взвел курок и приставил дуло ко лбу кассира так, что тот почувствовал кожей холодное металлическое колечко.

— Ну, а этого теперь достаточно!?

— Достаточно, теперь совершенно достаточно, уважаемый — успокаивающе замахал руками кассир.

Або раскрыл мешок, а кассир начал выкладывать на прилавок пачки денег.

— Больше того, что нам должны, мы не возьмем! — гордо провозгласил хмбапет.

Або деловито пересчитывал пачки, и они исчезали в мешке. На всякий случай все были начеку — вытащили маузеры, взвели курки и пристально озирались — солдат-охранник куда-то подевался!..

Заполнив мешок, ватага двинулась к выходу, провожаемая испуганными детскими глазами.

Назад возвращались шумно и весело. Мчалась под уклон пролетка, цокали копыта лошадей. Всадники пару раз пальнули в воздух. Кажется, сама луна хохотала!

— Слава хмбапету!

— Ура Гургену!

— Кто еще заботится так о своих солдатах?

Завтра будет все — виноград, шашлык, женщины!.. А пока в винный подвал к Мамикону! Хорошее вино у Мамикона.

Будем пить, праздновать победу до утра! Где зурначи?..

Обыватели задергивали шторы плотнее, ежились, заслышав на улице шум. «Снова Гурген гуляет! — вздыхали. — Когда ж это кончится? Чтоб его черти забрали!» А лежащие у стен беженцы провожали кавалькаду потусторонними, равнодушными взглядами, устремленными из полунебытия.

И вино лилось рекой. И кривой рыжий Сурен то и дело бегал вниз пополнять из карасов пустеющие бутылки. И весело бляела зурна, дружно хлопали ладоши, и кривой Сурен, сбросив овечью папаху, плюнув на банкноту, прилепнул ее себе на неожиданно высокий, как дыня, лоб и пустился впредь под общий хохот и хлопанье в ладоши.

И Гурген, когда начинал пить вместе со всеми, сначала веселел, казалось, еще немного, и мир превратится из черно-белого в цветной, каким он был «ДО ТОГО», и что он пережил и перевидал, покажется полусном, который можно забыть, как забывается дурной кошмар, когда встряхнешь поутру головой и умоешь лицо ключевой студеной водой. Но то была лишь временная иллюзия, и с новой чаркой вдруг начавшие выламываться откуда-то куски прошлого становились реальнее всей этой окружающей его шутовской свистопляски. Он пил, чтобы забыться, дать душе утонуть, топил прошлое волнами алкоголя, а оно снова всплывало, совсем не цветное, а черное по преимуществу, с растекающимися по черному фону багровыми и красными ветвями... И багрового, алого становилось все больше, оно затопляло все, и лишь тогда он будто в яму проваливался.

## ГРИДНЕВ

Начиная с 1914 года, когда разразилась Мировая Война, дела России на Кавказском фронте обстояли гораздо лучше, чем на Германском: русские части успешно наступали и эмиссары правительства Турции обратились к армянам с предложением поднять восстание в тылу русских войск. Они обратились к тем, кого сотни лет угнетали, грабили, убивали — не считали за людей. Армяне ответили твердым отказом. С Россией они связывали свои надежды на свободу, жизнь, человеческое будущее.

И тогда с 1915 года на территории западной Армении, а далее и везде, куда только достигали турецкие аскеры и их союзники кавказские татары, началось то, что армяне назвали Метц Ехерн — великим злодеянием, большой резней или Цехоспанутюн — уничтожение нации, а в 1944 году, после трагедии европейского еврейства, Шоа — катастрофы, Холокоста — всеожжения, получило более понятный европейцу юридически-научно звучащий термин, происходящий из латинских корней: геноцид — физическое уничтожение народа по единственному признаку — национальному. Метц Ехерн взломал армянскую историю на «до» и «после», оставив навсегда глубочайшую травму в национальном самосознании армян.

Организованное младотурецким правительством планомерное и систематическое уничтожение армянского населения дало возможность проявиться всему низменному и лживому, что было в человеческой натуре. Но турки уничтожали армян не хладнокровно безжалостно, шизофренически последовательно и аккуратно, как это делали с евреями позже немцы, а с азиатской горячностью, наслаждением и большой выдумкой. Пустить пулю в затылок, повесить, заколоть штыком — это слишком просто. Вот отрезать голову, облить керосином и сжечь заживо, женщину изнасиловать на глазах

собственного связанного мужа и детей, отрезать половой член и затолкать в рот жертве... — да всех «веселых» задумок восточного человека и не перечислишь! Странно – та рука, которая разбивала голову прикладом армянскому младенцу потом ласкала и гладила голову собственного ребенка!..

Конечно, часть солдат просто выполняла приказы без всякого удовольствия, а были даже среди турок те, немногие, которые укрывали армян, рискуя собственным благополучием и даже жизнью. Те, история о которых еще не написана (да и вряд ли будет написана), но деяния которых все еще позволяют сохранить какую-то надежду на человечество.

За годы войны, во время наступления русской армии, в которую он был призван, Гурген навиделся последствий Метц Ехерна — сожженные армянские деревни, распятые мужчины с отрезанными половыми органами, отсечённые головы на древках, изнасилованные женщины с заочевенными раздвинутыми ногами и перерезанным горлом, изуродованные трупы детей, стариков и старух, объедаемые голодными псами. Он и другие армяне, служащие в кавказском корпусе повидали это! Они видели истощенных беженцев, рассказывающих вещи невообразимые, творимые турецкими аскерами... безумных женщин, упрямо несущих мертвых детей... И сердца Гургена и его товарищей вновь и вновь наливались ненавистью к тем, кто губил его народ, а иные каменели, немели в запредельном безразличии и такие живые мертвецы были уже подобны заводным куклам... Но русская армия наступала, и это вселяло в армян надежду. Но в 17 году, после того как в России произошла революция и «белый царь» был низвергнут, победоносный Кавказский фронт остановился. Обессиленные турки тоже не рвались в атаку, и фронт стоял месяц за месяцем, не двигаясь ни в ту, ни в другую сторону – боевые действия практически прекратились.

В русских частях, как в Европе, так и на Кавказе началось и набирало силу невиданное демократическое движение: солдаты сами выбирали командиров! А негодных офицеров изгоняли или поднимали на штыки! И любой приказ офицеры теперь должны были согласовывать с комитетами советов солдатских депутатов.

На бочку перед толпой солдат вылез коренастый, известный всем горлопан Васька Дундуков.

— Хорош, братва! – орал Дундуков. – Теперича наша власть! Революция! Свобода! Воля! Мы, солдаты, вольны командиров выбирать: кого захотим – того и поставим. А прежних, царских – долой! Вон наш поручик Гриднев, блидина, плакал-то, когда царя-батюшку тю-тю... Надеть его тю-тю... менять! Предлагаю, братцы, себя! Я ль с вами вместе из одного котелка не хлебал? Я ль с вами в атаку не ходил, я ль в окопах с вами вшей не кормил? Кто как не я, братцы, нашу нужду солдатскую знает?

А перво-наперво, какая нам нужда воевать? Нас царь-батюшка сюда прислал, а теперь и Керенский тож толкает: воюй!.. А то, братцы, не наша война – то царская, я вам скажу!

Толпа одобрительно гудела.

— И чего мы в этих горах не видали? На кой ляд они нам? У нас дома в Расее женки с детушками, земляца не пахана! Я так скажу: турка тоже человек! Турка тоже воевать не хочет! У него тоже детушки, и свои богатеи его воевать шлют. Вот с германского фронта кореша писали – с немцем тама братаются – винтыры в землю, выйдут наши и они на полосу, и давай на гармошках — кто кого!.. Вот и нам с турком так надо брататься – мы на гармошке – они на дуде!.. И пусть в Россию, домой отправляют! Такая наша воля!

— Домой! – радостно заревела толпа. – В Россию!.. Хватит!

Небольшая группа солдат-армян стояла поодаль и мрачно слушала.

— Пошли к поручику! – махнул рукой Гурген после последних слов оратора, и группа зашагала прочь.

Поручик Гриднев сидел у себя в комнатке за столом в нижней рубахе, в галифе и босой. На столе стояла початая бутылка самогона и стакан. Он перебирал струны гитары и тихо напевал глубоким с хрипотцой голосом:

Утро туманное, утро седое,

Нивы печальные, снегом покрытые...

Нехотя вспомнишь и время былое...

В дверь постучали.

— Заходи! – рявкнул Гриднев.

Несколько человек, топя сапогами, вошли и стали у стола.

— А-а, — сказал Гриднев, не поднимая головы от гитары. – Депутаты?

— Нэт, мы армяне! – сказал один из вошедших.

— А-а, — Гриднев, наконец, поднял глаза от гитары на солдат. – Тоже себе начальника выбрали?

— Нет, — сказал вышедший вперед Гурген. — Господин офицер, там Дундукова ротным выбирают, мы ему подчиняться не будем: пусть сам с турками целуется...

— Чего ж вы от меня хотите? – с некоторым интересом и недоумением взглянул на гостей Гриднев.

— Господин поручик! Мы только вам подчиняться хотим!

Гриднев усмехнулся:

— Трогательно... трогательно, конечно... Ну, я вас понимаю... Мы уйдем – вам лихо придется! Но... — он неожиданно взял на гитаре аккорд, — не получится!

— Почему?

— Солдаты домой хотят, и понять их можно... А потому они дундуковых будут слушать, а не меня! Да о чем разговор, братцы армяне! Сам Керенский бессилен против этих «депутатов», а вы хотите, чтобы Гриднев все изменил!

Социалистов развелось! – добавил он зло, уже себе.

— Мы все равно не будем под Дундуковым! – упрямо заявил Гурген.

— Ну не будьте, а что я могу сделать?

— Ваше благородие! – заявил Гурген по дореволюционной форме, и Гриднев почувствовал, как несимпатична революция этим людям. – Из моей деревни вестей уже месяца два нет. Дайте отпуск!

— А где твоя деревня?

Гурген назвал район. Район был непонятный, горный, без четкой линии фронта. Точнее, не было там крупных воинских частей ни с той, ни с другой стороны.

— А давай я вам всем отпуск дам – пока я еще командир! – вдруг повеселел Гриднев. – Езжайте-ка по домам на недельку-две, а там, говорят в штабе, и армянский корпус будут формировать!

Он достал листы, ручку, чернила и принялся писать.

А на прощанье растрогался и подарил Гургену отличный цейсовский бинокль.

— Ты хорошим солдатом, Гурген, был, недаром Георгия носишь, бери! И вспоминай иногда поручика Гриднева! И быстро к полковнику за печатью!

## КУКОЛКА

У знакомого поворота дороги на деревню Гурген и Ваче из Карабага придержали коней.

Ваче был добродушный и послушный детина и охотно позволял Гургену собою командовать. Они были из одной роты, и Ваче по непонятным причинам увязался за Гургеном.

— Стой! – тихо скомандовал Гурген, поднимая руку: нехорошие предчувствия теснили ему грудь. Он усмехнулся, подумав, что вот его деревня, а он, как вор, боится в нее войти. Однако все виденное за последние месяцы заставляло быть крайне осторожным и ожидать только худшего.

Раздобыв лошадей, больше недели они ехали по прифронтовой полосе, больше напоминавшей пустыню, проходя разоренные и сожженные армянские села – свежие знаки Великой Беды. В некоторые начали было возвращаться беженцы: истощенные, они бродили, как пугливые тени среди развалин. Мужчины воевали на фронтах, подчас совсем не на Кавказе, а в какой-нибудь Галиции. Старики, женщины, дети жили в страхе перед ночными набегами курдов или турок, деревни которых были русскими войсками в общем-то нетронуты, полны мужчин, которых, как мусульман, не мобилизовывали в русскую армию – эти села Гурген и Ваче обходили...

На краю кизилового леса они привязали лошадей.

— Жди меня здесь до заката, если не вернусь – ночью уходи, — распорядился Гурген. Шашку он оставил, подвязав к луке седла, и взял с собой из оружия только маузер, предварительно проверив исправность, наличие патронов в магазине, пощелкав предохранителем... Затем, сдвинув папаху на затылок, двинулся по дороге.

На поле, справа от дороги, созревали колосья хлебов. В это время обычно начиналась жатва с песнями, трудом от зари до зари, но на поле не было ни одного человека, в лесу не перекликались собирающие ягоды и сучья женщины, и это был дурной знак. Гурген сошел с дороги, стал пробираться по ее краю вдоль кустарника, но это ему быстро надоело, и он решил пойти напрямик – срезать дорогу, перейдя отрог, за которым и должна сразу открыться деревня.

Гурген вышел на голое безлесное плечо отрога. Медленно и тяжело поднимался солдат в папаче с георгиевским крестиком на груди, с маузером в руке. Оглушительно верещали цикады. Он шел по выжженной солнцем колючей траве склона с рассеянными тут и там белыми камнями, на которых грелись черные змеи — почуяв чужие шаги, они быстро исчезали в невидимых щелях — шел к синееющему над гребнем небу, и сердце бухало тяжело, будто орудие прямой наводкой.

Вот глаза его уже на уровне, разделяющем небо и сушу, еще шаг – выступили знакомые с детства силуэты дальних гор, еще пара шагов, земля отступила вниз – перед ним открылась котловина с деревней...

Гурген остановился, чувствуя, как холодеет спина. Вся деревня как на ладони. Нет, она была цела – ни пожарищ, ни разрушений... вот хижина пастуха, церквушка на холме... Дом его — стены его дома белеют за чинарой!.. Но ни звука, ни движения! Ни дымка над очагами, ни мычанья волов, ни звона церковного колокола... Подняв бинокль, он стал рассматривать улицы: ни человека, ни собаки... Что ж, возможно, это и к лучшему, если жители успели покинуть деревню до прихода турок!.. Однако тревога не оставляла его. Гурген рванул ворот, обнажив волосатую грудь, глубоко вдохнул и, как в омут погружаясь, зашагал вниз.

Он шел по улице мимо глиняных заборов, саманных домиков, вспоминая тех, кто в них жил, шел к отчему дому – в этом хмурый пастух Каро, в этом пекшая самый вкусный в деревне лаваш толстая хохотушка Тигрануи... стекла окон мертво смотрели на него, некоторые были разбиты... Многие ворота распахнуты, будто через них только-только телега или всадник проезжали. Густые сады с ветвями, клонящимися к земле от тяжести желто-красных яблок, айвы, хурмы и абрикосов на ветвях, будто гостеприимно приглашали войти путника...

Вот и знакомая огромная чинара посреди центральной площади, под которой собирался деревенский сход и принимались все важнейшие для деревни решения, будь то распределение воды по участкам, проведение сельских работ, отправка в армию или на строительные работы молодежи или еще что-либо. Так в первые годы войны большая часть молодежи и мужчин была мобилизована в русскую армию, и среди них был Гурген. Мужчин в деревне оставалось совсем немного – никто и не думал, что русская армия оставит эти приграничные края, что Великая Катастрофа 15-ого года докатится и сюда, потому что все знали, даже турки, что русские – непобедимы!. Кроме того, неподалеку расположился небольшой казачий разъезд, охранявший деревню от набегов курдских банд.

Но вот и белые стены отчего дома под бурой черепичной крышей. Так же, как и у соседей, открыты ворота... Горло сжало, и Гурген шагнул в сад... Когда он уходил, здесь оставались отец, мать, жена с трехлетней дочкой Нунэ. Старшего брата уже не было — с братом они рассорились давно, за год до того, как Гурген ушел на фронт, и тот уехал на север.

Он быстро прошел в сад, поднялся на крыльцо и толкнул дверь – она оказалась не заперта. В комнатах его встретило запустение и картины полного разгрома — здесь уже хорошо поработали мародеры: стены, некогда покрытые коврами,

были оголены, отсутствовали, конечно, привезенные когда-то отцом из России часы с кукушкой, мебели не было, под ногами скрипели осколки кувшинов, глиняной посуды. В некоторых местах пол был разворочен, стены пробиты – очевидно, искали тайники с золотом и деньгами. Он пытался обнаружить хоть один дорогой его памяти предмет, но ничего не находил. Лишь в самой большой комнате сохранился длинный с выбитыми досками стол, за которым когда-то обедала вся семья.

В углу комнаты что-то серое шевельнулось. Он поднял глаза и увидел стоящую на задних лапах крысу, внимательно смотрящую не него наглыми желтыми глазами. Он наклонился, чтобы поднять глиняный осколок и швырнуть в нее – крыса моментально исчезла. Однако вместо осколка он нащупал какую-то деревяшку и пальцы ощутили некие формы. Поднял ее к глазам, и сердце замерло: да ведь это была та самая куколка, которую он выточил своей дочери, когда год назад приезжал домой в недельный отпуск, данный за то, что он вынес на себе из-под огня раненного адъютанта генерала Юденича!

Дочка уже подросла, была живая и лёгкая, как солнечный зайчик, круглолица. По утрам она забиралась на широкую волосатую грудь отца и весело щebetала, дёргала за бороду, а он притворно рычал, делал страшные глаза, и она, восторженно визжа, убегала в соседнюю комнату, подглядывала лукаво из-за дверного косяка за отцом и весело хохотала, когда он снова делал страшные глаза. А сердце его переполнялось ранее неведомым счастливым теплом. И казалось странным, невозможным существование одновременное на одной земле двух миров: этого райского, затопленного любовью, и того, фронтowego, с его окопами, грязью, вшами, смертью и беспощадной ненавистью... Долгожданная, желанная была Нунэ: целых семь лет Бог им не давал с женой дитя, Астхиг обошла все ближние и дальние храмы, святые места, вымаливая ребёнка, и лишь на восьмой год Господь смилостивился.

Он вытачивал эту куколку из деревянного брусочка целый день – головка, руки, опущенные вдоль тела... Снял дерево, и получились надбровные дуги, щеки, острием ножа выточил глаза, а между ними что-то вроде носа, сделал насечку рта, вырезал на платье пояс и даже крестообразный орнамент на нем... На голове куколки оставалось нечто вроде шапочки, которую носят армянские женщины. Жена, Астхиг, прорисовала углем брови и глаза, рот смазала гранатовым соком, к шапочке прилепила вуальку, а платье выкрасила зеленым травянистым отваром.

Вот было счастье для маленькой Нунэ, лишенной игрушек, которые были у богатых! Она сразу назвала куколку своей дочкой, маленькой Нунэ и таскала ее с собой повсюду, украшая ее цветами, напевая ей песенки, кормила вместе с собою, даже во сне не расставалась с ней, беря в кроватку, и требовала от родителей всерьез признавать в ней свою дочку или сестренку.

Гурген держал в руках куколку, и воздух остекленел – дыхание перехватило. Это значит, бегство было слишком стремительным, и она даже не успела взять ее с собой... или... думать дальше не хотелось. Он сунул куколку себе за пазуху. Теперь его в этом доме ничего не держало. Он вышел на крыльцо и, глядя на изобильный, так и не дождавшийся садаводника сад, вздохнул.

Посреди – гордость сада – черное доброе абрикосовое дерево, под которым на обрубках пеньков перед крошечным столиком так часто вечерами собиралась семья. На столик выставлялись плоды, чай, для мужчин кувшин с вином. Здесь и произошел жесткий спор со старшим братом Петросом во время его последнего приезда с Севера, когда они чуть было не подрались и поклялись никогда в жизни больше не встречаться.

Петрос был старший брат и, в отличие от Гургена, считался «умным», надеждой семьи. Он хорошо учился в приходской школе, и его отправили к родственникам в Россию продолжить образование, а Гурген остался дома землю пахать, в горах охотиться да пасти овечьи отары вместе с пастухом Каро. После окончания русского реального училища Петрос не вернулся и несколько лет прожил в Баку и Тифлисе... Много чужого ума там понабрался, а Гурген с детства мечтал стать фидаином.\*

---

\*Фидаины – участники вооруженной борьбы армянского народа против турецких поработителей

---

И вот Петрос стал насмехаться над братом, мол, фидаины – все это романтическая чушь, а главное – мировая революция – главное уничтожить всех богатых, поделить их добро, и всем беднякам объединиться в мировую бедняцкую державу, где будет все по справедливости и где все равно какой ты нации.

— Но если нас, армян, сейчас убивают, мы ведь и не успеем дожить до твоей мировой революции? – спросил Гурген.

— Надо сражаться не против турок, а против богатых, — упрямо твердил брат. — на другое силы не растрачивать!

— Это на что сил не растрачивать? – взорвался Гурген. — На защиту Армении?

— А если центральный комитет решит, то и так! – жестко отрезал брат. — Какая разница? Наций все равно в будущем не будет!

— Ах, центральный комитет? А это он тебя вырастил? Это он выкормил?

— Я родителей давно в Тифлис зову, там есть, где жить — возражал Петрос.

— Сын мой, — сказала мать, привлеченная громкими голосами мужчин. — Я тебе не раз говорила, мы с отцом отсюда никак не поедем: здесь могилы наших предков, здесь и нас похоронят...

— Разве можно жить ради могил? – удивился Петрос.

— Ради чести, ради чести надо жить! – закричал Гурген, вскочив, чувствуя, как наивно звучат его слова, и от этого еще более злясь.

— Ну и глуп же ты, — спокойно усмехнулся брат. — люди живут ради счастья! А мы, революционеры, им это счастье дадим! И такие упрямые ишаки, как ты, нам это сделать не помешают!

— Шакал! Ну ты и шакал! – только выдохнул Гурген, он верил, что в тысячу раз более прав, чем его лошениый, выученный в чужих краях братец, в премудрых словах которого скользила ложь, но ухватить ее он не мог. Он только вскочил и

вцепился в грудки Петросу.

Тут он и оторвал ворот пиджака братниного городского костюма, пока их не растащили мать и прибежавший на шум отец. Казалось, брата больше всего оскорбило именно это – оторванный воротник.

— Мелкобуржуазный прихвостень! – брезгливо сказал он, стараясь приладить вновь к пиджаку оторванный ворот.

— Петросик, Петросик, не волнуйся, — успокаивала его мать, — я тебе до завтра подошью...

— Ты мне не брат больше, не брат, клянусь! – кричал Гурген, уходя.

На следующий день Гурген проснулся рано, и отправился в сарай точить косу, и только слышал, как брат выходил из ворот, а мать что-то говорила ему вслед: что-то просительное, ласковое, а он недовольно отвечал. Больше о нем Гурген ничего не слышал.

Гурген вышел на улицу. Судьба брата уже давно его не беспокоила. Он думал лишь о дочке, о матери, жене, отце, сестре. Что же случилось с ними? Он брел по улице, оглядываясь, будто ища ответа, но не находил. Окна домов безмолвно смотрели на него.

## ПЕСЕНКИ ТЕТУШКИ ВАРДУИ

Неожиданно он услышал голос. Какая-то женщина пела. Зашагав на голос, он очутился у раскрытых ворот в сад. Он сразу узнал, чьи эти дом и сад. Женщина пела на армянском.

*Из воды возник алый тростник,*

*Из горла его дым возник,*

*Из того огня младенец возник,*

*И были его власы из огня,*

*Была у него брада из огня,*

*И, как солнце, был прекрасен лик.*

Голос перестал петь и будто начал с кем-то говорить.

Гурген вошел в сад. Здесь жила тетушка Вардуи, известная на всю округу ведунья и повитуха. Тетушка Вардуи собирала в горах лишь ей известные травы, варила настои, лечила от всех болезней, принимала роды, предсказывала судьбу.

Пройдя мимо гнущихся от обилия красных плодов яблонь, он отвел тяжелые ветви и увидел тетушку Вардуи.

Женщина сидела посреди сада с закрытыми глазами, на стуле с прямой спинкой, и с кем-то разговаривала. Было ей лет пятьдесят, но выглядела она сейчас по сравнению с той, какой он ее видел в последний раз, странно помолодевшей: морщины разгладились, кожа будто сияла.

Гурген оглянулся, но больше никого, к своему удивлению, не увидел.

А тетушка Вардуи, не открывая глаз, продолжала говорить.

— Ну, Рубик, вкусную я тебе кашку приготовила?.. Ай, Рубик, ай озорник! Ну зачем ты опять молоко пролил? Ну вот я маме скажу, я маме скажу, что бабушку не слушаешь. Что смеешься?.. – Не боишься маму?.. Ни маму, ни бабушку?.. Почему?.. Потому что ты хороший? Потому что тебя любят? Ах, проказник! И как ты догадался! Как догадался!..

— Тетушка Вардуи, тетушка Вардуи! – хрипло позвал Гурген и шагнул к женщине.

Вардуи открыла глаза, улыбка сразу исчезла с ее лица, известные на всю деревню голубые глаза смотрели на Гургена строго и недоброжелательно.

— Это я, Гурген, сын Петроса-каменщика! Тетушка Вардуи, вы узнаете меня?

— Конечно, я узнала тебя, Гурген, несчастье твоего отца! Я принимала родственников, кормила Рубика, а ты позвал меня в свой сон. Твой сон плохой, нехороший. Я хочу в свой сон, а ты мне только мешаешь. Ты невоспитанный мальчик и всегда был таким. О, бедный, бедный твой отец!

— Где они, где деревня?! – вскричал Гурген, сжимая кулаки, — Где моя дочь? Сестра? Жена?.. Где мать?

Вардуи снова холодно взглянула на него.

— Какой невоспитанный! – Они все ушли в сад...

— В сад? В какой сад?

— А то ты не знаешь, ушли в сад и о делах забыли! Вся деревня! Им бы только петь, танцевать! А кто будет хлеб убирать, виноград? Абрикосы? На зиму заготовки делать? А им бы только веселиться! Иди, Гурген, иди и позови их, наконец, а мне пора к родственникам, а то они обидятся и уйдут!

Оставив безумную, Гурген вышел на улицу: если она говорила о саде, то это скорее всего большой сельский яблоневый сад на утесе, где обычно все собирались после трудового дня полюбоваться на закат над горами, отдохнуть, пообщаться, обсудить новости. Старики сидели там и днями в тени яблонь, покуривая трубки, попивая холодное вино, заедая завернутой в лаваш брынзой, пили родниковую воду, которую им приносили женщины и дети снизу. Там, между садом и обрывом, была большая площадка, на которой справляли свадьбы, вечерами дефилировали компании молодежи (юноши и девушки отдельно).. А если на закате перед обрывом появлялись юноша и девушка, взявшиеся за руки, то это означало для всей деревни известие об очередной помолвке.

Гурген двинулся к краю села. Еще некоторое время до него доносилась песня Вардуи, слов в которой уже нельзя было разобрать.

Песня затихла, и Гурген вступил в сад.

Ветви гнулись от красно-золотых яблок, и он то и дело наступал на опавшие, начавшие подгнивать плоды. В тишине послышался звук упавшего на землю созревшего яблока –шлеп...

Там, где заканчивался сад, открывалась площадка перед обрывом. Все здесь было знакомо с детства: каменные скамьи, на которых восседали старики, зубообразный камень у обрыва, у которого когда-то стоял он со своей невестой Астхиг... вытоптанная поляна, уже, однако, слегка поросшая рыжей колючей травой, мягкие голубые линии отдаленных гор, за которые сколько раз заходило солнце – и сегодня зайдет!.. В этом месте, в этом пейзаже было что-то тихое, умиротворяющее – потому и полюбились оно не одному поколению селян. Старики философствовали, молодежь шутила и смеялась, люди зрелые по тому, как садится солнце, пытались угадать погоду на завтра, беседовали о хозяйстве и семьях.

Но теперь в этой тишине не было тепла отдохновения после нелегких дневных трудов, в ней тянуло непривычным холодком вечности, вызывающим невольный озноб.

Гурген подошел к краю обрыва и сразу отпрянул.

Лег на землю и, медленно подползая, выдвинул над краем голову. Не такой уж высокий обрыв – метров пятнадцать-двадцать, с красными уступами, переходящий в довольно пологий склон и плоскость долины.

В первый миг ему показалось, что пологость обрыва усыпана выроненными из коробка желтыми спичками. Приглядевшись, он увидел, что спички эти разной толщины и длины, одни проступали явственно, другие полускрыты грязью, зрение, напрягаясь, стало различать елочки грудных скелетов, бугристости черепов... Среди костей копошились какие-то темные существа, развернул черные крылья с траурной бахромой стервятник и вновь сложил их, видимо передумав взлетать.

Гурген вцепился руками в траву, сердце его колотилось о камень.

Он вдруг все понял, увидел, как все это было, почти как наяву.

Аскеры неспеша шли цепью через деревню. Они шутили, улыбались, смеялись. Это была веселая охота. Они не торопились убивать. Просто выгоняли полуголых, едва проснувшихся людей из домов, били прикладами и, как скот, гнали к утесу. В ужасе жители деревни, в основном женщины, старухи с детьми, старики, бежали, шли, ковыляли (кого-то парализованного даже несли на себе!) в ловушку. Такая игра вызывала веселый жизнерадостный смех солдат – ведь те, которых они гнали, были и не люди вовсе, а те, которых полагалось приказом беспощадно истреблять и истреблять! Все это бегство могло продлить бегущим жизнь на какие-то десятки минут, минуты, но инстинкт был сильнее разума, и они бежали, обезумев. А те, жизням которых ничего не угрожало, посмеивались над ними, как над неразумными животными.

И наступил миг, когда людей согнали на утес.

Впереди был обрыв, позади стояли аскеры с примкнутыми штыками, ожидая последнего приказа. Вой и плач...

Офицер скомандовал...

.....

Гурген лежал, скребя пальцами камень, сердце бухало так, будто пыталось разрушить скалу. Он просунул руку за пазуху, нашупал и сжал куколку дочери. Значит там, в этой гниющей куче, и его Нунэ? И отец? И мать? И жена? И сестра?... – «Твой сон – плохой сон...». – «Нет-нет-нет!» – кричала в нем кровь. «Да, да, да», — усмехался кто-то далекий и холодный. Но неожиданно в краснобагровой черноте вдруг замерцала искорка: но ведь Вардуи уцелела! А значит, мог уцелеть еще кто-то – кто-то мог быть в это время в лесу, кто-то в поле, кто-то мог спрятаться, наконец! И почему бы среди этих уцелевших не могло оказаться кого-нибудь из его близких? Крохотная искорка стремительно разгоралась, и скоро весь сухой лес отчаянья был объят пламенем безумной надежды.

Вардуи! Надо немедленно выяснить!

Гурген вскочил и бросился в деревню.

Вбежал в знакомые ворота.

Вардуи сидела так же посреди сада, подставив лицо солнечным лучам, и будто чему-то улыбалась.

— Вардуи! – вскричал он. – Вардуи, очнись!

Она не отвечала, она не хотела слышать.

Он схватил ее за плечи, и руки его в первый миг будто схватили пустоту — между висящей тканью и костями не было плоти, а кости, которые он затем ощутил, были тонки и хрупки, как у ребенка.

— Вардуи, — встряхнул он ее беспощадно, — Выжил ли еще кто-нибудь, кроме тебя, ради Бога, очнись! Кто-нибудь еще спасся?

Она приоткрыла глаза, смотря на него исподлобья.

Неожиданно ее гладкое лицо на глазах стало покрываться трещинами морщин, дробиться на все более и более мелкие кусочки. Так пламя сморщивает гладкую бумагу перед тем как обратить ее в прах. Все скрытые и разглаженные морщины и морщинки проявились, всего за несколько мгновений из сравнительно нестарой пятидесятилетней женщины она превратилась в семидесятилетнюю старуху с мутными бессмысленными глазами.

— Плохой сон... Нехороший сон... — только бормотала старуха, — нехороший мальчик!

— Где они? Где? — он безжалостно встряхивал и встряхивал ее.

— В Саду, в Саду, в Саду...

Выйдя на улицу, остановился и, вытащив деревянную куколку, некоторое время смотрел на нее, будто спрашивая совета. Нет, он не мог уйти просто так, сразу: надо досмотреть. Зачем? Почему? — Он и сам не знал.

Снова зашагал к саду, через сад, где — шлеп, шлеп, — падали созревшие яблоки.

По дорожке, извинаяющейся по краю обрыва, спустился вниз. Груды костей желтели, на них виднелись куски серой плоти, того, что оставалось от одежды, и грязи. На скалящихся черепах оставались куски кожи и волосы. Детские и взрослые скелеты лежали один на другом, вперемешку, и разобраться, кому какие останки принадлежали, здесь было под силу только Богу. Ветер подул в сторону Гургена, и в голове у него потемнело от смрада.

На куче произошло какое-то движение. Стая одичавших псов-людоедов сверху внимательно наблюдала за зачехотавшимся сюда человеком. С тех пор как хозяева стали им здесь пищей, они сами привыкли быть здесь хозяевами. Это была сплоченная стая, привыкшая отражать покушения на их территорию шакалов, лисиц и даже волков. Все они были разжиревшие, лоснящиеся, но особенно выделялся среди них самый крупный, очевидно, вожак. Это был экземпляр кавказской овчарки, ростом чуть менее теленка, багровоглазый, с короткими, почти невидимыми ушами и густой гривой, отчего он был больше похож на льва, чем на собаку.

Дожди, солнце, тление, предыдущие пиры почти не оставили им уже пригодного в пищу человеческого мяса, и им больше приходилось лишь обгладывать кости. Стая начинала ощущать первые признаки голода. В чужаке же они почувствовали и какую-то опасность, и одновременно возможность добычи. Вожак зарычал, обнажив клыки, оскалилась и стая, двинулась на человека полукругом: в центре — вожак, по краям — кто послабее, включая нескольких щенков.

Стервятники сидели на утесах, расслабленно прогнув голые змеиные шеи, и невозмутимо наблюдали за происходящим внизу из-под полуприкрытых пленчатых век.

Как только вожак рванулся вперед, стая с яростным лаем сорвалась с места и бросилась на Гургена.

Щелкнул выстрел — вожак упал.

Стая, как по команде, на миг остановилась и кинулась врассыпную.

А вожак лежал, всего полтора шага не допрыгнув до человека, и жалобно, совсем как щенок или человеческий ребенок, скулил и плакал, будто помощи просил.

Теперь Гурген узнал его — это был пастуший пес Аракс — гроза волков и всех непрошенных гостей. Из людей он подпускал к себе лишь пастуха Каро, а из прочих лишь пару раз давал себя кормить с рук Гургену.

Скуля и постанывая, грозный пес медленно подползал к ногам Гургена. Узнал ли он его?.. Пес поднял свою большую голову и предсмертно мутными глазами, в которых уже не было ни тени ярости, а покорность судьбе, взглянул на человека, будто признав в нем хозяина, Бога. Волкодав опустил голову, и черный большой нос ткнулся в мысок сапога и, неожиданно, постанывая и скуля, он стал облизывать его широкой тряпкой языка.

Гурген опустил маузер и выстрелил.

Как только голова пса замерла, стервятники на уступах озабоченно зашевелились, в нетерпенье раскрывая и складывая крылья, зашуршали, захлопали, вытягивая змеиные шеи, будто требуя, чтобы человек, совершивший для них работу, немедленно удался.

Гурген поднял глаза на груду костей. В один миг весь мир ему представился бессмысленным бесконечным кругом пожираний и выделений.

— Так вот во что ты, Господи, превратил мой народ!

За то, что мы молились тысячи лет на тебя, за то, что сеяли, любили и терпели?

За что ты отнял мою дочь Нунэ? Чем же она успела пред тобою провиниться? Чем успела нагрешить? И после этого святые, мудрейшие отцы говорят, будто ты добр?!.. Ведь сказано — ни один волос не упадет без твоего желания!.. Тогда за что ж ты убил мою Нунэ?

Нет, Господи, нет! Не жди теперь от меня молитв.

Теперь нам не по пути!

Он отвернулся и медленно зашагал прочь, слыша за собой хлопанье крыльев стервятников. Он поднимался по склону, по тропе, приник к роднику на несколько минут, презирая свое тело — даже в такой миг сохраняющее естественные потребности. Отпив, он выпрямился и огляделся — мир стал другим, несмотря на знакомые контуры гор. И вдруг ощутил, что навсегда потерял способность простой бессознательной радости богатству его красок и форм. Весь мир будто стал черно-белым... Нет, не совсем черно-белым, один цвет из его богатой палитры все же ему остался будто в насмешку — красный во всех его оттенках — от алого до багрового — цвет крови, цвет убийства!

С этих минут он изгнал Бога из своей души, но не ведал он, что если в душе нет Бога — его место занимает дьявол — свято место пусто не бывает!

Он и не заметил, что солнце коснулось кромки гор, когда он поднялся на обрыв, в саду уже густели синие сумерки. Он подумал о том, что Ваче, следуя его приказу, наверное, уже уезжает, но подумал равнодушно, безразлично, он не хотел догонять его.

Но когда вошел в деревню, вдруг услышал, что кто-то поет. Голос был мужской и сильный:

*Орвел, Орвел...*

*Вот рассвет зарозовел.*

*К борозде борозду*

*В чистом поле проведу.*

*Дай Бог, чтоб я все успел...*

*Орвел, орвел!*

По центральной улице ехал на лошади Ваче, ведя за собою лошадь Гургена, и распевал во всю глотку.

Гурген вышел навстречу.

-Я же тебе велел уезжать!

— Уезжать? Я подумал, что мне без тебя, Гурген, будет скучновато...

— Эх, дурак, дурак, а если б турки?

— Смотрю — тихо в деревне... Да и что мне бояться? Мы, карабахцы, бояться не привыкли — не то, что вы, феллахи...

— Да, только ума у вас немного.

— Эх, Гурген, а что толку в вашем уме? всю жизнь вы под турками ходили, а над нами, карабахцами, не было, и нет никого, выше нас – только небо! Знаешь, мой дед говорил: тот умнее, у кого пуля быстрее!

— А не пожалеешь, смельчак, что со мною остался?..

## ЯМА (ЗОВ МЕРТВЫХ)

Вино текло в глотки, весело бляела зурна, выбивали ритм барабаны... Кажется, веселье достигало своей кульминации, когда оно таково, что теряется память, когда само уже оно начинает распадаться, раздираться в клочья: кто-то орал-пел что-то невнятное, кто-то пустился в пляс, кто-то выстрелил в потолок... Кажется, все достигли острова счастья и потеряли память... Так слишком раскрученный камень обрывает веревку и летит черт те куда... Только Гурген в эти моменты вдруг мрачнел. Ему вдруг становились противны эти звуки зурны, — то истерично хохочущей, то истерично плачущей, как распутная девка, эти бессмысленные неузнаваемо искривленные рожи, эти пригорошни пустых глаз... И все черное вдруг наваливалось с такой силой, что трескалось, а в ветвящиеся трещины протекало красное, растекалось...

И тогда он неожиданно бил кулаком по столу так, что подпрыгивали стаканы и бутылки. Шум затихал, взоры обращались к нему.

— Все! – объявлял. — Все! Давайте дудук! Где Гаспар?

Гаспар был здесь, он лишь скромно ждал своего часа. Седоволосый старик с красивым крепким лицом. Он сидел и, не обращая внимания на веселье, то ли думал о чем-то своем, то ли дремал и только поблескивало кованое серебро его кудрей. Теперь он открывал свои темные умные глаза, бережно доставал из чехла свою абрикосовую свирель.

— Тихо! – командовал Гурген, и все замолкали. – Гаспар, дорогой, ты один человек на этом Божьем свете, садись ближе!

Тихо начинал пробовать Гаспар то одну, то другую ноту, находил, тянул, будто откуда-то из глубины чрева матери вселенной сквозь ледяные пространства вытягивалась, прорастала пуповина – долгая и тихая нота, пальцы чуть шевелились на трубке, звуки плавно перетекали один в другой, но не спешили, а плыли, плавные, как абрис армянских гор, и затихала ватага... Дудук будто возвращал те времена, когда они еще не научились убивать. Дудук возвращал дорогие образы матерей, сестер, невест, детей, отцов, братьев, друзей – тех близких, которые уж были навсегда потеряны, но в звуках его не было отчаянья, а было грустное торжество, торжество воскрешенья, и те, воскресшие, смотрели из прошлого сквозь стекло времени, будто улыбаясь и жалея нынешних... Мужчины замолкали: им слышались отзвуки зовущих за общий стол родных голосов — и то, прошлое, за непреодолимым стеклом уже казалось реальнее того, в чем они жили сейчас: залитого вином грязного подвала, табачного дыма под тяжелыми сводами, этих новых сотоварищей, объединенных не любовью, а ненавистью к тем, кто осиротил их души, обесценил всякую Жизнь. А звуки будто вливали снова в опустевшие жилы Жизнь, и память из мертвых ям возносил дудук к небесам, а голоса звали, вопрошали...

И Гурген снова вспоминал, как первый раз врезалась в землю лопата...

Лопата с силой врезалась в землю, и металл скрипнул от мелких камешков на ее пути – а ведь здесь, у церкви, была самая мягкая земля в деревне! Могилу они с Ваче приблизительно расчертили у сельского кладбища с уже расколотыми и разбросанными хачкарами (соседи постарались!). Надо было вырыть две длинные траншеи, подобные тем, какие они рыли на фронте. Траншеи должны были перекрещиваться и образовать один общий на всю деревню крест. Они не думали о времени, они не думали о еде — в садах было полно яблок, абрикосов... Пили воду из родника и там же умывались.

Сняв рубахи, они с Ваче рыли Яму. Останки Гурген таскал на себе, Ваче прикасаться к ним не обязан – он и так неутомимо работал лопатой. А Гурген дал себе клятву, что не уйдет отсюда, покуда не схоронит всех односельчан до последнего. Он приготовил волокуши – две длинные жерди, переплетенные лианами, на которые укладывал кости – по два-три скелета и тянул вверх по тропе. Он привык прикасаться к человеческому праху – костям, остаткам кожи и мышц, к дурнопахнущим комьям слизи, он лишь повязывал себе на лицо платок, когда разбирал останки, но и сам не заметил, что, несмотря на ежедневное по нескольку раз мытье в источнике, пропах смрадом – человек привыкает ко всему! Псы его больше не беспокоили – они лишь издали посматривали на него с опаской, стервятники тоже – все они только ждали пока он уйдет. Но с крысами ему приходилось бороться по-настоящему: наглые, многочисленные и бесстрашные, они вырывали куски гниющей плоти из его рук, кусали. Он бил их палками, но удар редко попадал в цель – твари ловко уворачивались и снова наступали. Поначало он было пытался приспособить к работе коней, но кони были ездовые, и впрячь их в волокуши стоило труда. Кроме того, они шарахались, почуяв запах смерти, и потому было проще тянуть свой скорбный груз самому.

Что бы он делал без Ваче? Ваче работал как вол, и пока он притаскивал на кладбище свой груз, Ваче успевал как раз прокопать могилу настолько, насколько было необходимо. Гургена удивляло, почему Ваче остался с ним, а не отправился домой — раз он даже напрямую спросил карабахца.

— Э! – усмехнулся Ваче, — да дома меня просто убьют братья Заруи. Затащила меня как-то на сеновал, а тут и они, я думаю, все было подстроено. Ну, говорят, теперь нашу сестру обесчестил: или женись, или мы тебя головой в нужник! Вот я в армию и сбежал! Так что торопиться мне некуда.

Ваче успевал даже присматривать за Вардуи, Вардуи все так же общалась с родственниками, соседями и пела. Раз в день Ваче кормил ее абрикосами с рук, которые та покорно ела, не открывая глаз, и поил водой из родника. Когда ее поили, она иногда открывала глаза, холодно благодарила и снова впадала в транс. С каждым днем она становилась все прозрачнее, воздушнее и будто моложе.

Дни и ночи они не считали – главное было захоронить всех.

Почти на самом дне кучи, когда работа уже близилась к концу, Гурген обнаружил сильно объеденный крысами скелет ребенка четырех-пяти лет. Он приподнял его, чтобы положить на уже не раз обновляемые волокуши, и тут что-то заметил на правой кисти скелета. На том, что оставалось от безымянного пальца, болталось колечко. Косточки отваливались одна от другой, но эта кисть держалась. Гурген присмотрелся: это крохотное серебряное колечко с волнистым узором он подарил своей Нунэ! Сомнений быть не могло – перед ним было то, что оставалось от его дочери. Он сел на камень и некоторое время так сидел, держа в своих руках кисть дочери, больше не обращая внимания на шуршанье подбирающихся крыс.

Осторожно положив останки на волокуши, он, как в полусне, потащил их наверх.

У дома тетушки Вардуи он услышал вдруг ее пень:

*Баю-бай, идут овечки,*

*С черных гор подходят к речке,*

*Милый сон несут для нас,*

*Для твоих, что море глаз,*

*Усыпляют милым сном,*

*Упоют молоком.*

Гурген остановился и сел, прислонившись спиной к глиняному забору, а Вардуи продолжала петь:

*Богоматерь — мать твоя,*

*Сын ее — хранит тебя.*

*В церковь божию пойду,*

*Всех святых я попрошу,*

*Чтоб распятый нас хранил*

*И тебя благословил.*

«Чтоб распятый нас хранил и тебя благословил» — бормотал снова и снова Гурген, вытягивая волокуши. Он добрался до кладбища, бормоча и напевая что-то невнятное, и Ваче на него посмотрел с тревогой.

— Дочь моя, — давай похороним отдельно! – попросил Гурген.

Ваче только кивнул и снова взялся за лопату.

## ЛИХОРАДКА

Трижды Ваче закапывал его, но каждый раз только до шеи, зачем-то оставляя голову.

— Ваче, — спрашивал он его, — зачем голову оставляешь? – Я ведь умер!

— Так видеть-то ты должен? – удивлялся Ваче.

Гурген вставал, земля осыпалась, и Ваче снова начинал его закапывать. И снова, когда земля доходила до шеи, Ваче удовлетворенно откладывал лопату и закуривал трубку.

— Ваче, ты еще не закончил, — требовал Гурген, но Ваче будто не слышал.

Потом Ваче куда-то исчез. Появились мрачные работные люди с тачками, заполненными глыбами камня. Они наваливали и наваливали эти глыбы ему на грудь, и дышать становилось все труднее и труднее. Он хотел крикнуть им, чтобы они прекратили, но уже не хватало дыхания не только для крика, но и для шепота. И все же каким-то особым образом, не требующим дыхания, он выкрикнул им, чтобы они остановились.

— А нам-то какое дело, — ответил один из людей, не прерывая работу, — нам бы поскорее закончить!..

Жажда мучила его, а он плыл через море, чувствуя благодатную, но недоступную влагу у самых губ. «Так уж лучше я утону», — подумал он и стал тонуть. Пить и в самом деле хотелось меньше, когда он расслабился и стал медленно опускаться в голубую глубину. Вот и песчаное дно, и сидящая на песке Нунэ играет разноцветными камешками, выкладывает буквы и учит грамоте чудных прекрасных, как радуга, рыб.

Она подняла к нему свое круглое личико и рассмеялась, отчего на тугих щечках появились знакомые ямочки.

— Нунэ! – удивился он, — а я думал, ты на небе!

— А небо — оно ведь везде! – развела ручками Нунэ...

Он стоял посреди собора, привязанный к куполу веревкой, а вокруг ходили монахи в высоких острых капюшонах и что-то бормотали на непонятном языке. Он пытался разглядеть их лица, но никак не мог – вместо лиц была какая-то размытость, пустота.

— Поднимайте же, поднимайте! – кричал он им, а они, будто не слыша, все ходили и ходили вокруг, все бубнили, бубнили... Только кресты на их сутанах светились так ярко, что ломило глаза.

Среди этих видений все чаще и постояннее стало появляться одно, устойчивое – сморщенное лицо доброй ведьмы, чем-то странное знакомое, и слышался ее голос: «Сестра твоя жива, ты слышишь, Гурген, сестра твоя жива!»

И на столике возникал кувшин, который он хватал и пил, пил что-то невкусное, но чудесное...

Потом снова все пропадало, срывалось в сумасшедший поток, где разрывались связи предметные, знакомые слова меняли смысл и места, и это казалось естественным, где его посетила мать с лицом сестры, вопрошающая: «Ты жив, Гурген?», и в этом не было ничего удивительного.

— Как ты себя чувствуешь, Гурген?..

Он открыл глаза и увидел над собой это лицо доброй ведьмы, которое приходило к нему будто в бреду, и кувшин на столе, потянулся к нему.

— Выжил, — радостно кивнула кому-то старушка. — Мертвые звали тебя, но ты не пошел за ними...

Гурген, привстав на ложе, жадно пил — на сей раз это была холодная чистая родниковая вода. Отпив, он снова улегся, устремив взгляд вверх.

Рядом сидел Ваче, опустив ручки меж колен.

— Не узнаешь? — спросила старушка, — я Гайкануш, двоюродная сестра твоего отца, тетка твоя троюродная. Бог меня спас... Только я не знала для чего, а теперь знаю... Я в пещере жила, боялась возвращаться. Наших убили — всех-всех, а мы с сестрой твоей в лесу находились...

— Гайкануш... — он вспомнил эту одинокую женщину, рано лишившуюся мужа — не успели они оставить потомства. Она редко появлялась у них в деревне, а жила где-то на западе — то ли в Стамбуле, то ли в Смирне.

— А ты семь дней бредил... А теперь гляди-ка — выжил!

— Нет, не выжил, — были его первые слова, — вернулся.

— Ты еще слаб. Ешь сейчас, ешь, — Гайкануш протягивала ему абрикосы, — тебе надо поправиться, а то один скелет остался...

— Где мы? — он удивленно озирался на бугристые каменные своды явно природного происхождения.

— Дома, у меня, в пещере, здесь нас никто не найдет, — тихо рассмеялась Гайкануш. — В деревне оставаться опасно. Твой друг убил турка: мародер из соседней деревни, свою арбу заполнял нашим урожаем. Он был один, но ведь его хватятся и другие придут... А здесь можно пережить зиму до прихода наших и русских...

— А что, сестра моя жива?

— Мы были в лесу, когда все это происходило в деревне, я ее перед рассветом позвала ягоды собирать. Когда увидели аскеров, а за ними повозки — наших соседей турок, то поняли все и бросились бежать. В лесу я ее потеряла.

Что делать? Но недаром я в Смирне 20 лет в турецкой семье прожила, растила детей и убирала по дому, и турецкий язык у меня как родной. А по моей старой физиономии уже сам Господь не определит национальность. Вот я и прикинулась нищенкой, убогой, и стала ходить по деревням турецким, милостыню просить, искала армян, известий о них...

— Что узнала?

— Все-все армяне или убиты, или бежали там, где турок прошел. Из армян встретила только несколько несчастных полусумасшедших, бродящих по горам. Приютила одного — парня из Вана. Або его зовут. У него оружие есть, он охотник хороший — вчера кролика подстрелил...

Видела еще священника старого. В церкви старой. Отказался уходить. Он говорил — надо молиться за Армению — только это спасет всех нас. И молится, молится... Святой... Но я тебе больше скажу! Сестра твоя жива и я ее видела и говорила с ней!

— Где она? — Гурген подался вперед.

— Да ты лежи, лежи спокойно, все расскажу... Жива, и ничего ей не угрожает. Однажды я ходила нищенкой по одному турецкому селу. Оно тут — недалеко. Ак-чай. Там услышала как женщины сплетничали, обсуждали муллу, который принял к себе в дом рыжую армянку. Я сразу поняла, что это Анаит! Разузнала о ней потихоньку. В деревне она появилась недавно, живет у сына муллы... говорили, хороший человек. Да и она как хороша! — в деревне на нее заглядывались... Я нашла тот дом, но постучать побоялась. Как узнать Анаит на улице? — все женщины в чадре... И тут Бог меня надоумил пойти к водопаду, откуда женщины воду берут. Там мужчин нет — они лица открывают, воду пьют, умываются... Там я ее и увидела! В турецких шароварах, монисто золотое на ней было... Я выждала, когда она вниз пойдет и одна останется и за ней поспешила, догнала, назвала по имени...

— Ну?

— Мне кажется она испугалась. Узнала меня сразу, о родителях спросила, я ей все сказала... Слезы у нее в глазах появились, но тут появились турчанки. Мы только успели условиться на другой день у водопада. Стала я ждать ее у воды, да турчанки испугались: подумали, что нищенка хочет их воду сглазить и стали гнать меня, чуть камнями не побили.

Пришлось мне из той деревни бежать.

Она закончила, а Гурген некоторое время молчал, устремив взгляд в потолок пещеры.

— Значит наложница сына муллы? — переспросил он.

— Да, — подтвердила Гайкануш. — Хоть жива!

— Я убью его, — спокойно пообещал Гурген.

— Вай! Зачем? А может, хорошо ей там? — Золотое монисто на ней было!

Гурген в ярости скрипнул зубами. — Ты, женщина, считаешь, что выжить — это главное? Вы считаете, что я выжил, когда у меня отняли все? Нет, я не выжил, я мертвый остался — только двигаться могу. И сестру мою не подарю им!

Он некоторое время лежал, молча, и вдруг спросил:

— А что с тетушкой Вардуи?

— Умерла, — ответил Ваче, — однажды подхожу к ней, чтобы напоить. Она сидит с закрытыми глазами, улыбается. Тронул — упала. Легкая, как листик. Я схоронил ее рядом с дочкой твоей.

— Счастливая... — вздохнул Гурген. — Ваче?

— А?

— Мы всех схоронили?

— Да.

— Дай руку, брат...

## МУСУЛЬМАНСКИЙ РАЙ

Возможно, Бог и создал это место, чтобы у людей, обитавших здесь, был бы повод его возблагодарить. Деревня Ак-чай была окружена с севера и с востока крутыми живописно-зубчатыми скалами, знойными летними днями они большую часть дня давали деревне тень, а зимой служили надежными стенами, защищающими от жестких северных и восточных ветров. Стекающая с северных гор речка за века нанесла в эту долину из высокогорных лесов ил, и почва была здесь на удивление плодородна. Речка спадала каскадами в озеро, служащее водопоем для домашней скотины. Лошади, козы и коровы наслаждались здесь тенью и теплом, овцы подолгу с удивлением смотрели на собственные отражения, натрудившиеся за день ширококоргие волю дремали, разлегшись прямо у воды.

Женщины стирали белье и брали воду выше: девушки восходили по каменистой тропинке к зарослям кустарника, набирали в кувшины воду и ловко спускались, удерживая их на головах или плечах. Кроме того, у многих жителей были свои собственные колодцы, но самая счастливая вода, считалось, была из водопада.

Из озера вода арыками проходила через сады и участки, потом уходила в пшеничные поля. Сады, почти не требуя постороннего ухода, щедро плодоносили абрикосами, гранатами, айвой, инжиром. Но более всего известен был на всю округу Ак-чай своим виноградом. Его тысячелетняя лоза, по местному поверью, доставшаяся в наследство от самого прародителя Адама, давала особенно вкусные желто-зеленые ягоды с еле ощущаемой кислинкой. На узких улицах, между дувалами, тут и там сохли лепешки навоза. Их убирала лишь тогда, когда они высохали совершенно и годились в топливо для печек. Обилие оставленных скотиной лепешек на улицах воспринималось также как еще один признак благополучия деревни.

Вся деревня сверху, со скал, с ее водопадом, белыми домиками, садами, пирамидальными тополями и изящным минаретом мечети казалась беззаботным райским уголком, хотя, конечно, были в этом «раю» и свои вечные межчеловеческие проблемы – глупые ссоры, внутрисемейный, скрытый от постороннего глаза деспотизм, межсоседские распри, которые, правда, с помощью мудрого кази Магомеда решались, в основном, мирно, но иногда продолжали тлеть угли кровной мести, дожидаясь своего часа. Приходили издалека и большие проблемы – когда Высокая Порта вдруг резко повышала налоги из-за очередной войны, тогда, даже несмотря на плодородие земли, крестьяне победнее начинали голодать и молодые мужчины шли в армию — количество едоков уменьшалось. Многие шли с охотой – в армии сельский парень мог продвинуться по службе или получить неплохую добычу — пленников, драгоценную утварь, деньги. Пленников обычно продавали еще в Стамбуле, утварь и ковры везти через всю страну было опасно и хлопотно, поэтому до аула доходили, в основном, деньги, золото, драгоценные камни... Ну, а к слишком громким причитаньям тех матерей, сыновья которых не вернулись, люди не очень-то прислушивались – кази Магомед объяснял непонятливым матерям, что надо не смущать своими ненужными стенаниями благочестивых мусульман, а радоваться — ведь их сыны, минуя все земные труды и невзгоды, прямоком угодили в рай! И уж вовсе люди забывали обо всем, когда видели и ощупывали чужие золото, изумруды, рубины, драгоценное оружие, которыми хвалились вчерашние воины, их теперешние обладатели, — блеск золота и бриллиантов завораживал, и глаза крестьян восторженно загорались.

Многие, попадая сюда впервые, восторгались красотой этих мест, а местные жители не видели в окружающих пейзажах ничего особенного – они привыкли. И лишь когда отправлялись на войну или в долгое путешествие, эта деревня начинала снится им, они вдруг ощущали отторгнутую от них ее красоту и обычно старались вернуться сюда, чтобы тут жениться, нарожать детей и умереть.

Нет, это был все же не рай, все было, конечно, в этой деревне, свойственное людям, — и хорошее, и плохое, но, главное, не было одного – того, чего не может представить себе человек свободной непорабощенной страны: каждодневного страха, каждодневного ожидания катастрофы, постоянного ощущения близости беды, опасности, с которой их соседи армяне ложились спать и просыпались десятки, если уже не сотни лет. И потому жители деревни Ак-чая ходили гордо, распрямившись, дыша свободно и посмеиваясь над осторожными соседями, наслаждаясь этой жизнью настолько, насколько позволяли обстоятельства.

И шла из поколения в поколение все более укрепляемая в сознании сорная трава молвы, будто армяне трусливы, только и могут и должны рабски трудиться и молиться за своего бессильного Бога, и не думающего их спасать, а турки – храбрый, благородный и гордый народ, и их любит Аллах. И все более ужесточающиеся правила, вводимые турецкими властями, создавали условия, взращивающие это мнение: армянин под страхом смерти не имел права иметь оружие, он был лишен права самозащиты (хотя многие прятали его, на последний случай, предпочитая обычно спасать свой очаг и семью, откупаясь частью урожая или золотом), армянин не должен иметь коня (и это в той стране, которая некогда славилась тем, что поставляла лучших лошадей и конников к персидскому двору!). А что такое на Востоке человек без коня? – это парий, бедняк, человек, недостойный уважения, – мальчишка на коне, и тот выше пешего мужчины.. Армянин при виде всадника-турка или курда был обязан кланяться ему и, наконец, когда Абдул Гамид ввел «зулум» — террор, любой турок или курд мог по желанию убить армянина, взять его женщину, имущество, самые красивые юноши и девушки отбирались для продажи на невольничьих рынках Стамбула. Время от времени физически уничтожалось армянское население целых деревень и районов... Но и в этих условиях «неверные» продолжали существовать – строить, сеять, создавать семьи!

В общем, складывалась устойчивая парадигма – храбрый вооруженный турок на коне, на стороне которого вся государственная машина с армией и полицией, и «трусливый» безоружный армянский крестьянин, которого надлежало всячески угнетать, грабить и просто убивать.

Казалось, все было сделано для сведения армянина к последней степени рабства, унижения, расчеловечивания — все внешние знаки это подтверждали. И все же вооруженный до зубов всадник-турок, проезжая мимо боронящего неподатливую землю, понимающего, что большей части урожая придется лишиться, согбенного на пашне или в поклоне армянского крестьянина, безнаказанно высмеивая его, знал, что этот презренный нищий армянин не принимает его совсем уж всерьез, несмотря на грозную шашку, власть над его сиюминутной жизнью, — за дырявой рубахой скрывается глубина памяти, которой нет у него под его богатой, пышной, расшитой шелками и бисером одеждой, этот крестьянин помнит, будто вчера это было, о тысячелетней давности временах, когда Армения вдруг стремительно возрождалась и граждане ее ходили с высоко поднятой головой, помнит стародавние песни и легенды, полуистории-полумифы о своих древних царях, живших и сражавшихся, когда на этих землях и в помине турок не было, хорошо помнит, что и виноградную лозу он передал турку, и умение печь хлеб-лаваш, знает и древние непонятные буквы, и в своем внутреннем упрямстве продолжает молиться своему Богу, а главное, высокомерно уверен, что покорён менее развитым народом, который пришел на эту землю позже (землю, которую уже не за одно поколение сам турок успел так ревниво полюбить!), и эту высокомерную уверенность не выбить даже страхом смерти, и вот это-то внутреннее упрямство и вызывало особенное раздражение. А у турецкого армянина, чем более на него давили сверху, жизнь все более замыкалась, направлялась внутрь – внутрь семьи, внутрь своей души – он приучался быть терпеливым, осторожным, рассудительным, контролировать и направлять свои эмоциональные всплески. Его культура лишь уходила в подземелья, в катакомбы души, исторической памяти, в которой он спасал свое достоинство, которые лишь становились все глубже, разветвленнее и фантастичнее...

Да, в том, что кто-то их, турок, смеет считать вторичными на этой земле, на которой они родились и которую успели полюбить, вызывало у турок особую ненависть, и само присутствие армян на этой земле казалось длящимся оскорблением. Добрый турок простил бы им все, если бы эти глупцы армяне отказались бы от своей памяти, перешли бы в их веру, слились с ними, забыли бы собственную историю, сделав ее фрагментом общей, турецкой!.. Но гяуры упорствовали, что казалось совсем необъяснимым. И добрые турки, эмоции которых никто не учил сдерживать, а только распалили и направляли, гневались, раздражались, и все чаще повторяли: не будь армянина на этой земле, этого бельма на глазу, мы жили бы так счастливо!

А вместе с тем в части Армении, вошедшей в Российскую Империю, армяне проявляли совсем не те качества, которые стремились им приписать турки: армянские горцы Зангезура и Карабаха были прекрасными наездниками, многие армянские фамилии входили в цвет русского дворянства, армяне становились талантливыми генералами, государственными деятелями... Воинские способности армян севера, служивших в русской армии и прошедших российскую выучку, не уступали воинственности турецкой (да и сами турецкие офицеры в частях, где служили армяне, были вынуждены признать — армянин хороший воин!) ... И не могли турки не чувствовать, как армяне эрзерумские, ванские и прочие с надеждой смотрят на север, на Россию.

Войны никогда напрямую не касалась Ак-чая. Так было и с этой, последней войной. Лишь однажды через деревню проходили русские солдаты. Шли запыленные, усталые, но что странно для завоевателей, никого не убили, не ограбили. Лишь русский офицер в категорической форме потребовал у кази Магомеда четко оговоренное количество фуража для лошадей и провианта для солдат. Кази Магомед распределил требуемый фураж и продукты по дворам, и крестьяне, жутко ругаясь на гяуров (благо те не понимали ни слова!), несли все им сами.

А вечером, когда русские ушли, кази Магомед в мечети произнес яростную проповедь, обещая, что за нанесенное их деревне тягчайшее оскорбление все русские и их дети будут гореть в печах геенны огненной.

В тот совершенно обычный день никто в Ак-чае и подозревать не мог, что со склонов гор за домиками, улицами, подходами к деревне внимательно наблюдает зоркий взгляд, ничего не упуская. Цейсовские стекла бинокля приближали деревню, позволяя разглядеть детали ее повседневной мирной жизни так, будто все это происходило в десятке шагов от наблюдателя: вот старуха мелет в ступе во дворе зерно, а малыш, видимо, внук, тянет за юбку, и она шуточно на него замахивается, мальчишки, бегающие вдоль водопоя и швыряющие друг в друга из баловства комками грязи, женщины в чадрах, стирающие белье у нижнего уступа водопада, а рядом с ними молодой аскер с винтовкой за плечом, гордо выпятив перетянутую кожаными ремнями грудь и выставив вперед ногу в сапоге, что-то им рассказывает (видимо, о своих военных подвигах вещает!), две девушки, откинувшие чадры, несущие кувшины по тропинке вниз, мерно крутящееся колесо мельницы, с переливающимися через него струями, женщины, вяжущие снопы на поле за деревней... Мужчин почти не заметно – в этот полуденный жаркий час они (каждый султан в своей семье) или отдыхают в домах или, лежа на подушках, в садах, беседуют с мужчинами-соседями, попивали чай или кофе в тени, старики в белых и зеленых высоких тюрбанах сидят у мечети на самом солнцепеке, и жара им кажется нипочем, лишь приятно прогревает остывшие с годами кости, а перед ними прохаживаются куры. От дворов, где готовят мясо или пекут хлеб, к небу поднимаются дымки...

Однако эти картины мирной жизни и крестьянского достатка не вызывали у наблюдателя и тени умиления, наоборот – в горле его першила сухая как порох горечь.

Но на некоторых объектах взгляд задерживался дольше обычного: вот два аскера на краю деревни в тени чинары, отставив в сторону винтовки, увлеченно играют, сидя на земле, в нарды. А вот еще один – посреди деревенской улочки разглядывает себя в маленькое круглое зеркальце и тщательно расчесывает гребнем черные как смоль, доходящие до ушей усы. Сколько их?.. Особенно долго изучали цейсовские глаза самый большой и красивый дом муллы кази Магомеда: двухэтажный, под железной крышей, в отличие от прочих домов и хижин с черепичными или даже земляными крышами. Густой сад и дом обнесены высокой стеной, так что и сверху не разглядишь, что за ней. Словно крепость!..

Взгляд все шупал и шупал деревню, солнце стало клониться к закату, и из-за края равнины показались облака пыли. Это были многочисленные откуда-то возвращающиеся телеги. Кажется, все население деревни сбежалось их встречать, дети и женщины весело размахивали руками, и только у наблюдателя нехорошо сжалось сердце, а пороховая горечь в горле стала более едкой. Арбы были перегружены виноградом, персиками, яблоками, гранатами, явно нездешнего происхождения... — урожай в разоренных армянских деревнях не пропал даром!

Телеги расплзались по улицам.

Аскеры выстроились напротив мечети. Их было двенадцать человек, не считая офицера, который ими командовал, и охраны на источнике и со стороны поля.

Солнце садилось, все стремились поскорее завести телеги во дворы, и все больше фигур направлялось к мечети.

Высокая фигура кази Магомеда в зеленой чалме вышла из ворот дома-крепости и быстро направилась к мечети сквозь общую суету. Он шел возвещать миру волю и мудрость Аллаха.

## БЕСЕДКА

Кази Магомед и офицер в чине капитана возлежали на невысоких диванчиках, обнажив бритые головы, в беседке посреди сада и курили кальян. Теплый ветерок доносил из темноты аромат роз, к которому время от времени примешивался смолистый кипарисовый дух. Тонкие колонны беседки обвивали стебли винограда с тяжелыми созревшими кистями. Где-то вблизи журчал и пришептывал искусственный ручей. Три розовых фонаря с керосиновыми лампами внутри освещали пространство. В вышине беседки над хозяином и гостем в золотой клетке скреблась канарейка. В глубине сада прокричал свое пронзительное «мяу» павлин.

Тихо побулькивала вода в кальянах, курильщики не спеша наслаждались.

— Ну, уважаемый Магомед ага, — вытаскил мундштук изо рта офицер, — у тебя прямо рай! Только гурий не хватает...

— Ну, гурии здесь бывали и бывают, — самодовольно улыбнулся кази Магомед.

— Наложницы? — живо заинтересовался капитан. — Та, которая трубки нам приносила, тоже — из гурий? — он шутливо намекал на женщину с обильными морщинами вокруг слезящихся глаз над черной полосой чадры.

— Это моя первая жена, эфенди Балта — сухо сказал кази.

— О, простите меня великодушно, я не знал...

Кази задумался, будто не услышал:

— Двадцать лет назад она была гурией, да еще какой!..

Эфенди Балта промычал что-то неопределенное.

— Но у меня есть еще две помоложе, уважаемый... И от каждой по сыну.

— Женаты?

— Еще нет... Где найти красивых девушек, достойных моего рода — вот проблема...

Впрочем, рассмеялся кази, — я обещал первым женить того, кто привезет с войны больше армянских ушей!

Собеседники добродушно захохотали.

— Все трое в армии?

— Двое, — средний здесь... — Кази затыкнулся.

Появилась морщинистая старуха, что-то шепнула на ухо мулле.

— Да, да, — согласился кази, — иди отдохни, пусть Джамия тебя заменит.

Вскоре послышалось шушанье. Возникла женщина в белом платье, в белом платке, шароварах, с яркими карими глазами, и с темно-рыжим завитком, выбившимся из-под чадры. Она несла поднос с чашечками кофе. Двигаясь легко, изящно, и в то же время как-то по особенному скромно, она поставила чашки перед офицером, не глянув ему в глаза, а перед кази, чуть поклонилась. Балта прекрасно успел разглядеть блеск глаз и медный завиток волос, и ноздри у него затрепетали.

— Кто она, уж не твоя ли жена?

— Нет, она сирота. Я ее приемный отец...

— Вот как? — задумался Балта.

— Послушайте, уважаемый кази, как вы исполняете директиву правительства, как помогаете армии избавить край от армян?

— В меру сил, да пребудет с нами Аллах. Правда, после вас, эфенди, остается мало о ком позаботиться, — усмехнулся кази, — в основном собираем за них урожай, за что вам глубокий поклон от всей деревни.

Кази наклонил голову, и его гость кивнул, принимая благодарность.

— Остались ли где еще в окрестностях армяне?

— Благодаря вашим стараниям немного, наши крестьяне поймали лишь трех.

— Да уж и правда, после моих молодцев подбирать мало что придется, — усмехнулся офицер, — Ну, и что вы сделали с пойманными?

Кази пожал плечами, будто вспоминая о чем-то мало приятном.

— Девочку пяти лет продали курдам, с женщиной что-то сделали, ну, а мужчину отдали нашим женщинам...

Кажется, они его поджарили... Впрочем, мелочи меня не интересуют...

— Ха-ха-ха, — рассмеялся Балта, — А ведь напрасно, уважаемый, мелочи могут доставить большое удовольствие — что может быть приятнее, чем увидеть мученья врага?..

— Ходят слухи, что какие-то армяне в горах вооруженные. Будто кто-то их видел, — взял чашечку кази Магомед. — Достаточно ли у нас сил защититься, если что? Ведь большая часть вашей роты уже отправлена на фронт...

— Армянские отряды? — рассмеялся Балта. — Да откуда они здесь? Бабы рассказали! Да и если даже несколько бродяг где-то бродят, чего вам бояться — в деревне мой взвод остался, в каждом доме есть оружие.

Мужчины некоторое время молчали, пробуя кофе.

— А что, канарейка не поет? — спросил Балта, взглянув вверх.

— Как всегда, эти бездельники забыли покормить, — проворчал кази, дотронулся до колесика, спрятанного в листве, стал крутить, и золотая клетка медленно опустилась.

Из темноты появилось круглое лицо слуги Магомеда, Селима. Он молча поклонился, не входя в беседку.

— Что тебе, Селим?

— Опять Хасан к Вам просится...

— Чего ему надо?

— Очень просится...

— Знаю, знаю, что ему надо, ну ладно, пусти...

Через несколько минут раздался скрип камешков на тропинке, и у входа в беседку оказался немолодой крестьянин с загорелым огрубевшим лицом в белой рубашке и с накрученным на голову пестрым платком.

Увидев, что за важных персон он потревожил, крестьянин растерялся, сорвал с головы тюрбан, прижал его к груди и упал на колени.

— О высокочтимые! О мудрейшие! Да хранит вас всемогущий Аллах! Дай Аллах здоровья и всех благ вам и вашим ближним! Да будет всегда удача, благочестивые, вам в ваших благородных делах...

Кази поднял руку, прерывая пришельца.

— Хватит, хватит, Хасан! Встань! Скажи лучше, что тебе нужно, а лучше я сам скажу — опять за налоги просить пришел? Опять платить нечем?

— О милостивый и справедливейший! Весь год я работал, не покладая рук, этому каждый в деревне свидетель, Но ведь у меня пять дочерей невыданных! Какие из женщин работники?

— Пять дочерей? — заинтересовался Балта.

— Точнее, семь! И ни одного сына! — усмехнулся кази. Он выдвинул кормушку, засыпал в нее зерно, и на безымянном пальце его заблестал гранями крупный изумруд.

— Такова воля Аллаха! — грустно развел руками Хасан. — Двух взяли, да такие же, как и мы, бедняки, — калым все только обещают. Разве это по закону?

— Смех, смех, Хасан, смех — вся твоя жизнь! — жестко заулыбался кази. — Ты мужчина, а причитаешь, как женщина. И это в тот год, когда такой урожай! Когда закрома у других только наполняются!... Два года тебе уже умма налог прощала, не так ли?

— Так, — робко кивнул Хасан.

— Почему ты вместе с другими не ездил по армянским деревням — там был хороший урожай!

— Вол мой, кормилец, болен и стар, брюхо ободрано до крови — боюсь, скоро околеет... Что тогда делать мне?..

— А ведь я знал твоего отца — достойный был человек! А ты говоришь, как слабая женщина!

Кази задвинул кормушку, и канарейка бойко застучала клювом.

— Кушай, кушай, дорогая, хоть воду не забыли налить, бездельники... Ах, эти слуги, никогда не сделают, как ты бы хотел сам!

Вот, Хасан, сидит перед тобой достойнейший эфенди Балта, офицер, капитан, не каждый день ты сможешь такого человека увидеть! Эфенди Балта — воин, герой! Сколько сел им освобождено в нашем вилайете от гяуров! Бери свое семейство, еще несколько таких, как ты, бедняков, для которых эфенди Балта старается, и отправляйтесь, скажем, в Веришен... А что, — плодородные места, и строения почти все сохранены, не так ли, уважаемый? — обратился он к офицеру. — А здешние ваши хибары пойдут в счет долгов...

— Веришен — хорошее место, — подтвердил Балта. — Я его освобождал! И живописное — обрыв там красивый с родником и видом на горы, вы это место полюбите!

— Уважаемые, а не осталось ли там армян? Туда два дня назад Мехмет отправился и до сих пор не вернулся!

— Э-э, — сказал капитан, — Мы всех гяуров давно побросали там со скалы, мы прочесали местность, — селения — пусты... Не будь труслив, один турок сто армян победит! Аллах вам поможет!

— Уважаемые, но как же мы будем жить там без... мечети?!

— Ничего, я что-нибудь придумаю, — махнул рукой кази. — Там ведь церковь есть?.. — Ну, со временем перестроите в мечеть, а я нового муллу пришлю... Ладно, ладно, Хасан, не задерживай нас, видишь, какие гости — важные разговоры ведем, а тут ты...

— Благодарю, благодарю за мудрый совет. Да хранит вас Аллах! — сложив ладони, поклонился Хасан и, отвернувшись, зашагал прочь, и еще несколько мгновений была видна его печально сутулая спина.

— Вот, — заключил кази, поднимая клетку, — Не хватает всем места уже в Ак-чае: слишком выросли семьи, детей много, а земли столько же... Хотя глупый и бедный — он всегда и останется глупым и бедным. Так уж Аллах определил: дурак умнее не станет — растратит все богатство, сколько бы ему Аллах ни давал! Кысмет!\*

---

\*Кысмет — судьба (турецк).

Кази вновь расположился на диване. Когда они с гостем допили кофе, он опять хлопнул в ладоши, и с легким шурушанием вновь появилось белое видение. Девушка взяла пустую чашку у кази, затем направилась к гостю.

И в тот момент, когда она наклонилась за чашкой гостя, офицер вдруг особенно пристально посмотрел на нее.

Девушка, подобрав его чашку, пошла из беседки и вдруг, когда она была уже на пороге, офицер резко и повелительно крикнул: «Кангнир! Гай ахчик!»\* и девушка внезапно остановилась, как вкопанная. В следующий миг она поняла свою ошибку, чашки полетели вниз, и она зарыдала.

---

\*Остановись, армянская девушка! (арм.)

— Армянка! Армянка! – охотничье блестя глазами, захохотал Балта. – Ах, хитрая! Так вот кого ты укрываешь, уважаемый кази!

— Я не армянка! Не армянка! Я – Джамиля! – яростно закричала девушка и, подобрав чашки, бросилась прочь.

Кази некоторое время молчал.

— Продай ее мне! – сказал офицер. – Я сразу догадался, когда увидел ее рыжую прядь: в деревне сказали, что у тебя живет рыжеволосая армянка.

— Нет, уважаемый, я ее уже обещал сыну, — кази помолчал и добавил. – Они скоро поженятся.

Глаза у Балты округлились.

— О, достопочтимый, армянка и даже невеста! Но ты же знаешь установку правительства уничтожить весь этот неверный род под корень!

— Насколько я знаю, оно касается только мужчин... А женщин можно брать... И к тому же, она уже не армянка!

— Как этот так?

— Она приняла ислам, и потом, женщина прощается с прошлым родом, когда входит в новую семью. Она входит в новое через плоть. Ее ребенок, и ее муж ей навсегда будут ближе прежней семьи и прежнего рода. Только женщина умеет менять жизнь, как змея кожу...

— В самом деле, — усмехнулся гость, — это довольно необычно, чтобы эти гяуры меняли свою веру – скорее они предпочитают умереть. А уверен ли ты в ней, уважаемый кази?

— Сказать по правде, я был сначала против, но сын настоял... Любовь! – усмехнулся кази. – Ну что ж, была армянкой – станет турчанкой! Такое не впервой!

— Слушай, Магомед ага, я предчувствую, эта женщина принесет несчастье твоему сыну и роду, лучше отдай ее мне!

Кази нахмурился:

— Уважаемый эфеди Балта, неужто вы не слышали, что кази Магомед своего слова не меняет!

Неожиданно канарейка под потолком запела.

## ДОБРЫЙ КЕРИМ

Керим был средним из трех сыновей кази Магомеда. В армию он не попал из-за свой хромости: в детстве вскочил на необъезженного жеребца, тот понес его и сбросил. К радости родителей, мальчик остался жив, но нога была сломана. Кости срослись неправильно, и Керим на всю жизнь остался хромым.

Из-за этого Керим с ранних лет чувствовал свою ущербность в сравнении с другими и не раз задумывался, насколько это справедливо. Искалеченная нога мешала ему принимать участие в мальчишеских играх и забавах, участникам которых ничего не стоило подшучивать над его физическим недостатком.

Зато вынужденные периоды одиночества и физического бездействия вызывали более активную работу сознания и мысли. Керим больше наблюдал, больше думал, чем его сверстники. Арабскую грамоту выучил с пяти лет и уже тогда стал постигать отдельные суры Корана, которые ему подбирал отец.

Кази Магомед, человек суровый, старался не давать повода к тому, чтобы его можно было заподозрить в особой симпатии к кому-то из трех сыновей. Однако в глубине души больше всего любил все-таки Керима. Втайне кази мечтал сделать из него муллу, который смог бы унаследовать его место в мечети.

Несмотря на свою хромоту, Керим был активен, ровен и весел нравом, любил движение, но оно носило несколько иной характер, чем у сверстников. Он пристрастился к одиноким конным прогулкам по окрестностям с ружьем за плечами, и вскоре из него получился хороший охотник. У него был зоркий острый глаз, и он часто возвращался домой с добычей: то птицу какую подстрелит, то зайца, а то и горного козла. А когда в 16 лет привез убитого волка, то стал героем всей деревни.

Своими вопросами при чтении Корана он иногда ставил отца в затруднительное положение. Когда в 1915 году повсюду в Турции началось массовое уничтожение армян, он спросил отца, зачем их убивают. Кази Магомед ответил, что их убивают потому, что они иноверцы и их христианство, подобно яду, отравляет империю, и в подтверждение привел суру из Корана:

«А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее; а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы».\*

---

\*Коран. Сура47. Мухаммад.

— Но ведь сказано в том же Коране, — усомнился Керим:  
«Истинно, и верующим, и иудействующим, и назарянам, и сабеям, тем, которые верят в Бога, в последний день и делает доброе, — им награда у Господа их: им не будет страха, они не останутся в печали».

\*Коран. Сура2. Корова.

Родитель тогда ответил в том духе, как и положено отвечать родителям, когда они не знают ответа на вопрос ребенка: мал еще и многого не понимаешь. А точнее, кази сказал:

— Ты еще слишком мало читал Коран, чтобы взять на себя смелость его толковать! Если наше правительство делает так, значит, это нужно!

В то утро Керим, как это бывало не раз, сразу после намаза, закинув винтовку за плечо, вскочил на своего гнедого Карагеца и помчался через деревню. Скоро она осталась позади, всадник пересек поле и только у края леса перевел коня на шаг. Отпустив поводья, он дал коню идти, как тот хочет, а сам погрузился в свои мысли и мечты. Конь, словно понимая состояние хозяина, шел тихо, ступая на павшую листву, почти бесшумно.

А Керим любовался осенним лесом, синим небом меж ветвей. Он был счастлив от переполненности души красотой этого дня, но избыток этого счастья переходил в тоску. Томило желание разделить это счастье с женщиной, которая смогла бы его понять.

Строки будто сами собой слетели вдруг с синего неба в его сознание:

Тоскует душа моя, как пустой сосуд,

Когда же ты наполнишь его вином?

Он подумал о том, что вино запрещено Кораном, и усмехнулся.

В ущелье поднимался утренний туман, лес кончился, и конь оказался на краю поляны с высокой желтой травой. Керим поднял глаза и обомлел. Будто сотканная из утренних трав и тумана, изящная и легкая, как привидение, стояла метрах в десяти перед ним косуля.

Она не шевелилась, и он не шевелился. И конь, чуя хозяина, замер.

Керим смотрел и видел длинный карий глаз косули, женский глаз, в котором были и настороженность, и нежность. «Неужели я ее убью?» — с сожалением подумал Керим. Но охотничья страсть разыгралась, захлестнув все другие чувства, он сорвал с плеча ружье и, почти не целясь, выстрелил.

Косуля взвилась над травами высоко, будто птица, и исчезла.

«Убил?» — подумал в каком-то полупьяном восторге Керим и, пришпорив коня, был почти в тот же миг на месте, где исчезла косуля...

Ничего — лишь несколько капелек крови на траве...

— Гони! — всадник и конь будто слились. Они промчались через поляну, неслись через лес, опьяненные азартом... Однако скоро Кериму стало ясно, что они потеряли направление, и во рту загорчало от разочарования.

И в этот миг неожиданно услышал стон. Да, это был стон жертвы. Осторожно, сдерживая коня, всадник двинулся на него. Деревья расступились, и он оказался у родника, журчащего меж раскрытых каменных ладоней.

У родника лежала девушка и стонала. Ее маленькие ступни были сбиты в кровь. Простое грубое платье облегло тонкую фигуру. Голова с гривой медно-красных волос лежала на руке, глаза были закрыты.

Керим слез с коня и приблизился к ней, стараясь не шуметь. Будто это и была косуля, готовая в любой момент исчезнуть.

Он наклонился к девушке, тронул ее за руку, глаз открылся и Керим вздрогнул — то был длинный карий глаз косули!

Ни слова не говоря, он легко поднял на руки свою добычу, посадил на коня впереди себя, и они отправились в Акчай.

## ДЖАМИЛЯ

Жены кази Магомеда отпоили и привели в себя девушку настолько, что уже вечером Керим впервые смог с ней поговорить.

— Это рыжая — наверняка беглая армянка, — говорили женщины кази и мать Керима Эсмэ, но для Керима найденная у источника девушка была не армянкой, не гречанкой, не турчанкой — она была прежде всего косулей, превратившейся в человека — тайным знаком Аллаха.

Девушка немного говорили по-турецки, но свое имя называть отказалась.

— Назови меня как хочешь — ты ведь меня спас.

Керим думал недолго:

— Тогда будешь Джамия — так мою бабушку звали.

Она робко притронулась к его руке, и будто озноб пронзил все его тело.

— Я не хочу вспоминать о прошлом... Можно, я буду считать, что я родилась там, у родника?

— Так оно и есть, — кивнул Керим, улыбаясь.

— Я буду твоя наложница? — покорно спросила девушка.

Керим нахмурился:

— Нет, ты будешь свободной и сможешь сама выбрать себе судьбу. Поживи у нас гостьей, а там, если захочешь, сможешь уйти... — руки Керима сжались, и он, нахмурившись, отвел взгляд. — Я даже тебе помогу... Но сначала поживи немного, хорошо?

Девушка кивнула, и Керим вышел в сад будто окрыленный. В голове лишь стучало: Джамиля! Джамиля! Джамиля!.. Сквозь цветы, листву, ветви он видел лишь ее образ, ее улыбку, водопад медно-красных волос.

Джамиля легко и уверенно шагала вверх к источнику с пустым кувшином на плече. Тропа извивалась, была то полого, то крута, и время от времени Джамиля останавливалась, чтобы отдышаться и посмотреть на деревню сверху.

Пока все складывалось в целом даже очень удачно, и главной удачей было то, что Керим ее любит, и она его любит. В этом счастье взаимной любви, в котором они пребывали уже третий день, она чувствовала такую свободу души, которую и представить себе раньше никогда не могла. Три дня назад, когда они сидели в беседке сада, он сказал, что любит ее, и она призналась, что любит его.

Роман их развивался стремительно. Сливаясь друг с другом физически, они переставали чувствовать различие между собой, превращаясь в единый двухголовый четырехрукий и четырехногий организм. Так легко рушились, казалось, непреодолимые границы религий, этносов, полов, самой личности, уходящие в столетия границы вражды, что становилось жутко и весело, и это придавало особенную остроту их ощущениям. В один миг они, как по волшебству, пролетали над неодолимыми Крепостями и Пропастями. Переставало существовать и прошлое, и будущее – и даже то ужасное прошлое, которое она приказала себе забыть, (оно так и не уходило, а лишь отступало и затаивалось).

Глядя на деревню, она нахмурилась: ну что ж, прошлого уже не вернешь и не изменишь, не вернешь родителей, а значит, надо найти в себе мужество отбросить его, обрубить совершенно и жить будущим! Да, надо жить по-новому, устремляя себя в совершенно новую жизнь... Нет, она не будет больше армянкой! Она не хочет быть страдающей и гонимой! Она не хочет этих вековых грустных песен! Она молода, здорова и хочет быть счастливой! Она имеет на это право!

Прошлой ночью, когда они лежали с Керимом, она слегка задремала посреди любовного неистовства, и вдруг ей показалось, что она снова там, будто дохнуло сырой могилой, в которой она увидела нечеткие расплывчатые черты лиц отца и матери, племянницы Нуны, будто зовущие её, и она, испуганно вскрикнув, проснулась.

Керим, кажется, обо всем догадался.

— Слушай, — сказал он, смотря на нее ласково, — забудь все плохое, что было. Представь – то был сон!

— Да, — сказала она, обнимая его, — настоящее лишь то, что – ты и я, остальное – уже неважно.

Она сумеет отсечь прошлое, как бы оно ни цеплялось за нее, она будет жить будущим, она – сильная! И залогом этого будущего будет, конечно, их с Керимом ребенок!

Она тряхнула рыжей головой, будто отгоняя все плохие мысли.

И она будет за это будущее сражаться, не щадя никого, кто посмеет переступить дорогу, ибо у нее есть оружие – ее Керим!

Конечно, все идет отнюдь не гладко, борьбу предстоит вести и сейчас, и в будущем, но она выстоит! Управлять мужчиной! Ах, как это чудесно, как, наверное, мужчине управлять конем. А она сможет управлять – она видит, какими глазами смотрит на нее Керим – любяще-покорными!

Они гуляли по саду, он много говорил, говорил, как чувствует мир, как любит красоту, говорил о себе, свои мысли сокровенные ей доверял, а она слушала, наслаждалась и изучала его: да, это была тонкая и благородная душа! И до чего чистая!

Конечно, с ее появлением сразу возникли и проблемы: две жены кази Магомеда по-женски сразу почували в ней соперницу: средняя, мать Керима, Эсмэ, и младшая, уже отцветающая красавица Зарема. Мать Керима возненавидела ее особенно, увидев, какую власть возымела нищая армянская беглянка над ее сыном. От нее можно ждать чего угодно – даже змею в постель может подложить, поэтому надо быть крайне осмотрительной! Бывшая же танцовщица Зарема ревновала к ней лишь как ревнует отцветающая красавица к более красивой и более молодой женщине. Зато добрая старенькая Гюля, наполовину гречанка, стала ее союзницей, уже дважды предупреждая о мелких кознях младших жен, и Джамиля, в знак признательности, дала ей со своего подаренного Керимом монисто золотой.

Но царем и Богом в этом доме был, конечно, кази Магомед. Он был вовсе не в восторге от того, что Керим собирается взять в жены неизвестную женщину. Мало того, поначалу он был категорически против! И дело было не только в армянском происхождении беглянки – она была рыжая, а ко всем рыжим кази Магомед относился настороженно – в отблеске их волос ему чудился отблеск пламени геенны огненной.

— Возьми ее наложницей! – советовал недоуменно. Но тут Керим проявил неожиданную для мусульманского сына строптивость:

— Отец, — сказал он, склонившись в глубоком почтении, — Здесь все решаете вы. Выше вас никого, кроме Аллаха. Но и я потом за себя решу. Если вы не благословите меня, я сделаю единственное, за что вы не сможете проклясть меня: уйду к дервишам постигать Аллаха! Воля ваша!

Кази Магомед не ожидал такого поворота, только крякнул:

— Вот как окрутила тебя!...

Немного подумав, и, возможно, вспомнив свою первую жену — наполовину гречанку, ответил в итоге согласием. «Все пройдет, — успокоил он себя, — жизнь на этом, хвала Аллаху, не заканчивается! А молодая любовь сколь жарко пылает, столь быстро и гаснет...» С тех пор в дела Керима и Джамили он не пытался вмешиваться, сохраняя в семейном противостоянии нейтралитет.

Отдышавшись, Джамия двинулась выше: инициативу носить воду из водопада она взяла на себя, и пожилые жены, за исключением Эсмэ, были этому только рады. И ведь вода эта имела особое значение: она предназначалась только для мужчин – кази Магомеда и Керима.

Две юные турчанки выше по ручью, завидев ее, стали посмеиваться. Она нахмурилась и грозно взглянула на них. Смех усилился. Одна из девушек брызнула в ее сторону водой, и несколько капель долетели до лица Джамии. Джамия брызнула, что было сил в ответ, тогда в нее полетел камешек, но попал в пустой кувшин. А что, если бы разбил? И ей пришлось бы возвращаться с родника с одними черепками! Какой позор, какая радость для Эсмэ! Джамию охватила ярость, она стала хватать мокрый с мелкой галькой песок и швырять в шутниц.

— Вот! Вот! Вот! – кричала она, и те отбежали.

— Мы хотели только поиграть с тобой, не обижайся! – прокричала одна из девушек.

Ничего не ответив, она еще раз грозно посмотрела на них и стала заполнять кувшин.

Когда кувшин наполнился и Джамия двинулась вниз, бездельницы еще развлекались, брызгая водой теперь друг на дружку, а кувшины их еще были пусты.

Дорога вниз с наполненным кувшином на плече была тяжелее, и она шла не спеша, осторожно ступая. Справа от тропы был голый склон, спускающийся к деревне, слева к тропе, здесь, на повороте, вплотную подступал кустарник.

Неожиданно кто-то позвал ее из кустарника прежним, не принесшим ей счастья, именем, которое она поклялась не произносить даже мысленно. Вначале она подумала, что ей показалось, но мужской и грубый голос вновь отчетливо позвал:

— Анаит! Анаит! Остановись! Это я, брат твой, Гурген!

Свет померк в ее глазах, ноги и руки обессилели, будто она встретила ожившего мертвеца, и она поставила кувшин.

— Анаит! Анаит! Это я, Гурген, твой брат!

Да, теперь она его узнала и обернулась к кустам.

За поредевшей листвой угадывалась фигура сидящего мужчины, присмотревшись, она увидела и лицо, неузнаваемо обросшее бородой, почерневшее от солнца, с дикими глазами, на голову намотан цветной платок...

— Гурген?! Как ты сюда попал?!

— Анаит, мне сказали, что ты жива и в плену, в этом селении, я приехал освободить тебя!

Ее?! Освободить?! Ей вдруг стало страшно. Беженство, нищета, голод, постоянная угроза смерти... И это называется свобода?

— Бежим, Анаит, бежим сейчас же, я знаю путь и место, где укрыться!

Она лихорадочно думала, что ответить.

— Как ты оказался здесь?

— Некогда рассказывать, бежим, Анаит!

— Нет, нет! — почти крикнула она. — Я боюсь, что нас поймают и убьют...

— Анаит, почему ты не спросила о родителях?

— Я знаю... Их убили?..

— Да, Анаит, их убили турки. Я всех схоронил, Анаит, я дочь свою схоронил, как мог...

— Дорогой Гурген! – взяв, наконец, себя в руки, начала Анаит-Джамия. — Мне повезло, я попала к хорошим и честным людям, я живу в безопасности, под другим именем. Если мне хочешь помочь, то беги, брат мой, отсюда как можно быстрее, беги и не появляйся здесь никогда! Ты и не представляешь, как много здесь аскеров, сотни! — (она намеренно преувеличивала число аскеров, стараясь испугать его). — Они поймают и убьют тебя! Везде ищут армян!.. Прошлого уже не вернешь, Гурген! Беги на север, в Россию, женись, заведи себе новую семью, начни новую жизнь!

— Ты отказываешься бежать?! – потрясенно спросил Гурген.

— Я же сказала, я не могу, я боюсь, и потом, я больна и не вынесу...

— Все равно я освобожу тебя, я твой брат!

— Ради меня! Ради Господа и родителей наших! Беги и не появляйся в этих краях! Сюда уже идут... Беги!

В кустах раздался легкий шорох, и фигура исчезла.

Вверху на тропе показались две юные турчанки с наполненными кувшинами. Завидев Джамию, девушки опустили кувшины неподалеку.

— Джамия, — спросила самая бойкая из них, — с кем это ты разговаривала, с кустами? – Они снова прыснули со смеху.

Джамия строго взглянула на хохотушек.

— Там была змея! Я заклинала ее, и она ушла!

— Змея! – воскликнула одна из девушек. — К нам в сад позавчера заползла змея, и брат мой Осман убил ее лопатой!

— Если бы у меня была хорошая палка – никакие заклинания не были бы нужны! – заявила вторая.

— Нет, не говори так, — возразила первая, — палкой их не убьешь – только лопатой или саблей!

— А какое у тебя заклинание?

— Да, скажи, какое? – наперебой затараторили они. – Скажи, и мы сразу станем подружками!

— А такое, — величаво повернулась к ним Джамия, — если кому расскажешь, оно теряет свою силу!

## МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ИСТОЧНИКА

Исследователь этой страны должен уметь читать между строк. Мировая История как бы умалчивает об Армении, лишь кое-где касаясь ее вскользь, мимоходом. И вместе с тем, если присмотреться, Армения (по большей части, правда, в примечаниях, в сносках), присутствует в большинстве наиболее значительных эпох и событий Мировой Истории. Она присутствует в древнейшем мире Вавилона и Ассирии, между строк эллинистической цивилизации, в истории раннего христианства, магометанской экспансии, крестовых походов, она очаг византийских ересей, она излюбленное направление устремленных на север и запад османских завоеваний, подспудно она — в русском вопросе о Константинополе и черноморских проливах, в английских интересах обеспечения безопасных путей в Индию, в строительстве немцами багдадской железной дороги...

Размытость ее границ, постоянно заселяемых кочевниками, пришельцами, эфемерность и кратковременность периодов самостоятельной государственности не давали возможности и времени выделиться из этого междустрочья в самостоятельные абзацы, а тем более в главы.

Вместо этого она все дальше и шире растекалась по междустрочью мировой истории.

Вот так и получалось, что большинство ее наиболее известных потомков, славных имен писателей, певцов, художников, ученых, военачальников получали развитие и воплощение своих даров в иных краях, обогащали иные культуры — европейские, восточные...

Слишком тесны и неблагоприятны были, видимо, условия этой окраины мира, христианской ойкумены, где все силы надо было отдать на выживание.

Но всегда на этой земле оставались, несмотря ни на что, те, кто вопреки бедам пахал, сеял, растил виноград, рожал, хоронил, пек лаваш в тондирах, вырезал из абрикосового дерева дудук и в короткие минуты отдыха и тишины, под его глубокие и негромкие звуки учился мечтать и видеть над собой звезды, как обещание богатства и благодати Божьего Пути.

Окруженная иноверными агрессивными державами, поработенная ими, она все более напоминала остров во власти циклопов, но культуру ее не исчезала, она уходила в подполье, в катакомбы душ, замыкалась от внешних влияний, как замыкался и национальный характер, хотя на поверхности ее могло оседать что-то кавказское, что-то восточное с его дурманом роз и соловьев.

Казалось, Дама Мировой Истории отвернулась от этого клочка суши с его хачкарами, храмами, дудуками... Эта дама предпочитала повседневному труду громкие баталии. А те сражения, которые здесь происходили на фоне мировых, казались ей слишком незначительными — и сколь бы ни решающи они были для судеб здешнего народца — они не влияли сколько-нибудь серьезно на повороты судеб мира.

Однако в своем высокомерии Дама Истории, предпочитающая развернутые батальные сцены, не разглядела главную победу этого народа. Являясь по сути островом в океане агрессивных и более могущественных иноверцев, этот народ не пошел на компромисс, даже частично. Ни одна часть его, ни одна область не перешла ни в огнепоклонство, ни в мусульманство. За полторы тысячи лет он сумел сохранить свою веру, христианскую, пусть архаическую, пусть своеобразную — не в этом главное. Главное — народ за полторы тысячи лет сумел остаться верным Идее!

\*\*\*

Джек Харрисон из Оклахомы, авиатехник базы «Энжерлик» тоже считал себя исследователем. Он служил в Турции уже больше полугодом и был в восторге от этой страны. За свои увольнительные он успел объездить ее от синего моря до снежных вершин. Сегодня была одна из таких поездок. Теперь он избрал для экскурсии восток страны, несмотря на то что друзья турки предупреждали его об опасности встреч с курдскими сепаратистами. Однако Джек Харрисон был смелый парень, а когда ты смел, да еще ощущаешь, что за твоими плечами стоит такая великая держава, как США, то бояться каких-то нищих, выглядывающих из глинобитных хижин крестьян, вообще смешно. Да и что сами курды имеют против американцев? Сколько курдов живут в Америке да еще устраивают демонстрации перед Белым Домом!

День был прекрасный, солнечный, дорога великолепная, и Харрисон любовался прекрасными горными пейзажами из окна взятого напрокат лендровера. Сейчас он отдыхал, а за рулем сидел его приятель и гид Али Эджевит. Али Эджевит был добродушный свойский парень и, к тому же, немного знал английский. Брал его собой Харрисон не в первый раз. Вчера они были в каком-то турецком селении, где им показывали национальные танцы, танцы живота. Вчера Харрисон слегка перебрал виски и теперь наслаждался приятным ветерком из открытого окна. На этой высоте даже не требовался кондиционер. Еще угощали его турецким хлебом, который пекут в каких-то ямах, нашлапывая тесто на раскаленные стенки так, что оно становится тонким, как бумага. Правда, в Энжерлике ему кто-то говорил, что хлеб этот не турецкий вовсе, а армянский и зовут его как-то вроде «лав» (во дела — почти любовь по-английски!), но туркам об этом лучше не говорить — обидятся! Харрисон откупорил банку кока-колы и с наслаждением затыкнулся.

Али притормозил — впереди на дороге в спецкомбинезонах трудились дорожные рабочие. Завидев машину, да еще с американским флажком, который Джек не без удовольствия всегда перед выездом выставлял на капоте, рабочие весело замахали им руками. Встали и те, кто сидел и покуривал. Загорелые радостные лица, блестящие в открытых улыбках зубы... Али о чем-то с ними заговорил, а они столпились вокруг, каждый по своему пытаясь показать свою доброжелательность: махали руками, улыбались, а один даже осторожно погладил капот лендровера.

— Говорят — любят американцев, — перевел Али.

Джек в ответ с достоинством кивнул и, козырнув, белозубо улыбнулся.

— Желают счастливого пути, и да поможет вам Аллах!...

Джек достал пачку жвачки, которая сразу исчезла в чьей-то черной жилистой руке.

Они уже проехали довольно далеко, а рабочие еще радостно махали им вслед.

«Хороший народ эти турки» — в который раз подумал Харрисон. Месяц назад в составе туристской группы он ездил в Армению. Армения ему не очень понравилась — горная пустыня, каких на Среднем Западе полно, да и люди какие-то не улыбочивые, — чего ждать от таких — не знаешь. «Нет, — заключил про себя Харрисон, — турки лучше — веселые, открытые и чем-то на нас похожи...»

Плавным серпантином машина поднималась в гору. До чего богатая страна: каждый день видишь что-то новенькое — то великолепную бухту, то древнюю мечеть, то остатки эллинского храма, то пещерную церковь в Кападокии... Вот и теперь — на склоне горы возник какой-то храм. Может быть, и христианский, хотя креста не видно, однако своим необычным видом он привлек Харрисона. Кажется, нечто такое он уже видел в Армении.

Джек попросил Али остановиться.

— Чей храм?

Али пожал плечами — христианский, в Турции все есть! И обо всех памятниках старины мы заботимся.

Захлопнув машину, они пошли к храму. Припекало солнце, и вверх идти было трудно. Несколько раз им пришлось остановиться передохнуть.

Восьмигранная коническая крыша храма поросла травой, колонны опутывал дикий виноград.

Аккуратная табличка на турецком и английском гласила, что храм христианский, построен в XII веке.

— А кем построен, кем? — удивился Харрисон, — почему не написано?

Али пожал плечами:

— Столько народов жили в Турции... Жили и христиане — одни остались, другие — ушли... Может, албанцы, может, грузины... Наши ученые изучают.

Харрисон кивнул.

— Сфотографируй-ка меня.

— Эй, да разве не найдем мест получше? Вон чинар, давай я тебя у чинар сфотографирую, и скала там красивый.

— Нет, я хочу у храма, — уперся Харрисон.

Али с явной неохотой взял фотоаппарат.

Харрисон сделал «чииз», и Али щелкнул.

— А теперь ты.

— Я у чинар.

— Ну, как хочешь...

— Зайдем? — предложил Джек, указав на темный полуобвалившийся вход: его притягивало все сколько-нибудь загадочное.

Али отрицательно помотал головой:

— Я лучше покурю, — он достал пачку Мальборо и зажигалку.

— Ну, значит, схожу один! — заявил Джек.

— Я подожду, только осторожнее — змеи...

Харрисон на всякий случай поднял лежащую рядом суковатую палку и вошел в проем.

Али закурил, глаза его с красными прожилками смотрели на дорогу, чинару и дальние горы.

Джек миновал низкий вход и оказался в просторном сводчатом зале с колоннами. Пространство помещения пересекали по диагонали два серебристых столба света, исходящего из боковых окон. Он поднял голову: купол исчезал в сумерках. Каменный пол, видимо, давно не расчищали, и он был покрыт слоем земли и тонкой пыли, которая с каждым шагом взметалась легким облачком, оседая на его армейских ботинках. Здесь было тихо и безлюдно, и он показался на миг себе Индианой Джонсом, ищущим клад в загадочной восточной стране. А что, если и в самом деле тут где-то есть клад?..

Людей здесь, очевидно, не было. Бог знает сколько месяцев, если не лет. Джек шел, оставляя в пыли следы, как Армстронг на лунной поверхности, и остановился посреди зала у серебристого луча: тысячи и миллионы темных пылинок вертелись и кувыркались в нем, а все вместе образовывали этот белый столб света. Он ощупал ладонью колонну, у которой стоял: камень был довольно гладкий, слежавшийся, и весь в мелких порах, какие бывают у очень древних камней. Такие строительные камни Харрисон видел только в Риме.

Джек прислушался и неожиданно услышал слабое журчанье воды. Журчанье доносилось из дальнего конца храма, и Джек направился к нему. Здесь был исходящий из скалы, к которой примыкала стена храма, родник. На его месте и, возможно, в честь его и был, наверное, построен этот храм. Орнамент на стене был полустерт и непонятен. Вода, тихо булькая, стекала в каменный желоб, который шел некоторое время вдоль стены, и исчезала в невидимых щелях под камнями.

День был жаркий и, поднимаясь сюда, он порядочно взмок, а здесь стояла приятная прохлада, какая-то особая, древняя — с едва уловимым сухим ароматом этого тысячелетнего пористого камня, плиты которого будто срослись за многие века.

Джек присел на корточки и, опершись руками, наклонился и стал с наслаждением пить холодную воду, в которой дрожали мелкие камушки, случайно попавшие на дно желоба. Вода приятно холодила грудь, будто стекая с подбородка на рубашку.

«Благословенный источник!» — подумал Джек, поднимаясь на ноги и вытирая губы рукой.

Неожиданно он почувствовал, что рядом с ним кто-то присутствует. Он поднял глаза и увидел по другую сторону жёлоба высокого человека в черном монашеском одеянии. На груди незнакомца сиял серебряный крест, а лицо с курчавой бородой было молодо и красиво.

— Здорово, старина! – сказал Джек. – А ты как сюда попал?..

Человек улыбнулся Джеку, пошевелил губами, но Джек не расслышал.

— Что-что? – однако в этот миг он неожиданно осознал, что видит противоположный контрфорс храма сквозь этого монаха.

Однако улыбка была доброжелательная, и чувства опасности и страха Харрисон не испытывал. Он испытывал лишь безмерное удивление.

Крест на груди незнакомца ярко вспыхнул, будто в него ударил луч солнца, Джек невольно зажмурился, а когда открыл глаза, фигура исчезла. Джек покрутил головой вокруг, но никого в храме не увидел – и следы были лишь от его армейских ботинок.

Вот в этот момент он и почувствовал страх. Он пересмотрел кучу голливудских ужастиков с мертвецами, призраками, вампирами из Беверли Хиллз, но всегда воспринимал все это лишь как сказку, жуя попкорн и ни на мгновение не сомневаясь, что все это не имеет совершенно никакого отношения к практической жизни. Да и сейчас он ни на минуту не сомневался, что призрака, как такового, не было.

Страх его был продиктован совсем иным: если призрака не было, значит, этот призрак – плод его воображения, а если его воображение выкидывает такие штуки, значит он, Джек Харрисон, болен! – Возможно, это результат перегрева на солнце? Или вчерашнего алкогольного излишества?.. Как бы то ни было, если видение было – значит, это симптом какой-то доселе скрытой, дремавшей в нем психической болезни!

Он болен!!! – Это мгновенное открытие оглушило его, всегда уверенного в своем здоровье, гордящегося им, проплывающего брассом по пять километров без отдыха!.. Первая мысль была о том, что надо немедленно сходить к армейскому психоаналитику Марку Гофману. Но он почти сразу отверг этот вариант: едва узнают, что у него что-то не в порядке с психикой, сразу турнут из армии!

Боже, что же делать!? – лихорадочно думал он. – Возможно, обратиться к какому-нибудь знахарю? Или нет – он лучше слетает в Стамбул, найдет по Интернету хорошую анонимную клинику с врачом-европейцем... Или, еще лучше, — на недельку в Израиль!

Еще минут десять-пятнадцать назад в этот храм входил совершенно здоровый, уверенный в себе человек, а выходил сломленный и подавленный собственным открытием.

Он появился на солнце бледный, пошатывающийся.

— Мистер, что с вами? – Али отшвырнул сигарету и встал навстречу.

— Ничего, ничего, Али, — просто голова разболелась, — Джек ладонями сжал и потер виски. — А поехали лучше домой, Али...

— Слушайте, мистер, — взявшись за баранку, обернулся к нему Али, — если голова болит, можно помочь, — я знаю в одной деревне такого колдуна – он рукою боль снимает, вот так! – Али полоснул лапой пространство.

— Да не надо, таблетку съем, — вяло пробурчал Джек.

— Тут главное – хорошо кушать, особенно фруктов побольше! – продолжал советовать Али... — Это еще от солнца бывает...

— Бывает, бывает... А у тебя, Али, так, между нами, видения какие-нибудь когда-нибудь бывали?

— Ха! – усмехнулся Али, — зачем секрет? Мы ж друзья! – Бывали, бывали, мистер, как травку попробуешь – такие видения, скажу я тебе... такие Гурии приходят... что твоя Бритни Спирс!

— Вот как? – вдруг оживился Харрисон. Он вдруг подумал (и как ему в голову сразу не пришло!) – ведь он целых полтора месяца воздерживался от секса! Полтора месяца после того раза с француженкой — а до того еще столько же – хранил верность жене! А ведь сколько раз он слышал от докторов, что от воздержания крыша едет!

Харрисон громко хлопнул себя по лбу, и Али удивленно обернулся.

— Слушай, Али, мне нужен хороший бордель...

— Нет проблем, мистер...

— Только я сказал хороший, понимаешь? Чистый, здоровый, деньги и за тебя заплачу!

— Знаю, знаю, — есть такой на побережье, — радостно закивал головой Али. – К вечеру будем. Хороший бордель! Якши! И девочки там хорошие, новую партию только из России привезли – почти девушки! – причмокнул Али и расхохотался.

И Харрисон все про себя уже решил – нет, он вовсе не подлец, он человек честный. Он все расскажет своей Дори, и она поймет, должна понять, в каких сложных условиях приходится служить – она жена солдата!

А пока туда, к морю, где мгновения оргазма освобождают от всего – и от прошлого, и от будущего! — Якши!

## КРОТКИЙ ЛЕВОН

Отец Левон наклонил голову к источнику. Губы сразу занемели. Сделав пару глотков, он снова перекрестился и прошептал в пятидесятый раз за день, как было установлено по обету:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедливо злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали пророков, бывших кроме вас».\*

---

\*Евангелие от Матфея 5.3-4.

---

Еще раз перекрестившись, он повернулся в глубь храма.

Там, в одном из приделов, грелись у костра фидайны. Их было двенадцать бродяг, встретившихся на дорогах беженских, потерявших семьи, жилье, горевших огнем мести. Бог знает, как и где они уже успели достать кое-какое оружие: кто маузер, кто саблю, кто ружье. И возраст у них был самый разный: от пятнадцатилетнего мальчика курда-езида Насима с косичкой на затылке, всегда оживленного и веселого до крепкого седоусого, лет под пятьдесят, Месропа, бывшего в прошлой жизни обувным мастером, серьезного и основательного человека. Но главным среди них был этот – скала на скале, квадрат на квадрате с глазами, будто льющими из-под лохматых сросшихся на переносье бровей, расплавленный свинец – Гурген. Они явились сюда вечером, когда над горами разразился гром, и снаружи хлестали потоки.

Много веков назад, когда низлежащие равнины и долины были населены армянами, этот храм жил: в нем вершились богослужения, в роднике крестили детей, здесь отпевали покойников...своды его слышали пение ревностной паствы...

Несколько раз разноплеменные завоеватели опустошали этот край, несколько раз край этот возрождался снова. Наконец люди стали постепенно оставлять эти места – кто перебирался повыше в горы, кто вообще уезжал в другие края, страны... И церковь пустовала уже немало веков. Не осталось уже в памяти человеческой имени последнего служившего здесь священника, тем более прихожанина. В ней поселились летучие мыши, с пронзительным писком расчерчивающие пространство под куполом, иногда она становилась пристанищем для зверей или змей, иногда сюда забредал случайный путник – монах, дервиш или пастух, укрывающийся от ливня. Так и случилось, что о церкви постепенно забыли.

Левон набрел на нее около недели назад совершенно обессиленный – к тому же сильно ушиб колено, и ноге требовался отдых. Около ста километров он шел из окрестностей Муша со своей драгоценной поклажей, стараясь избегать турецких деревень, курдских шаек. Он выбирал самые труднопроходимые тропы, ибо то, что он нес, было много важнее его жизни — это было древнее десятого века Евангелие в серебряном, украшенном драгоценными камнями окладе. Он получил это Евангелие из слабых рук дряхлого священника одной из церквей, где служил его помощником с заветом во что бы то ни стало доставить в священный Эчмиадзин это старинное, намоленное поколениями Евангелие и передать только в руки самому святейшему Католикосу. А тот старик отказался уходить, он остался, чтобы умереть в той церкви, в которой служил почти всю свою жизнь.

Левон нес Евангелие в холщовом мешке, тщательно завернутым в кожу и тряпье, укрывая его от дождей и росы. То ли пять, то ли шесть дней он шел, то взбираясь на кручи, то спускаясь в леса, через заросли которых приходилось продирается, давно закончилась последняя лепешка, жажду он утолял в горных ручьях. И то, что оставался жив, Левон причислял исключительно Божьему промыслу, хранящему эту Книгу: однажды Он отвратил его от встречи с разбойниками-курдами, в другой раз священник встретил на тропе волка. Волк стоял на тропе и смотрел на человека, а Левон тоже стоял и истово молился, а когда поднял глаза – волк ушел.

И когда его уже шатало от голода и усталости, и колено распухло, а в глазах мутилось, и когда он понял, что дальше идти не в силах, то увидел этот храм, показавшийся ему сначала видением. Здесь Левон вдоволь напился из источника, храм окружали густые заросли орешника – Левон наелся созревших орехов и, почувствовав какие-то силы, нашел укромное место, куда можно было спрятать Евангелие: это была каменная полка, задвигаемая камнем. Возблагодарив Господа, он уснул и спал на голом камне, слегка застланном хвоей, так спокойно, как давно не спал. Так он жил, восстанавливая силы, несколько дней. В одну из ночей, когда над горами разбушевалась гроза, сквозь сон он вдруг услышал армянскую речь и обрадовался. Гром гремел над горами, и они вошли мокрые, но шумные и решительные – таких армян Левон давно не видел. Они были в бурках, папахах, с оружием...

— Что делаешь здесь, святой отец? – спросил его этот, главный.

— Молюсь за армянский народ... — смиренно перекрестился Левон.

Гурген расхохотался так, что эхом ответили приделы и залы.

— Ты опоздал, святой отец, теперь армянам надо сражаться!

— Молиться никогда не поздно, — кротко возразил отец Левон, однако Гурген уже его не слушал, а отдавал распоряжения: кому накормить оставшихся снаружи под навесом лошадей, кому стоять на часах...

Плоть отца Левона так и взывала от радости, когда он узнал, что у отряда есть убитый кабан, которого они собирались сейчас же зажарить. И в следующий миг ему стало стыдно пред Богом за такую телесную радость, и он про себя несколько раз повторил молитву: «Господи Иисусе, прости меня грешного!...».

Он кинулся помогать этим людям, показал, где источник в храме, где сложены им сухие ветви, которые насобирали, надеясь развести костер (однако спички его отсырели), носил их, куда показали.

С кабана сняли шкуру, мясо разрезали на куски, начали на ветках жарить на открытом огне. Появился из сумок и лаваш.

— А ты куда, святой отец, — усмехнулся Гурген, завидев, что Левон собирается подсаживаться к костру. — Тебя пусть лучше твой Бог накормит, пусть он поступит с тобой так же справедливо, как с армянским народом.

Левон смутился и поднялся на ноги.

— Да что ты, Гурген! — искренне удивился молодой смуглый езид Насим. — Мы же гости у него, он кров и воду дал нам...

Гурген расхохотался:

— Так это я пошутил — садись, садись... может, все-таки твой Бог когда и нам поможет...

Все были голодны необычайно, и скоро от кусков мяса ничего, кроме костей, не осталось.

— Ну, а теперь, уважаемый святой отец, расскажите, как попали сюда.

И Левон искренне, без обмана, рассказал этим людям о себе, и что он несет с собой, и что ему поручено.

— Самому Католикоосу? — удивился Гурген.

— Самому.

— Да, — сказал Гурген, вытирая рот рукавом, — видно, это книга действительно ценная. Принеси хоть посмотреть.

— Листать не дам, — заявил Левон, — а то испортите жирными пальцами — можно только оклад потрогать вашему апету.\*

---

\*Апет — начальник.

---

Левон ушел в дальний придел храма и вернулся со свечой и огромной в серебряном окладе книгой.

Первым взял Гурген, удивленно взвесил ее в воздухе:

— Ого! Куда тяжелее ружья будет! Как ты такую донес? — он отдал книгу Левону, а тот уже из своих рук показал остальным, столпившимся вокруг костра:

— Сколько серебра, только совсем почернело! Его надо отбелить.

— А какие узоры!

— Серебро что — вон видите камни — никак рубины...

Во взглядах засветился священный трепет, многие крестились.

Вот только не было трепета у Або, и не крестился он при виде сей реликвии, а иронически улыбался:

— Вот бы выковырять хоть какой рубин или изумруд, и можно уехать в другую страну и разбогатеть! — словно высказал он мысль, мелькнувшую не только у него.

— А тебе я выковырять глаз! — пообещал Гурген, погрозив Або блестящим от свиного жира лезвием кинжала. Он вдруг вспомнил, что старая Гайкануш говорила, будто слышала о том, что в Ване Або был известным вором.

— На такую сто баранов можно, наверное, купить! — мечтательно сказал езид Насим.

— А стадо баранов — это мы, армяне! — объявил Гурген. — Которые молились этому Богу тысячи лет. — Он, этот мудрый Бог, за это и привел наш народ на бойню!

Гурген зло рассмеялся, вслед за ним и многие другие. Только Левон молчал, Месроп и Насим молчали...

— Ну, и какая такая мудрость в этой книге, святой отец, может, она посоветует, как нам помочь, почитал бы на ночь, святой отец.

— Что ж, — отец Левон поднял книгу, зажег свечу от костра и пошел в центр залы, к каменной кафедре. На нее он положил Библию. Не загадывая, открыл книгу и начал читать: слова его отчетливо разносились по всему храму — их слышали люди и летучие мыши, изредка прочерчивающие сумрак под куполом.

«Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Возьмем сердца наши и руки к Богу, *сущему* на небесах: мы отпали и упорствовали; Ты не пощадил. Ты покрыл Себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил; Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша; сором и мерзостью сделал ты нас среди народов. Разинули пасть свою все враги наши. Ужас и Яма, опустошение и разорение — доля наша. Потоки вод изливает око мое...»\*

---

\*Библия — Плач Иеремии 3.40-48.

---

— Хватит! — вдруг резко выкрикнул Гурген, ударив кулаком по полу. — Хватит! И чему твоя книга учит? Снова покорность? Слышали... Все одно и то же! Нету ответа в книге твоей, что делать нам. А теперь я скажу, святой отец, скажу перед всем отрядом, — Гурген встал, тяжело подошел к кафедре и, встав позади Левона, взял его за плечи и отодвинул от каменной кафедры.

— Книгу возьми, свечу оставь...

Прошло некоторое время, Гурген прокашлялся.

— Теперь слушай меня, отряд... У каждого из нас этот Бог отнял кого-то из близких — жену, сына, дочь, отца, сестру, а то и всех сразу! Чем они перед Богом провинились? Чем провинилась моя маленькая Нуне?... Мои отец, мать? А нам снова предлагают называть его милостивым и плакать! Выжжено у меня все внутри и плакать нечем — сух колодец!.. Вот с нами есть хороший боевой товарищ езид Насим, встань, Насим, пусть на тебя все посмотрят. И мне, армянину, теперь его Злой Бог ближе! Он говорит — плохой Бог ближе, а до хорошего далеко, не так ли, Насим? Да, это так, и не возражай! Зачем Бог убил мою Нуне? И после этого Его любить? Миром владеет Сатана! Теперь вот мой Бог, — Гурген из-за пазухи вытащил маленькую деревяшку — куколку, с которой когда-то играла Нуне, поставил перед собой и, глядя на нее, перекрестился. Потом убрал куколку обратно и снова взглянул на отряд.

— А теперь у меня одно желание – пусть они почувствуют хоть частичку той боли, которую нам причинили! Душа горит, страшно горит, и так же будут гореть их дома! Не верю я теперь в доброго Бога, да и в людей тоже... Только в боевых товарищей!

Отныне наш Бог – оружие!

Вот что, святой отец, завтра мы возьмем турецкую деревню. Они думают, что в этих краях армян уже не осталось. Пусть думают, тем неожиданней будет удар! Пленных не брать – только кони, еда и оружие! Двинемся на север – мы сделаем свой большой добровольческий отряд, который станет для турок кошмаром! Может, мы присоединимся к Андранику, а может быть, будем действовать самостоятельно. Ты, святой отец, можешь идти с нами, нести свою книгу Католикосу, можешь и без нас, как хочешь...

Армяне, отныне да здравствует оружие! – он выхватил шашку и потряс ею. Мы разобьем их или падем все! Мы будем драться до последнего! Клянемся! Клянемся! – Гурген поцеловал деревянную куколку.

— Клянёмся!

— Клянёмся! – эхом ответили сидящие у очага — все, кроме Левона. И эхо, отраженное от стен, колонн, и купола, усиливало и множило эти немногие голоса, будто не двенадцать человек кричали, а сотни! – весь народ, за который они вышли постоять — и живые, и мертвые, и стоящие в храме, и толпы за стенами его. Наконец, голоса затихли, и Гурген вернулся к очагу.

— Я с вами, возлюбленные мои! – провозгласил Левон. — Я не умею стрелять, но пусть мои молитвы помогут! закончил он, вызвав в ответ бурю радостных криков.

Когда шум поутих, Левон присел рядом с Гургуном.

— Апет, — спросил он, а как же мы будем их судить? – Ведь среди них есть и невинные, дети, крестьяне...

Гурген блеснул свинцовым зрачком:

— А как они нас судили и судят? Они что, отличают праведников от грешников? Или ты в горячке боя будешь каждого просить исповедоваться?

— Но мы – не они!

Гурген демонстративно зевнул, укладывая под себя бурку:

— Если говоришь, что твой Бог все знает, он разберется сам на небесах. А теперь всем спать! Насим на часах, я его через час сменю! Мы выйдем до рассвета...

Все заворочались у костра, устраиваясь на ночлег, а когда Гурген захрапел и все затихло, Левон встал и пошел, держа перед собой драгоценную книгу, в свой тайный придел.

Он шел почти в полной темноте, зная уже здесь каждый поворот, оставив позади отблески костра, оглядываясь, и ему вдруг показалось, что какая-то тень шевельнулась там.

Потом он шел, не оглядываясь, но вдруг почувствовал, что кто-то за ним идет. Он вспомнил алчно блеснувший глаз Або, резко остановился и явственно услышал, что кто-то сделал еще пару шагов недалеко за спиной. Казалось, кто-то чуть ли не дышал в затылок.

— Изydi, Сатана! – громко провозгласил отец Левон, и дыхание затихло.

Когда он дошел до места, где прятал Библию, со скрипом отодвинул камень, но вместо того, чтобы положить туда свое сокровище, вытащил оттуда тряпки, тщательно завернул в них Библию, спрятал за сутану, а скрипучий камень вложил на место. Затем осторожно, боком, по противоположной стене, затем от колонны к колонне вернулся к очагу и пересчитал людей – все были на месте, кроме Або. Через некоторое время появился и он.

— Где ты гуляешь? – угрюмо усмехнулся Левон.

— Ну не мочиться же мне в святом храме! – зевнул Або, чиркнув по священнику острым глазом.

— Только вход то не с той стороны, откуда ты пришел.

— Да здесь с первого раза немудрено и заблудиться. – Глаза Або были немые, как у красивой рыбы. Он завернулся в свою бурку и застыл.

А утром перед выходом отряда, когда все проснулись по команде Гургена, Левон сбегал в придел с тайником и увидел, что скрывающий полку камень отодвинут...

## ГЕЕННА ОГНЕННАЯ

Когда утреннее солнце окрасило в розовое плавные, с редкими зубцами кромки гор, котловина Ак-чая была еще заполнена ватным туманом, кое-где перехлестывающим ее края. Молодому аскеру, охраняющему тропу над водопадом, хотелось спать как никогда. Найдя себе удобное место в кустарнике, он сел, скрестив ноги, положив на них ружье. Сон одолевал. Задремав, он снова вздрагивал и просыпался. Другие аскеры, охранявшие эту тропу, посмеивались над ним: ведь никаких армян за десятки километров уже не было, и местность считалась спокойной. Принимая ночное дежурство, они просто укладывались спать в этом кустарнике. Но у молодого аскера было повышенное чувство ответственности и, кроме того, он хотел во чтобы то ни стало дослужиться до офицера и воспитывал в себе волю. Когда ему особенно хотелось спать, он бормотал молитву: «Ла илляха иль Алла...».

Вот и сейчас, сразу как только муэдзин внизу прокричал еле слышный сквозь туман призыв к утренней молитве, зевнув, и согнувшись головой туда, где, как полагал, находилась Мекка, он забормотал: «Ла илляха иль Алла...».

И едва успел он закончить молитву, как в тумане показалась приближающаяся тень:

— Салаям аллекум! – возгласила тень, и солдат, вскочив и направив на нее виновку, ответил:

— Ассалам аллеюк, — на всякий случай, не опуская оружия. Однако из тумана выделился юноша, почти мальчик, с завязанным на голове тюрбаном.

— Уважаемый, вы не видели мою корову?

— Какую еще корову?

— Такую – белую с большим желтым пятном на правом боку. Это единственная моя кормилица, я ее второй день ищу.

— Что-то я тебя не припомню, — опустил ружье аскер.

— Да я из соседней деревни, с ног сбился, а как мне без нее жить?

С этими словами юноша совсем приблизился к солдату.

— А что это за деревня?

— Ак-чай...

— О Аллаха, как далеко я зашел! Я всю ночь шел и шел.

— Ну, присядь, отдохни, — великодушно разрешил аскер.

— Что мне делать, уважаемый!?

— Откуда я знаю, — рассмеялся солдат, — запишись в солдаты и, может быть, у тебя тогда будет много коров, — я думаю, твою корову давно волки съели...

И в этот миг, когда они сблизились совершенно, сверкнуло острое кинжала, и аскер с удивленным стоном стал оседать на землю.

Насим тихо свистнул, и из тумана стали быстро появляться люди.

Насим перехватил винтовку у падающего аскера.

— Она моя! Моя! – воскликнул ликующе и принялся отстегивать патронник.

Другие уже бежали вниз по тропе. Гурген впереди. За пару дней наблюдения он настолько изучил деревню, что даже в таком тумане мог разобраться, где какая дорожка и куда ведет.

Конечно, сначала к гумну, в котором ночевали аскеры.

Солнце восходило над долиной, и с каждым мгновением туман редел.

Вот и гумно с плоскими горизонтальными окнами, даже дверь приоткрыта. У стены полуголая бритоголовая фигура со спущенными штанинами – аскер вышел справить малую нужду. Выстрел – фигура упала.

С воплями они ворвались на гумно. Пирамидка с винтовками стояла в левом углу, ее сразу отсеки и открыли огонь по полуголым фигурам, едва поднявшимся с пола после утренней молитвы.

— Стоп, — объявил Гурген, — подняли руки – выходи!

Подняв руки, они начали покорно выходить.

— Семь человек! – пересчитал Гурген, двое лежали недвижно в крови.

— Еще не совсем проснувшиеся, бритоголовые, с обнаженными торсами они выходили босиком из гумна и строились по приказу Насима.

— Восемь, — подсчитывал Гурген. – Да двое, что остались в гумне, да этот без штанов, да двое, что в охранении со стороны поля — а где офицер? Где еще один?

В проходе гумна возник шум – Месроп и Або выводили еще одного – с роскошными синими усами до ушей – его Гурген сразу узнал. В белой рубашке, босой, дрожащий, с баранье покорными глазами — он выглядел со своими героическими усами особенно нелепо, что вызвало смех в отряде.

— Еле нашли, — смеялся Месроп, — зарылся в солому – одна пятка глядит!

— Где офицер? – спросил Гурген.

— Так он с нами не ночует – он почетный гость Муллы!

— Почетный? – скрипнул зубами Гурген и выстрелил из маузера в лицо усатого, который упал, как подкошенный.

— Вот тебе за «почетный»!

Быстро разобрали оружие и патронники.

— Все за мной, кроме Або и Насима. – Он обернулся к ним, и кивнул на пленных: – Вам отдаю, только быстро!

В деревне уже началась суeta – оглушительно брехали собаки, слышались тревожные голоса, среди которых явно слышалось «Армяне! Армяне!..»

Отряд бросился к дому муллы.

— Кто из вас убивал армян? – спросил Або.

Аскеры дружно замотали головами:

— Мы не при чем, мы в этом не участвовали!

Они клялись и Аллахом, и небом, и мамой...

— Врете! – ухмыльнулся Або и выстрелил в ближайшего к нему пленника, во второго...

Насим выстрелил из новоприобретенной винтовки, но промахнулся. Остальные бросились врассыпную, и вслед за ними застучал маузер Або. Пять человек остались лежать на земле.

— Армяне! Армяне! Конница! – в ужасе кричали едва проснувшиеся сельчане. Паника и туман усиливали суматоху.

Никто не знал, сколько противника и откуда он наступает, а неизвестность, как всегда, многократно преувеличивает представление о количестве врагов.

Казалось, будто в деревню ворвалась, по меньшей мере, сотня конных. Люди бросали свои жилища полуодетые, матери хватали детей и все бежали кто куда. Женщины плакали или выли, мужчины ругались, кричали, стреляли в

воздух, у кого было ружье, ревела скотина, бешено брехали собаки. Большая часть людей инстинктивно устремилась к полям, к лесу, в котором можно было бы укрыться.

Отряд во главе с Гургеном мчался по деревенской кривой улице, открывая огонь по всему, что мелькало в тумане. Вот и стена дома кази, боковая, ведущая к водопаду калитка. Задвижка калитки вмиг выбита ударом приклада... В саду метнулась тень. Або ухватил садовника за шиворот, приставив маузер к затылку:

— Девушка, девушка армянка, где?

— У нас нет армянок...

— Убью!

И появилась из сада завернутая в халат полусонная, спокойная, будто ничего и не происходило, Зарема:

— Идите за мной, я вас проведу!!!

Они поднялись по узкой лестнице на второй этаж, полы ее халата развевались, обнажая еще красивые ноги – о, сладкое предчувствие женской ревнивой мести – какие войны могут быть важнее его!?. Дверь распахнулась и, оттолкнув Зарему, Гурген рванулся за порог.

На широком диване, стыдливо закрываясь одеялами, сидели двое – его сестра Анаит и молодой турок и под роскошным, увешанным оружием ковром.

— Анаит! — закричал Гурген. — Я пришел освободить тебя и кончить с этим ублюдком!

Анаит смертельно побледнела:

— Не смей так о нем говорить! Это мой муж! Зачем ты вернулся сюда, Гурген! Ты все испортил! Повторяю — этот человек — мой муж, и я от него никуда не уйду, а вот ты, ты уходи, и уходи немедленно со всеми своими головорезами!

— Анаит! Ты ли это! Твои мать, отец! Они же убили их!..

— Но не он!

— Вспомни, что ты армянка! Вспомни жертвы!

— Нет! – выкрикнула в ярости Анаит-Джамиля. — Я не хочу больше быть бедной и гонимой, я только-только почувствовала свободу, свободу любимой женщины, которая тебе и не снилась! Я не хочу быть армянкой! Я и не турчанка вовсе, я просто женщина, которая хочет жить, иметь семью! Ты слишком поздно пришел, я жду от него ребенка!

— Ты? От него?.. \_ глаза Гургена выкатились из пещер надбровий.

— Продажная! Будь ты проклята! – Гурген дважды выстрелил в свою сестру, и она упала. Керим бросился к коврику, на котором висели кинжалы и сабли, но два выстрела в спину остановили его навсегда.

— Уходим! – взревел Гурген.

— Гурген, Гурген!.. — стонала лежащая на полу истекающая кровью его сестра на последнем дыхании – будь ты...

— Пусть вам будет хорошо в раю! — Рот Гургена перекосялся в дикой усмешке.

— Какое прекрасное оружие! – закричал Або и кинулся к коврику, а за ним остальные.

— Жгите! Жгите все! Уходим! – орал и орал Гурген. — Брать только коней и оружие!

Гурген плеснул керосин из лампы на диван и зажег. Пламя, бойко веселясь, побежало по одеялу и коврику.

— Жгите все, никому пощады, пусть наша боль перейдет к ним! – кричал в бешенстве Гурген, оказавшись на улице, ведущей к мечети.

В конце улицы вдруг появился отец Левон верхом на осле, которого он только что поймал. Он медленно ехал, необыкновенно медленно и спокойно, и крестил занимающиеся пламенем дома и хижины, шепча молитвы. Отец Левон был тощ и так высок, что ступни его волочились по земле.

Щелкнул выстрел, и Левон упал.

— Левона убили! Святого отца убили!

— Откуда стреляют?

— С мечети! С мечети! – крикнул кто-то.

В самом деле, из верхней части минарета показался черный ствол ружья, и вновь раздался выстрел.

— Прячьтесь! По сторонам, по сторонам улицы! Осторожней!

— Левона убили!?

Находящиеся на улице, прижавшись к стенам дувалов, открыли огонь по мечети. А Ваче отложил ружье, вытащил кинжал и вошел в мечеть.

— Ваче, куда? Постой, а мы?..

— Я один!..

Отец Левон неожиданно пошевелился и привстал, отполз к краю улицы – серебряный оклад Библии под сутаной спас его. Он вытащил

Библию и, встав на колени, поцеловал оклад с вмятиной от пули. Спрятал обратно за пазуху и, сев на осла, двинулся вперед.

— Святой отец! Святой отец! – орали ему. — В сторону! Ближе к стенам!

Мелькнула тень. С высоты минарета упало тело.

— Это он стрелял! – кричал сверху Ваче, потрясая отнятой винтовкой.

Левон подъехал к убитому. Он не чувствовал радости мщения.

Теперь перед ним был не армянин, не турок – мертвый скрюченный старик, человек, и он осенил его крестным знаменем. Подошел Або. Постоял, размышляя о чем-то своем, потом наклонился и попытался снять перстень с изумрудом с руки кази Магомеда, но сухая старческая кожа сморщивалась в валик и не давала стянуть перстень. Або вытащил кинжал, ударом отсек палец и положил его к себе в карман.

«А ты и впрямь вор, Або», — равнодушно подумал увидевший все это Гурген.

...Отряд уходил вверх по тропе мимо зарослей, в которых прятался замерзший и босой эфенди Балта. Внизу пылали мазанки и дома Ак-чая, наполняя вязким дымом котловину. Теперь все армяне были верхом, и позади каждого по одной-две лошади, груженные оружием и провизией.

Заслышав выстрелы, эфенди Балта, едва натянув штаны, бросился к гумну. Незнакомые фигуры, мертвый полуголый солдат у стены, крики... Он понял — все кончено, через мгновение увидят и его, и бросился бежать. Не помня себя, выскочил из деревни, перемахнул мелкую речку и засел в кустарнике у верхней тропы, обливаясь холодным потом.

Он не помнил, сколько так ждал — так бешено колотилось сердце, он слышал вой многих голосов и выстрелы и кусал сжатый кулак. Наконец послышались перестук копыт, шаги и голоса, выкрики — не ужаса, другие — торжествующие, веселые...

Армяне уходили по этой тропе вверх. Он поднял пистолет, готовясь принять последний бой, он был готов... Они проходили совсем рядом, всего в нескольких метрах от него. Вот первый, в лохматой папахе, раскачивается в седле. Спина широченная — не промахнешься! Но выстрелить — значит обнаружить себя и принять неизбежную гибель: узкая полоска кустарника была плохим прикрытием, а за нею шел открытый каменистый уклон, метров сто до речки, за которой горела деревня... Он вдруг представил, будто наяву, как бежит вниз к реке, в спину ему вонзаются пули и последнее что он видит в этой жизни — камни! Нет! он не был готов принять смерть — он был в расцвете сил, и так многое ему предстояло!.. И в мгновение, когда оставалось только нажать на курок, на него накатил такой животный ужас, с которым он был не в силах справиться, и эфенди Балта опустил кольт. Как Аллах мог допустить такое! Он не привык быть добычей — он привык быть охотником!

И вновь, чувствуя прилив бешеной ненависти к тем, которые низвели его в такое униженное состояние, заставили его босого, полусонного, бросившего своих солдат, дрожать от ужаса, он поднимал кольт, но при появлении очередной фигуры его парализовывал ужас, с которым был не в силах бороться, и опускал оружие. Так повторялось двенадцать раз.

И вот уже последний, замыкающий колонну — священник, на осляти, нелепо волочащий по земле длинные ноги...

Балта поднял кольт, направил его в черную спину — ему виден был даже потертый шов сутаны, идущий вдоль позвоночника, и вся жизнь священника была в холодном кончике пальца на курке.

Сейчас или никогда!..

«Кангнир! Кангнир, Балта!» — услышал он вдруг голос своей бабушки-армянки, бегущей к нему с перекошенным тревогой лицом. Он любил пугать ее, когда ему было года четыре, делая вид, что собирается прикоснуться к огню, который пылал в жаровне.

«Кангнир!»..

Он опустил оружие и почувствовал, как глаза щиплют слезы.

Оказывается, врагов-то было немногим более десятка! Но кто мог знать тогда, когда раздалась в тумане выстрелы, сколько их — они казались повсюду!

Он воровато огляделся — никого! Никто никогда не узнает о его позоре! Он скажет, что армян было не менее сотни, и за ним гнались, и он уничтожил не менее двух или трех!.. Кто проверит?..

Никто никогда не узнает о его позоре, и в будущем его ждет счастливая судьба — он достигнет высоких постов и дойдет до чина генерала в армии Кемаля. И его всегда будут считать героем!

Да, пусть будет так для других!.. Но сам-то он будет знать правду, и этот, известный лишь ему позор, несмотря ни на какие официальные заслуги, останется незаживающей язвой на самой глубине души, заставляющей еще более ненавидеть это проклятое племя — армян!

В бессильной ярости он грыз рукоять пистолета. О, это проклятое слово:

«Кангнир!»...

## САРДАРАБАД

Вылет самолета откладывался на три часа. Наша небольшая писательская группа из России находилась в заполненном вестибюле аэропорта Звартноц. Здесь всегда много народу: и днем, и ночью. В Армению стало добираться (и, соответственно, выбираться) не проще, чем на какой-нибудь далекий остров: все наземные дороги практически перекрыты или людской враждой, или самой природой.

Руководительница делегации, известная русско-армянская поэтесса С.В. и известная критикесса и публицистка И.Р., люди немолодые, изнуренные ночным бдением (они, как и большинство из нас, не спали всю ночь, боясь проспать ранний утренний взлет), примостились на случайно найденных свободных креслицах и настроились покорно ждать.

Поэты из «Нового мира» Ефим Гершин и Павел Крюков отправились пить пиво в одну из забегаловок, расположенных тут же, в самом зале ожидания.

— Послушайте, — предложил я им, — а не взять ли нам на троих...

— Водки? — живо поинтересовался Гершин.

— Да нет, — машину, такси, и съездить в Сардарабад? Ведь это всего минут двадцать отсюда будет!

— А что такое Сардарабад? — спросил Крюков.

— Это место, где армяне разгромили турок...

На моих слушателей это, видимо, не произвело должного впечатления: сколько раз русские громили турок? – На пальцах не перечесть!

— А если посадку объявят раньше? – спросил предусмотрительный Крюков, которого в Москве ожидала жена с малым дитем.

— Нет уж, — блеснул полусумасшедшим взглядом Ефим. — Мы – по пиву! А то ведь тут на всю жизнь и застрянешь! Армения, конечно, хорошая страна, но нельзя же настолько злоупотреблять гостеприимством!

И я решил ехать один. Конечно, музей еще в такую рань будет закрыт, но сам комплекс посмотреть можно. Я прикинул – на все про все хватит полтора часа.

Уже светало. Такси нашел легко.

— О, Сардарабад! – воскликнул таксист, и глаза его блеснули: очевидно, он готов был ехать в Сардарабад в любое время суток. Ведь это САРДАРАБАД! Мы легко сговорились о цене, и в следующую минуту он уже мчал меня к месту великой для всех армян битвы, где в мае 1918 года был практически приостановлен Геноцид, не прекращавшийся с самого 1915 года (да, по сути, не закончившийся и до сих пор), где было спасено то, что называется до сих пор Арменией...

Наша делегация провела в Армении всего два дня: встречи с армянскими писателями, встреча в институте Брюсова, а страны толком рассмотреть и не успели, не считая прекрасной поездки на Севан, которую нам устроил тот же Союз писателей Армении.

— В Сардарабад? Посмотреть? – крутил баранку смуглый немолодой водитель с татуировкой на коричневой кисти: «Гамлет».

— Да, только жалко, музей еще будет закрыт...

— Ну и что, — успокоил Гамлет, — памятники можно и так смотреть. Вам бы, конечно, приехать ко дню независимости – тогда здесь народ гуляет, колокола звонят так, что в Турции слышно... Чтоб помнили! – он сжал свой коричневый волосатый кулак. – Там наших двадцать тысяч разбили сто тысяч турок!

Я не стал с ним спорить – обычное восточное преувеличение. На самом деле из российских и армянских источников знал, что точные данные о количественном составе сторон отсутствуют, но по приблизительным оценкам во всей войсковой операции участвовали 50-60 тысяч аскеров против 15-20 тысяч штыков и сабель Армянского корпуса, что само по себе довольно неплохо, учитывая, что, к тому же, армяне наступали!

Но слова на востоке – для того, чтобы *изменять* действительность, а не для того, чтобы *измерять* ее, как в Европе.

Однако, странное дело, здесь, в Армении, простой человек живет как бы внутри Истории, и то, что случилось тысяча или полторы тысячи лет назад, переживает, будто это произошло вчера или позавчера, не говоря уже о каких-то ста годах. Такой же водила в Москве живет лишь днем сегодняшним, тем, что можно «сорвать» сегодня. История России как бы в стороне от него отстоит, не ощущает он с ней никакого единства. Сильно отбито коммунистами чувство Истории у большинства русских. История для русского – это прежде всего история Государства, а не страны, народа, семьи, а государство и личность он привык разделять.

Наконец мой водитель остановил свой старенький, сто раз отремонтированный, жигуленок из советских времен:

– Приехали!

Я вышел из машины. Было серенькое утро, солнце еле просвечивало сквозь туман, ветерок доносил откуда-то мелкие капли дождя.

Передо мной был мемориал: ступени, ведущие к звоннице, легкому четырехколонному сооружению с шестью аркадными бойницами сверху, в которых колокола... - В нижних трех по одному крупному колоколу, в трех верхних – по три колокола поменьше, – двенадцать колоколов. Путь к звоннице охраняют два красных крылатых быка, в их полугеометрических абрисах — нечеловеческая сила.

Вокруг – ни души.

Медленно поднимаюсь по ступеням к звоннице. Прохожу меж мощных, готовых кинуться друг на друга крылатых разъяренных быков... Жаль все-таки, что нет гида. Что они должны были изображать по замыслу автора?

Да, силы-то были далеко не равны – со стороны турок хорошо обученная отлично вооруженная армия, а со стороны армян, кроме солдат добровольческого корпуса – ополченцы с косами да берданками и те, которых в шутку прозвали «командами саванчиков» — почти безоружные, идущие на верную гибель! И цели разные – для турок окончательно уничтожить армян и Армению, а для армян – последний шанс выжить...

Вверху тихо позванивали на ветру колокола.

Вспоминаю еще раз, что знаю о битве из сухих справок. Турки рвались в Араратскую долину уничтожить последний армянский город – Эривань, разорить Карабах и дойти до Баку. Для армян это был, действительно, бой «последний и решительный». Со всех сел и из города к месту битвы шли ополченцы...

Миную аллею с орлами из розового туфа, арку – вот и музей... Конечно, закрыт, и табличка на армянском языке. Конечно, наглот колоссальная – сейчас 7-30 утра, а я стучу в стекло, нажимаю на кнопку звонка. Стучу, жму и жду... Наконец, из глубины помещения появляется пожилая армянка с растрепанными черными волосами (даже причесаться не успела!). Я пытаюсь докричаться до нее через стекло, пробую объяснить, что у меня самолет и нельзя ли сделать исключение – краем глаза посмотреть экспозицию. В ответ она что-то явно недовольно говорит по-армянски и тычет пальцем на табличку на двери: время начала посещения – 10 часов! Я хочу объяснить ей, что не могу так долго ждать – показываю билет на самолет. Она вновь что-то говорит по-армянски. На этом наше общение заканчивается, и она уходит.

Иду назад, снова вспоминая сухие факты: общую войсковую операцию возглавлял генерал Силиков. Практически битва разделилась на три по трем направлениям: сардарабадскому, которым руководил полковник Даниэль Бек-Пирумов, апаранскому, которым командовал Дро Кананян и Каракилисскому (начальник, кажется, Назарбеков).

Но именно на этом направлении полковника Бек-Пирумова турки потерпели наиболее сокрушительное поражение и вынуждены были бежать.

Редкие капли дождя участились. Так и хочется выразиться штампом «скупые слезы». Природа проливает их в отсутствие людей.

Вдруг у звонницы – человеческая фигура: плащ, берет, из-под берета седые кудри, толстоватый нос с горбинкой... Мы здесь одни, поэтому в самый раз поздороваться.

— Барев дзес.

— Барев дзес.

— Не говорю по армянски, — сразу признаюсь. В руках незнакомца недешевый цифровой фотоаппарат.

Жалуюсь, что не смог попасть в музей.

— А хотите, я вам кое-что расскажу, что касается этой битвы? — говорит человек в берете.

— Конечно!

— Этим направлением руководил Бек-Пирумов, полковник царской армии. Все командование сначала было склонно к тому, чтобы ввиду превосходящих сил противника сдать Эривань и отступить в горы. Для мирного населения это было бы гибелью. Пирумов сказал: «Если враг рассчитывает на оборону, значит, нужно перейти в решительное наступление...» И они пошли на штурм. Впереди шли священники в белых одеждах, потом они расступились, и рванулась конница...

Помолчав, незнакомец продолжил:

— Бек-Пирумов был настоящий офицер царской армии. С ним связано много легенд. Однажды, чтобы понравиться своей даме, он в имении друга в рязанской губернии выпил и закусил рюмкой!.. Потом эту даму, ставшей его женой, он решил спасти, перевести в более безопасное место и направил для этой цели к ней своего друга-офицера. Но по дороге у дамы и его друга бурный роман развивается.

— Откуда вы знаете такие подробности, я их в справках о Бек-Пирумове не нашел!

— И не найдете. Я был другом дамы, являющейся внучкой того офицера и жены Пирумова. Но фамилию Пирумова она сохранила.

— Вы сказали, что *были*.

— Она уже умерла. В Москве. Лет семь назад.

— Ну, а Пирумов?

— Когда пришли красные, армянскую армию расформировали, офицеров репрессировали: расстреляли или погрузили в вагоны, чтобы отправить подальше от границы и Армении куда-то в Рязань. Советская власть обещала им сохранение чинов и работу. Они и не знали, что там был уже приготовлен лагерь для них, где в конечном итоге почти все погибли — и те, кто воевал с турками, и те немногие, кого считали денкикинцами.

Пирумов провозжал эшелон, где он знал почти каждого, дошел до предпоследнего вагона и застрелился... Такова легенда о его смерти — за точностью не ручаюсь.

Мы некоторое время помолчали, словно отдавая дань уважения этому необыкновенному человеку.

— Что ж, спасибо... — сказал я, — не думал, что найду здесь человека, настолько близкого к судьбе одного из героев этого сражения. Мне просто повезло встретиться с таким армянином, как вы.

— А я и не армянин, — сказал человек в берете, — я — еврей...

Мы расхохотались и пожали друг другу руки.

— Семен Моисеевич Левитин, — представился человек. — Я историк, писатель, сидел в Колымских лагерях. Исследую историю Холокоста и проблему насилия и ненасиления в человеческом обществе, природу межчеловеческой ненависти.

А вот эти часы, между прочим, — он показал мне кисть с неновыми, но явно недешевыми часами, — мне сам католикос Вазген Первый подарил!

— Как так?

— Дело в том, что Вазген был из румынских армян. А во время войны, несмотря на настойчивые требования Берлина, румыны не депортировали большую часть своих евреев, а депортированные не попадали к немцам — их вывозили в так называемую Транснистрию (Одесская и Винницкая области), отданную под управление румынам, где условия были легче, чем в «опекаемых» немцами гетто. Католикос будущий в ту пору был студентом бухарестского университета — филологом, историком. Их было три товарища — Карапетян (ваш бывший католикос — мирского имени, к сожалению, не помню), еврей Элизель (теперь писатель, лауреат Нобелевской премии), и третий, тоже еврей, молодой философ (имени не помню). Румынские фашисты из железной гвардии растерзали этого молодого человека на улицах Бухареста. Вот именно тогда ваш будущий католикос отказался от мирской жизни и ушел в религию.

Ему, тогда еще молодому человеку, очень доверяла королева-мать Елена. Всеми силами он помогал евреям, оказавшимся в гетто Транснистрии. Туда надо было регулярно посылать деньги на подкуп румынских жандармов, от которых зависела жизнь или смерть в гетто. Румынские евреи из Бухареста сами куда бы то ни было выезжать не имели права, и деньги перевозили румынские священники. В этом деле участвовал и будущий католикос Вазген Первый. Когда ему грозила опасность быть арестованным Сигуранцей, королева-мать отправила его в Грецию, где он, видимо, находился до конца войны. Я эту историю о Транснистрии исследовал и приезжал к его святейшеству Вазгену Первому.

— Проблемы межчеловеческой ненависти, вы сказали. И что вы думаете?

Семен Моисеевич пожал плечами.

— Видите ли... В каждой общности — национальной, классовой, религиозной, которые непримиримо сталкиваются, есть и плохие и хорошие люди... Трагедия и абсурд любой войны в том, что в общем-то нормальные люди

вынуждены стрелять в нормальных в силу принадлежности к разным надстройкам над общечеловеческой сущностью. Ну а так называемый средний человек очень легко звереет под воздействием пропаганды.

Мне очень хотелось еще поговорить с этим человеком, но меня ждал Гамлет, а самолет Семена Моисеевича должен был вылетать только в полдень, и он хотел сделать здесь несколько снимков.

Я сел в машину, Гамлет включил зажигание, и мы тронулись.

— Ну как, понравилось? — спросил меня Гамлет.

— Мы их победили! — констатировал он, крутя баранку. — Они герои, когда на безоружных, как в Сумгаите... А ты скажи, когда мы проигрывали, если у нас было оружие? — Мы их и в Арцахе победили! Я сам воевал... А что у нас было — стрелковое оружие да несколько пушечек... А у них? — И боевые самолеты, и дальнобойные морские орудия каспийской флотилии, и танки!.. И людей больше было. А мы победили! Нам хоть сколько-нибудь оружия — духом мы крепче!..

На этот раз он не преувеличивал. Я это знал. Я внимательно следил за СМИ и за тем, что творилось в Карабахе, и прекрасно помню, как так называемые «военные аналитики», в погонах и без погон, в России и за рубежом в один голос твердили о неминуемом падении Карабаха именно из-за недостатка в вооружении и людских ресурсов, а после победы Карабаха как в рот воды набрали.

— Они еще за пятнадцатый год не рассчитались, а Армению в агрессоры записали! Все против нас! И этот Буш! Весь мир против нас!

— Гамлет, — посоветовал я, — смотри на дорогу...

— А, ты не армянин, тебе не понять...

— Почему? Я — армянин.

Гамлет взглянул на меня, в глазах его блеснуло безумие.

— Ты?!..

— Я... наполовину армянин — наполовину русский...

— Так что ж ты сразу не сказал?!.. Слушай, запиши мой адрес, следующий раз приедешь, я тебе все покажу, и в Карабах съездим!..

«Нет, следующего раза не будет: в Армению попасть — не в Серпухов из Москвы съездить!...» — подумал я, когда самолет разворачивался, и в иллюминаторе возникла скошенная трапеция Арарата.

Я вспомнил человека, встреченного у звонницы.

Арарат исчез — голубое небо и серебристое крыло, блещущее, как скальпель перед операцией.

Накопление ненависти... Накопление несправедливости... Болевые точки и зоны планеты...

Цельх три геноцида в двадцатом веке, едва не достигших своей цели: Геноцид Армян, Геноцид евреев — Холокост, Геноцид коммунистами собственного населения и прежде всего русских, своеобразный аутогеноцид.

И лишь в одном случае справедливость, условно говоря (ибо жертвы невозможно вернуть), восторжествовала: Холокост признан преступлением против человечества. Геноцид армян до сих пор не признан «самой демократической» в мире державой, и мир о нем начинает потихоньку забывать (кроме армян и турок!). А геноцид коммунистический, который, конечно, в большей степени коснулся русской нации — здесь не только далеко до признания, но он еще не осознан самим русским народом!

За иллюминатором внизу проплывали светло-серые, как весенний подтаявший лед, оплывшие глыбы — ледяные вершины Кавказа, а Армения еще ясно звучала в душе. В мыслях моих не было никакого открытия: «Неосужденное насилие порождает и поощряет новое насилие. Неосужденный, по сути, Геноцид армян дал Гитлеру уверенность, что и на уничтожение евреев мир так же не обратит внимания. Неосужденное насилие порождает и поощряет новое насилие! И это как цепная реакция, как раковые метастазы... Если бы Геноцид армян был бы так же решительно и бескомпромиссно осужден мировыми державами, как Холокост, то не было бы ни Сумгаита, ни Карабахской войны...

Армения — незаживающая тысячелетиями рана на теле земном...»

Гул самолетных двигателей был равномерен и тих.

Остров Армения становился все дальше и дальше, уходя в прошлое, в Предание, а впереди уже будто всплывала из эфира непонятным, но явным предчувствием другая Наири, моя, как воздух неопределенная, полумифическая, неподвластная времени, выдвигались тени, обретая плоть и голоса...

## ВОЕННЫЙ СОВЕТ

— Дро сказал, что надо отступить в горы.

— А гражданское население? Оно погибнет...

— Бек-Пирумов сказал — только наступать!

— Но ведь у нас боеспособных частей в три раза меньше!

— В том-то и штука — они меньше всего будут ожидать наступления!

— Глупость!

— Неразумно!

— А по-моему, Армения спасется, если вдруг и впрямь совершит что-то нереальное, ломающее эту вашу «разумность»!..

— Неразумно...

— Если строго следовать логике, армянину разумнее всего повеситься!

В приемной Генерала было шумно. Сидели и стояли офицеры с погонами русской царской армии поодиночке, группами, жарко спорили, и лютого вида, по большей части мрачно молчащие, хмбапеты, несмотря на жару не снимающие своих папах, от дверей к выходу и обратно сновали ординарцы, курьеры, адъютанты, вестовые.

— Эривань – последняя историческая столица армян... Если она устоит – устоит Армения, если нет...

— Это не обсуждается!

— Дро сказал...

— Андраник сказал...

— Бек-Пирумов сказал...

— Хватит драпать!

Многие курили и, несмотря на открытые форточки, сизые волокна дыма стояли в воздухе почти неподвижно.

Адъютант Генерала сидел за столом у дверей, за которыми проходил военный совет, страдая от головной боли и, подперев подбородок рукой, тупо смотрел на людское коловращение. Время от времени к нему кто-то подходил, что-то говорил — он или просто отмахивался, или вскакивал, исчезал за тяжелыми дубовыми дверьми превращенного в штаб русского реального училища, потом возвращался, кого-то пропускал, а кому-то просто передавал распоряжения. Иногда дверь открывалась, и к нему подходил офицер, что-то шептал на ухо и снова исчезал в таинственной комнате не для всех.

В директорской, за дверью, группа офицеров склонилась над картой. Все они были в кителях с золотыми и серебряными погонами царской армии. В большинстве своем носатые и смуглые лица выдавали в них армян. При свете керосиновых ламп и свечей мерцали на кителях ордена и медали, георгиевские кресты различных степеней.

Пожилой человек в погонах генерала сидел в кресле перед расстеленной на большом бильярдном столе картой. Перед генералом, прямо на карте, стоял серебряный подстаканник со стаканом чая. Генерал прихлебывал чай вприкуску с желтым рафинадом. Орден и медалей на его френче не было, только орден Георгия четвертой степени на груди. Генерал был седобород, полнолиц, его гладкая мучнистая лысина, окруженная серебристым венчиком, вызывала ощущение домашнего уюта.

— Итак, господа офицеры, — сказал Генерал с четким петербургским выговором, — кажется, мы обсудили все детали операции, кроме одной: кто будет защищать Волчьи Ворота? — он ткнул коротким полным пальцем в карту. — Отсюда противник сможет нанести фланговый удар и оказаться в тылу наших порядков.

— Все сотни и отряды ополченцев уже распределены, — ответил офицер в полковничьих погонах, уважительно наклонившись к Генералу, — может быть, взять понемногу из разных мест и сделать сводный отряд?

— Сводный отряд не выход. Незнакомые друг другу люди вряд ли будут упорно драться. Другое дело — отряд, в котором все друг друга давно знают — там запросто не побегут, как знакомые друг другу, там боятся позора в глазах товарищей. Зачастую солдата на месте удерживает не столько смелость, сколько стыд прослыть трусом. Нет, здесь дело серьезное, и требуется соединение надежное!

— Но откуда мы возьмем такое соединение?

— А отряд Гургена? — Генерал поднял светлые спокойные глаза на полковника.

— А, этот бандит, который ни с кем не может ужиться... Кстати, он и с премьер-министром что-то не поладил.

— И с Дро, и с Андраником! — добавили другие.

— Меня политика не волнует, — отмахнулся Генерал. — Меня интересует проведение боевой операции.

— Ваше превосходительство! — вмешался другой молодой офицер. — Да разве можно на него полагаться, этот бандит побежит после первых же выстрелов! Они ж только водку пить умеют!

— Думаете? — генерал сощурился, откусывая еще один кусочек рафинада. — А пригласите-ка его сюда, мы и познакомимся!

Полковник недоуменно пожал плечами и, подозревая ординарца, приказал срочно найти и доставить к Генералу хмбапета Гургена, где бы тот ни был.

Только ординарец исчез, как в дверь вбежал адъютант из приемной и возвестил:

— Его сиятельство князь Зинкевич.

Подполковник Зинкевич был представителем русской Добровольческой армии в Армении и возвращался с телеграфа с последними сообщениями. Все взгляды с надеждой и тревогой устремились на дверь.

— Господа офицеры! — скомандовал Генерал. И все вытянулись по стойке смирно, а сам Генерал соизволил оставить свой чай и встать с кресла.

Как всегда подтянутый, стройный, Зинкевич вошел в комнату, встав посреди, козырнул, щелкнув каблуками.

— Подполковник Зинкевич прибыл!

По лицу Зинкевича невозможно было разобрать, хорошие или дурные новости он принес: отец подполковника Зинкевича помещик-англоман приучил сына ничем не проявлять своих эмоций.

Генерал махнул рукой, позволяя всем расслабиться, вытащил платок и отер вспотевшее от чая лицо.

— Ну, не томите, голубчик, как там?

— Господин Генерал, господа офицеры! После всем известной трагической гибели Корнилова командование войсками принял Антон Иванович Деникин. Пока они с генералом Алексеевым вынуждены отступать из стратегических соображений, но Добровольческая армия сосредоточивает силу для удара. Белое Дело лишь начинается! Со всей России к ним стекаются честные офицеры! Войско Донское уже обещает поддержку, Антанта налаживает помощь оружием и техникой.

Во время его доклада лица у присутствующих сохраняли напряженность.

— Господа, Антон Иванович просил передать, что рассматривает вас, русских офицеров, армян по происхождению, как южный фланг русской Добровольческой Армии. Он молится за спасение России и за спасение Армении, которое возможно лишь в составе Великой России!

— Да здравствует Россия! – выкрикнул кто-то из офицеров.

— Да здравствует Армения!

— Антон Иванович просит не терять присутствия духа и не унывать, ибо уныние – это поражение допрежь битвы! – закончил Зинкевич.

— Ура России!

— Да здравствует генерал Деникин!

Зинкевич сдержанно кивнул в знак признательности. Он знал, что, несмотря на то, что большинство армянских офицеров поддерживают Россию, некоторые все же делают ставку на страны Антанты, а некоторые и вовсе предлагают обойтись только собственными силами.

— А что, мы и бэз России не можем? – спросил офицер с бараньими глазами и бархатно-густыми ресницами.

— Ну, если хватит дурасти... — фыркнул один из офицеров-армян.

— Я попросил бы вас, — дернулся офицер с бараньими глазами.

— Да как вы представляете страну без выхода к морю?

— Отставить! – неожиданно жестко сказал Генерал. — У нас нет времени на дискуссии, — и продолжил уже, как обычно, мягким тоном. — Что бы то ни было, господа, мы должны исполнить свой долг до конца и как армяне-патриоты, и как русские офицеры... А, кстати, многие ли из вас знают армянский язык?

Офицеры смущенно молчали. Даже те, кто знал армянский, знали его на самом примитивном бытовом уровне: дома, в России или Грузии, родители их по-армянски говорили крайне мало, предпочитая речь того народа, среди которого обитали.

— Ну вот, и я, к сожалению, немного знаю, кроме слов «га»\* да «че»\*... Поэтому всем офицерам настоятельно рекомендую обзавестись хорошими переводчиками – в баталии это пригодится!

---

\*Га – «да»(арм.)

\*Че – «нет»(арм.)

---

— Да где их взять?

— А где мы сидим? Здесь реальное училище, на котором преподавание велось на русском, поэтому поищите учителей этой школы – не все же они разбежались! Кстати, когда кончится этот шум в коридоре? Вызовите сюда адъютанта!

Адъютант сообщил, что в приемной остается еще больше десятка офицеров, настаивающих на личной встрече с Генералом.

— Вы выяснили, чего они хотят?

— У каждого из них собственный план предстоящего сражения, который они хотят обсудить только с вами лично.

— И сколько таких?

— Человек двенадцать!

Генерал развел руками:

— Узнаю армян! Сколько армян – столько и генералов! Скажите этим бонапартам, чтобы немедленно убирались в части и занимались своими непосредственными задачами – пусть лучше посмотрят, накормлены ли лошади и солдаты, в порядке ли оружие, есть ли боеприпасы, очищены ли от навоза конюшни, в каком состоянии гужевой транспорт... Черт возьми, я сомневаюсь, да, я очень сомневаюсь, что у них все в порядке! Пусть уходят – это мой приказ!

Через пару минут адъютант вернулся:

— Ушли все, кроме одного...

— Я же сказал, что это мой приказ!

— Извините, ваше превосходительство, но это человек не военный и потому, говорит, ваши приказы на него не распространяются.

— Кто таков?

— Парикмахер Ениколоп с улицы Астафяна!

— Парикмахер? – удивился генерал, невольно погладив свою холеную белую лысину, вызвав хихиканье среди офицеров — какие еще могут быть у парикмахера ко мне дела?

Адъютант, кажется, жевал губы, пытаясь сдержать смех.

— Ваше превосходительство, у него к вам план воссоздания Великой Армении в границах царства Тиграна Первого от моря до моря!

Тут с обычно спокойным генералом что-то приключилось: выкатив светлые глаза, он стал размахивать руками, будто мельница:

— Нет! Нет! Нет! – избавьте меня, как хотите!

— Ваше превосходительство! – воззвал адъютант. — Если вы его не примете, я застрелюсь! Он два часа не отходит от моего стола!

— Господин генерал, в самом деле, — вдруг раздались голоса офицеров, пустите его – мы уж и забыли, когда последний раз посещали театр! Ну, сделайте милость!

— Черт с вами, только я с ним слова не скажу, вот вы, господин поручик, за то, чтобы его пустить, — так сами и разговаривайте!

## ОТ МОРЯ ДО МОРЯ

Когда адъютант распахнул двери, Гурген зашел в кабинет. Увидев группу офицеров за столом, он почувствовал себя как зверь, попавший в незнакомый лес, и внутренне ошметинился.

Все эти люди, стоящие и сидящие за столом, такие выхолонные, чистенькие, напоминали больше иностранцев, а не армян. Несмотря на армянские лица, речь велась на полупонятном Гургену русском. И мелькнуло, казалось, навсегда забытое чувство из раннего детства, когда шел он в церковно-приходскую школу в предчувствии, что священник Тер-Татевосов снова будет больно колотить его линейкой по голове за невывученный урок.

От него не ускользнула насмешка в глазах некоторых офицеров, и он нахмурился, сдвинув брови-заросли. Однако генерал смотрел на него своими светлыми глазами спокойно, с доброжелательным вниманием, что несколько успокоило Гургена.

Он подошел к столу и неуклюже козырнул.

— Господин Генерал, хмбапет Гурген Аршаруни прибыл воевать за свободу Армении со своим отрядом!

По ироническим улыбкам он понял, что доложил совсем не по форме, не как положено (да он и не собирался ни перед кем становиться на задние лапки!), однако генерал смотрел на него по-прежнему доброжелательно.

— Здравствуйте, уважаемый хмбапет! – генерал встал и протянул ему руку. Рука его была пухлая, сухая и мягкая, совсем как теплое тесто на дрожжах. По опыту генерал знал, что если желаешь договориться с восточным человеком, то, прежде всего, надо показать, что уважаешь его.

— Стул хмбапету! — распорядился генерал, и через секунду Гурген сел напротив генерала, брякнув ножами об пол и тукнув кобурой маузера, оказавшись с генералом — глаза в глаза.

Генерал говорил на русском, а рядом стоящий офицер пояснял Гургену на армянском.

Не вдаваясь в излишние подробности, Генерал, однако, расспросил Гургена из какого тот уезда, где воевал, какова судьба его семьи.

Гурген отвечал сдержанно и кратко.

Узнав о трагической участи семьи Гургена, генерал вздохнул.

— Да-а, — протянул он. — Такие потери! Кого ни спросишь...

Выдержав необходимую паузу, он продолжил разговор.

— Мы многое слышали о вас, как об известном и смелом фидаине...

Гурген сдержанно кивнул.

— Но нынешнее сражение не будет похоже на те, в которых вы участвовали, — продолжил генерал. — Для фидаина что главное? – неожиданно напасть, нанести как можно больший урон и быстро исчезнуть, не дав противнику опомниться и собрать силы. Для солдата же регулярной армии, которую мы сейчас представляем, главное – исполнение приказа, главное – стоять, куда бы его ни поставили, и не отходить без приказа, какие бы силы на него ни двигались, каким бы трудным и безвыходным ни казалось положение...

— Я знаю, я служил в русской армии, награжден Георгием!

Генерал одобрительно кивнул и продолжил.

— Турки передвигаются большой регулярной армией, и фидаины своей тактикой не могут сдержать их движение в долину, где задача турок — полное физическое истребление населения. Поэтому наше ополчение, чтобы воспрепятствовать окончательному уничтожению армянского народа, должно перекрыть вход в долину и не пропускать их в Эривань.

Но на фланге, — генерал ткнул в карту, — есть горный проход Волчьих Ворот. Исход битвы может определиться именно здесь, прорвется ли турки к нам в тыл или нет. В вашу задачу будет входить удержание Волчьих Ворот!

— Почему вы не хотите поставить мой отряд в центр, где будет самый сильный бой? А если турки не появятся, мы так и просидим у этих Волчьих Ворот, не приняв участия в сражении? Господин генерал, мы хотим сражаться вместе со всеми!

— Они появятся, — усмехнулся генерал, — если я хоть что-то смыслю в стратегии и тактике, — и скучно вашим людям не будет, обещаю. Господин Аршаруни, если на равнине мы выиграем, а враг прорвется через Волчьих Ворот — это будет, тем не менее, означать наше полное поражение. Поэтому, господин Аршаруни, — генерал слегка разволновался, — не думайте о вашем направлении, как о второстепенном! Мало того, если на равнине мы сможем и отступить, позволяя себе маневр, вы такой возможности лишены. Мне очень важно знать, не отступит ли ваш отряд, будет ли держаться крепко, до последнего, подчеркиваю — до последнего человека!

— Господин генерал, если кто попытается бежать, я его же своими руками... — Гурген выразительно похлопал по кобуре маузера, — клянусь!

— Хорошо, — кивнул генерал, — сколько у вас сабель?

— Сорок пять.

— Мы даем вам еще пятьдесят стрелков-ополченцев, вы расположитесь на утесах... — Генерал подумал. — И еще пулемет!

Сердце Гургена радостно подпрыгнуло, глаза тепло засветились — пулемет Максим был мечтой большинства хмбапетов, им не обладавших. Пулемет снился Гургену, как молодым бойцам снились обнаженные женщины. Сколько

раз он ходил в другие отряды, оснащенные пулеметами, учился разбирать и собирать эту чудо-машину, чистить и смазывать маслом, вести огонь... А сколько раз он мысленно повторял все операции, жал на воображаемую гашетку! Гурген видел много смертей, и глаза его оставались сухи, но тут он почувствовал, как в носу предательски зашекетало.

— Спасибо, — положил он руку на сердце. — Мы будем держать Волчи Ворота! — взгляд его неожиданно остановился на русском флаге, стоящем рядом с армянским.

— И русские части будут? — удивился он.

— Нет, на сей раз будем драться только мы — в России сложное положение — там своя война... — вздохнул генерал, — но мы — союзники!

Гурген кивнул:

— Ну что ж, Армения давно заслуживает самостоятельности! — несколько высокопарно произнес Гурген, оглядываясь, будто ожидая одобрения.

— А вы, уважаемый хмбапет, считаете реальным, что Армения сможет существовать как свободное самостоятельное государство без выхода к морю? — не удержался едкий на язык поручик Мелик-Назаров.

— Сможет! — хмбапет встал, не глядя на Мелик-Назарова.

— Да ведь у нас нет моря! — воскликнул офицер. — А без выхода к морю...

— Ошибаетесь, господа, — насмешливо и гневно оглядел офицеров Гурген, ему никак, вопреки самой очевидной очевидности не хотелось соглашаться с этими лощеными офицерами, — у нас есть море!

— Какое же? — усмехнулся Мелик-Назаров. — Севан?

Гурген бешено сверкнул на поручика глазом:

— Море армянских слёз!

Козырнув генералу и ни слова больше не сказав, он направился к выходу.

— Дикарь! — сказал кто-то, когда дверь за хмбапетом закрылась.

— А по-моему, господа, он выстоит!.. — сказал Генерал и вернулся к своему чаю с рафинадом.

Выходя из штаба, Гурген увидел спину сидящего на ступеньках человека. Человек курил. Гургену тоже захотелось курить, и он подсел к незнакомцу, доставая трубку.

— Вонц эс, ахпер?\* — добродушно спросил он, доставая кiset.

\*Вонц эс, ахпер — как дела, брат(арм.)

— Они надо мной посмеялись! — луна осветила бледное печальное лицо.

— Кто тебя обидел, ахпер?

Человек махнул рукой на здание, где заседал штаб и еще светились окна.

— Вот, — он вытащил из-за пазухи пачку исписанных листов, — здесь все то, о чем я размышлял долгими бессонными ночами. Мысли. Готовый план, как сделать Армению великой и непобедимой, а они посмеялись... Они не армяне! — воскликнул собеседник Гургена, указав на окна, и глаза его сверкнули обидой.

— Они не армяне, а так... — подтвердил небрежно покрутив в воздухе рукой Гурген, — шуртвац!\*

\*Шуртвац гай — армянин «наизнанку» — презрительная кличка тех, которых не считали «настоящими» армянами.

— Может быть, вы, уважаемый, посмотрите?

Хмбапет взял в руки листы и сделал вид, что читает.

— Темно слишком, буквы сливаются... Но ты скажи, в чем беда твоя, может, смогу помочь? Как зовут тебя?

— Ениколоп, у меня лучшая парикмахерская на улице Астафяна.

— А я хмбапет Гурген, — слышал о таком?

Парикмахер восторженно поцокал языком, хотя слышал это имя впервые.

— Ениколоп джан, — сказал хмбапет, набивая трубку табаком и разжигая огниво. — Вижу, человек ты грамотный, о важных вещах пишешь, расскажи-ка лучше, может и сможет тебе помочь хмбапет Гурген?

— Что сказать, уважаемый хмбапет, — Ениколоп ловко скрутил новую самокрутку, — работа у меня, уважаемый хмбапет, особая — не лопатами землю кидать. И люди у меня стригутся разные — и известные мастера по камню, и лавочники, и артисты, и машинисты поездов, и господа офицеры, а доверяют мне самое ценное — голову!.. Особый подход нужен. Сколько голов через вот эти руки прошло — и умных, и глупых! И со всеми у меня беседа, кто Ениколопу про свою жизнь расскажет, что повидал на свете, кто про семью, кто про любовницу, про новости, которые еще даже в газеты не дошли... А по ночам, отрывая время от работы, от семьи, я писал эту рукопись — план, как стать Армении вновь Великой — от моря до моря!

— И как это сделать, джан?

— Есть много способов, но прежде надо учиться, учиться всему, сделать армян самым ученым народом в мире! А там уже сами Англия и Франция потребуют у Турции вернуть наши исторические земли! А турки их во всем слушаются!

— Ну, а если Англия не захочет, а Турция не согласится? — удивился Гурген.

— На это тоже есть свой план. Особый! Только тебе, джан, сейчас скажу... Но об этом никому!

— Клянусь!

— Надо собрать со всего мира самых умных армян. Они смогут изобретать такие машины, которых ни у кого нет, даже у Германии! И вот поставить им задачу – сделать бомбу! Да не простую бомбу, а такую сильную-сильную, которая одна могла бы целый город – пшик – и нету!.. Понимаешь?

— А можно ли такую бомбу сделать? – усомнился хмбапет.

— А можно ли сделать ружье? – спросил один первобытный человек другого! – рассмеялся Ениколоп. — Все можно сделать, было бы желание и единство, которого у нас нет... Прогресс нужен! Если у нас будет прогресс и такая бомба, вопрос будет решен! И туркам ничего не останется, как уйти с захваченных, священных для каждого армянина территорий! А нам ведь ничего чужого и не надо – пускай живут у себя, а мы – у себя!

Хмбапет сделал глубокую затяжку и выпустил дым. Кто такой Прогресс, он спросить не решался. Возможно, очень умный армянин, о котором он почему-то еще не знает.

— Вижу, Ениколоп-джан, мысли у тебя важные, серьезные и стоят того, чтобы их рассмотрели на самом верху...

— Вот! А они не захотели слушать, — горестно махнул Ениколоп в сторону светящихся окон.

— Ничего, может, я и смогу тебе помочь, передать куда надо, если ты оставишь мне бумаги...

— Правда? – обрадовался Ениколоп. – Так пусть они останутся у вас. Я так Вам благодарен, уважаемый, мне ведь ничего за это не надо, я отдаю совершенно бескорыстно! Я столько времени отрывал от себя, от семьи, от клиентов – писал ночами, думал, думал, не спал... Мне денег не надо, правда, главное, чтобы Армении польза была!

Засунув себе за пазуху листы (в отряде всегда не хватало бумаги для самокруток), Гурген некоторое время попыхивал трубкой и молчал, а потом сказал:

— А не хочешь ли ты, Ениколоп, ко мне в отряд?

— Я? – несколько растерялся Ениколоп. – А как же тогда мое дело, моя парикмахерская? Я ж только что французские зеркала купил!

Хмбапет вздохнул.

— Ты знаешь положение: завтра в твои французские зеркала могут уже смотреться турецкие рожи. Но первым делом они отрежут тебе голову, и твоя парикмахерская вместе с зеркалами тебе уже не понадобится – я думаю. И чтобы этого не случилось, все армяне должны сейчас объединиться, дать бой, все – от мала до велика. Все сейчас зависит от каждого из нас, пойми... У нас нет времени ждать твоего Прогресса!

— Я-то с удовольствием, но что скажут дома жена, дети? – они ж как вцепятся!

— А ты им не говори ничего, скажи, поехал к родственникам по делам, а сам приходи завтра утром на площадь и спроси хмбапета Гургена. Стрелять хоть умеешь?

— У меня винтовка есть.

— Ну вот, видишь! А крови не боишься?

— Я? – возмутился Ениколоп, — сколько раз приходилось пускать кровь! Последний раз пришлось неделю назад булочнику пустить – целый таз натек!

— Видишь! – обрадовался Гурген. — Да ты еще и доктор! Значит, будешь у нас и доктором! Так по рукам? Шат лав?\*

\_\_\_\_\_

\*Шат лав – очень хорошо (арм.)

\_\_\_\_\_

Они пожали друг другу руки, и Гурген ощутил, как тонки и хрупки пальцы парикмахера.

## БИТВА

Три дня на подступах к городу то затихала, то вновь разгоралась Битва. Три дня во всей долине тревожно звонили колокола.

Три дня жители долины, в основном женщины, дети и старики (мужчины, кто чем вооружившись, ушли на позиции), ожидая решения судьбы, с тревогой смотрели на синее небо. Казалось, что не из равнины, а с него доносятся сухие россыпи выстрелов, деловитое таканье пулеметов, будто звуки подшивающей заплаты швейной машинки Зингера, дальше погромыхивание орудий, неясные хоровые крики идущих в атаку...

Слыша очередное легкое пощелкивание в небесах, многие тревожно поднимали лица, будто пытаясь выпытать у неба, сколько из этих «щелчков» наших, а сколько турецких, есть ли среди этих щелчков те, что означали точку в судьбе армянских бойцов, неизбежную беду их близких...

Женщины, завернутые в черное, с кувшинами воды, встречали подводы с ранеными и убитыми, еще на дальних подступах к городу их обгоняли мальчишки, и если кто из женщин узнавал своих в повозках, тут же поднимался вой и плач, но возницы сообщали, что наши не только обороняются, но на центральном участке упорно атакуют!

Все понимали, что вершится нечто великое, решающее: быть или не быть народу. Вершится то, что станет или Концом, или Легендой...

Генерал не обманул Гургена – турки в ущелье появились с утра, как только на равнине началась битва.

Пулемет работал и работал. Гурген бил по появляющимся из-за камней аскерам. Фигуры падали, прижимались к земле, исчезали. Потом снова слышался вопль «Алла! Алла!», и они (те же или другие – не разберешь!) появлялись, словно вновь порождаемые самой преисподней, и все начиналось сначала. Мелькали перед глазами фигурки в фесках, мелькали желтые патроны, глетаемые пулеметной коробкой. Мелькал изумруд муллы на руке Або, подающего патронную ленту. Страха Гурген не испытывал: дело было слишком напряженным, требовало предельного внимания и не

оставляло места для других ощущений. Лица у Гургена и Або почернели от пороховой пыли, но Або, как всегда, улыбался, показывая белые зубы. Из-за ближайших выступов стучали выстрелы бойцов Гургена.

— Что, смешно, Або? Ты на негра похож!

— И ты как негр!..

Ствол пулемета раскалился и вода в кожухе закипала.

За водой для пулемета и для бойцов бегал вниз к ручью странный парень, одетый в городской костюм с элегантной черной бабочкой на белой рубашке и шляпой-котелком на голове. Передвигаясь постоянно по открытым склонам, он подвергал себя наибольшему риску. Это был Григор, учитель математики из городского реального училища. Однажды он улыбнулся Гургену и, сняв шляпу, пальцем показал в ней пулевую дырку: очень смешно...

Григор появился вчера утром на площади, спрашивая отряд Гургена. За плечом у него висела старенькая однозарядная берданка.

— Где хмбапет Гурген, мне нужен хмбапет Гурген... — повторял он.

— Ну, я хмбапет Гурген, а ты кто?

— Я Григор, учитель математики старших классов реального русского училища, племянник парикмахера Ениколопа...

— Ну и ну! – покачал головой Гурген. — Чисто жених на свадьбу!

— Да я в этом каждый день хожу в школу, — смущенно улыбнулся Григор, и тут Гурген заметил, что костюмчик, хоть и чистый, но далеко не новый, слегка протершийся в швах, и туфли, хоть и начищены, но стоптанные...

— А-а, Ениколоп, а где же он сам?

— Ну, понимаете, у дяди Ениколопа жена, двое детей... В общем, я за него!

— А родители твои где?

— В Нор-Баязете живут, а я тут работаю, в городе, живу у дяди.

— А я-то думал, твой дядя принесет свою бомбу, и мы сразу турок отгоним до Стамбула!

— Да нет, понимаете – у него жена, дети... В общем, на семейном совете решили...

— А у тебя что, не будет ни жены, ни детей? Невеста хоть есть?

— Ну, есть, — смутился, краснея, парень... — Ну, так берете в отряд?

— А стрелять-то хоть умеешь?

— Я сумею...

— Ну-ка, сними, — приказал Григору Гурген. — Тот снял берданку.

— Дедова еще, — почти похвастался Григор.

— Вот я и вижу, что не новая, такая еще сама лопнет после выстрела! Ну так что мне с тобою делать, математик? Григор стоял и переминался с ноги на ногу.

— Ладно, будешь раненых оттаскивать, повязки накладывать, воду носить...

— А стрелять?

— Стрелять будешь, если у кого освободится винтовка...- Гурген перекрестился. — Иди к Або, записывайся на довольствие.

К обеду наступило затишье, прерываемое лишь редкими выстрелами, как бы напоминающими: мы здесь! Не спи!.. Не спи!..

Напившись воды, перекусив лавашом с козьим сыром, бойцы отдыхали. Гурген лежал у пулемета и подсчитывал потери: трое убитых, двое – раненых... Не так уж плохо! Або резался в карты с кривым Суреном, и Сурену то и дело приходилось лезть в карманы за банкнотами – Або явно передергивал. Двое или трое чистили оружие, Месроп и отец Левон о чем-то тихо переговаривались – остальные, кроме дозорных, спали.

Григор же, отойдя от всех, развалился на плоском травяном склоне и что-то быстро записывал в бумажную тетрадь. Красивое и тонкое лицо его при этом выражало такую необычную одухотворенность и сосредоточенность, что это заинтересовало Гургена, и он подошел к учителю.

— Невесте? – понимающе кивнул Гурген.

Каково же было его удивление, когда вместо ожидаемых строк письма он увидел страницы, сплошь покрытые цифрами и непонятными символами!

Григор был настолько увлечен, что даже не заметил, как к нему подошел Гурген. Рука скользила по листу, и он быстро заполнялся непонятными знаками.

— Что это? – удивленно спросил Гурген, присев на корточки.

Григор поднял голову и улыбнулся открытой улыбкой счастливого человека:

— Понимаете – это математическая теорема, которую до сих пор в мире еще никто не мог решить! И вдруг сегодня, когда я в последний раз ходил за водой, мне показалось, что я смогу – в общем, будто высветилось решенье! – Он понял, что не смог объяснить то состояние, когда цифры стремятся в бесконечное увеличение или уменьшение, где стираются границы между предметами!

— Уважаемый хмбапет, это наука. Если я решу эту теорему до конца, люди смогут построить много новых чудесных машин, которые облегчат им труд, обеспечат изобилие продуктов, наступит эра Прогресса. Не станет ни голодных, ни бедных, ни бездомных, исчезнет зависть, ибо каждый с помощью таких машин получит то, что ему нужно, а значит, исчезнет война — людям незачем будет воевать! И даже турки и армяне будут жить мирно!

Хмбапет ухмыльнулся, покрутил ус и, глянув на небо, сказал:

— Это зверь, когда сыт, больше не убивает, а человек хуже зверя: человек убивает из удовольствия, из интереса... человек и кошка... Ты видел, как кошка играет с мертвым мышонком? Нет, Григор, хуже человека зверя нет. И не поможет тут даже твой волшебный теорем!

Махнув рукой, Гурген направился к пулемету.

— Ну и как, значит, отдал ты святую Книгу Католикосу? – выпрашивал Месроп который раз отца Левона.

Они лежали рядом за одним выступом.

— Отдал, — кивнул Левон.

— И что тебе Католикос сказал?

— Благословил...

Месроп подумал, пожевал ус, глянул за выступ – тихо – и вновь обернулся к священнику.

— Давно хотел тебя спросить, отец Левон... Вот вы, священники, говорите, что Бог любит людей, а почему такое зло творится – войны, убийства?

— Так ведь Бог дал людям свободу выбирать между добром и злом, И многие злом соблазняются – легче и даже веселее рушить, чем строить... Так что зло не Господь творит, а люди...

— Хм, — усомнился Месроп. – Ну а как же тогда невинные дети от болезней мрут, или вот мой Серопик умер, три годика ему было – змея укусила? Здесь на злых людей не свалишь. Ну и где она, любовь Бога?

— Любовь не в том, что в земной юдоли с человеком творится, а в том, что вечную жизнь он каждой душе дает и с нею любые земные беды разве можно сравнить? А детям и юным на заре здешней жизни погибшим он радость дает в той вечной жизни особую.

Мало того, скажу тебе, Месроп, чем больше в этой жизни человек страдает, тем сильнее у него крылья прорастают, тем вернее они донесут его к небесам. Нет страданий на земле бессмысленных!

— Может для святого и так, но я-то просто человек грешный, и мне человека жаль, такого, каков он здесь, — покачал головой Месроп. – Вот потому я и взял оружие – невинных защитить... А ты, святой отец, к чему тебе ружье, ведь все равно – вечная жизнь тебе молитвами обеспечена?

— Видение мне было: белый ангел с мечом!.. Он мой Долг указал. Есть Долг земной, который надлежит выполнить каждому, и оттого как он это сделает, так вечная жизнь и сложится – на небесах ликовать или под землей стелеть!

Отца Левона убили на второй день – пуля попала в живот, и он долго маялся, ждал, пока за ним не приехала телега, отвозящая раненых и убитых в город. Потом мучился и в телеге, чувствуя каждый камешек и выступ под колесом, и с каждым толчком, с каждым ударом боли душа его прорастала невидимыми крыльями и, когда показался город, его церкви, оставила тело, взмыла на них широких, журавлиных. И некому было плакать о нем, и некому сожалеть о его смерти. И слава Богу!

Учителя Григора убили на третий день. Он не мучился – пуля прошла прямо в висок, его губы даже сохранили улыбку – счастливая смерть!

А тетрадь Григора пошла на самокрутки, и Гурген только иной раз удивлялся, заведя на бумаге непонятные сгорающие знаки.

На третий день в ущелье наступила непонятная тишина. Прискакал всадник от полковника Пирумова и сообщил, что турки бегут на сардарабадском направлении.

Бойцы стали собираться к переходу на равнину. Именно в этот момент пуля попала в пах Гургену – будто ребенок толкнул кулаком в бок, он даже не упал и лишь в следующий миг увидел кровь. Пуля была на излете и даже не пробила брюшную стенку, а застряла где-то в коже. Вначале казалось — пустяк – он даже попытался влезть на коня, но с рычаньем свалился на подхватившие его вовремя руки. Он передал управление отрядом Або, а самого его усадили в телегу и направили в город. Долгое это было путешествие в телеге среди стонущих раненых, и все же чаще, чем стоны и кашель, раздавались возгласы: «А все-таки мы их переломили! Победа! Победа!».

Нет, не удалось славному хмбаету Гургену прогарцевать по центральным улицам города на своем вороном скакуне во всеоружии, осыпаемому весенними цветами, под восторженные взгляды красавиц, торжествующие приветственные крики толп, скопившихся вдоль улиц Города. И не то, чтобы среди прославленных генералов, полковников, он на это особенно и не претендовал, а чуть позади, среди младших офицеров, предводителей отрядов, хумбов, многих из которых лично знал — там было бы вполне достойное для него место — за которыми весело цокали по гранитной мостовой конные сотни, не шагал он и среди усталых пешеходов ополченцев с лицами, почерневшими от пороха, вслед за конницей. А ехал он там, где пехота кончалась, и начинался поезд телег с ранеными. Вот на одной из них он и ехал на соломе, аккуратно подстеленной боевыми товарищами. Рана в паху воспалилась, бок дергало, а он улыбался встречающему народу, и улыбка его временами, когда боль была особенно сильной, походила на оскал. А рядом с ним сдерживали лошадей его верные бойцы – Ваче, честный Месроп...

Им тоже кричали ура, им тоже бросали маки, но редко — почти все цветы достались тем, кто проехал и прошел впереди.

Звон колоколов плыл над городом и долиной. За вереницей телег с ранеными двигались телеги с убитыми, и у каждого в скрещенных руках была свечка. На них у толпы цветов почти не осталось.

Толпа притихла, яснее слышался колокольный звон, многие крестились, кто-то плакал, узнавая своих, и кидался к телеге. Молодых женщин вдоль дороги оставалось уже немного – в основном мальчишки, девочки, старцы, старушки... Толпа притихла, ибо шли телеги со скорбной поклажей, а это и были самые что ни на есть герои, ибо отдали самое

дорогое, что только у них было – жизнь – за парадом тянулся неприглядный и горестный хвост войны – в которой оплата цены победы по высшей ставке достается тем, кто гибнет, а вся слава победы – живым.

На одной из последних таких скорбных телег плечом к плечу с другим бойцом лежал учитель математики Григор, так и не успевший решить своей теоремы, которая должна была положить конец всем войнам. Странно он выглядел среди погибших бойцов, их окровавленных солдатских гимнастеров, крестьянских рубах – в костюме с бабочкой, неестественно бледный и красивый, будто жених, с открытым небу высоким лбом. Лишь один цветок долетел до него, брошенный девочкой – алый мак упал учителю на грудь, и старуха перекрестилась вслед телеге.

## РАНА

Рана Гургена загноилась, и к вечеру началась лихорадка. Снова ему казалось, что он у пулемета, а турки идут и идут. Вот один возник перед ним с ружьем наперевес. Здоровенный усатый, как тот, которого он убил в Ак-чае, шел и не думал падать, хотя пулемет бил почти в упор. Турок надвигался и надвигался, поблескивая штыком. Очевидно, что-то произошло с пулеметом. Гурген поднялся и, выхватив маузер, выстрелил в упор, но турок продолжал двигаться, и Гурген вдруг с ужасом почувствовал, что и его пулемет, и маузер игрушечные. Отшвырнув маузер, он бросился с кулаками на турка, и тот всадил ему штык в бок...

От боли Гурген просыпался ночью, скрипел зубами и стонал. Рядом, в госпитальной палате, стонали и кашляли другие раненые бойцы. Бок дергало. Ему давали пить. Днем пришел усталый доктор и, лишь взглянув, сказал: рана – ерундовая, главное — уход, менять повязки почаще, чтобы нагноение не возникло. После него появилась женщина с высокими скулами и непроницаемым черным взглядом и родинкой на щеке у подбородка. Она приходила к нему утром и вечером, разбинтовывала рану, поливала чем-то приятно холодящим, поила каким-то настоем. Казалось, он где-то ее уже видел. На третий день, когда ему стало лучше, Гурген, наконец, смог рассмотреть, что женщина довольно молодая, с крепкими икрами. Он на минуту поймал ее руку, как птичку, и, задержав, спросил:

— Как тебя зовут, красавица?

— Сатеник, — ответила она и убрала руку.

— Сатеник, когда ты обмываешь рану, мне кажется, что я снова готов поверить в Бога.

Она нахмурилась и промолчала.

Дважды в день к нему подходила Сатеник, осматривала перевязку, меняла бинты. Каждый день приходили бойцы, Ваче, Месроп, Сурен, Або, приносили кое-что поесть — ягоды, соки, даже иногда птицу.

— Кто она? – выспрашивал он у них, — узнайте!

Вскоре ему рассказали, что она беженка, ютящаяся с девятилетним ребенком у негостеприимного двоюродного брата, и Гурген стал немного отдавать ей из той пищи, которой его потчевали бойцы.

Она сначала отказывалась.

— А это не тебе, — хитрил он – это для твоего мальчика, как его, кстати зовут?

Она испытующе посмотрела на него.

— Тигран...

— В честь мужа?

На этот вопрос она не ответила, а только сдвинула брови и ушла.

Выяснилось, что муж у нее был мобилизован на германский фронт и вестей от него нет никаких уже три года – и не вдова, и не замужняя.

Наконец ему приснился хороший сон – из детства. Осенняя урожайная пора, влекомые волами арбы заполнены горами зрелого винограда – на закате они сверкают, будто драгоценные полупрозрачные камни – красные, синие, зеленые, желтые, черные... Арбы движутся по сельской улице. Одна останавливается у их дома. Виноград сваливают в специальное помещение с цементным полом. Потом появляются давитьщики, веселые ребята — в эту пору они ходят от деревни к деревне. Моют ноги, залезают на кучи винограда в комнате с цементным полом, и слышно, как они поют там веселые и шуточные песни, ходят по винограду, пляшут, водят хороводы, а сок стекает с цементного пола по специальному желобу в комнату пониже, где его собирают в карасы — остродонные кувшины, которые врывают в землю в подвалах, где вино созревает, уже не видя солнца.

Он открыл глаза и услышал женский голос, низковатый, приятный:

*Господи мой Боже,*

*Пусть хлеб уродится.*

*Горсть я отдам прохожим,*

*Горсть другую – птицам,*

*Третью горсть – нищим,*

*Пусть будет им пищей...*

Сатеник мыла окно напротив него, двигая кругами тряпку, и оттого, что она вытягивалась, хорошо были видны ее тяжеловатые икры и круглые коленки.

— Хорошо поешь, — так моя сестра пела, — сказал Гурген и тут же нахмурился.

Она обернулась и, кажется, впервые за их встречи улыбнулась.

— Доктор говорит, что вам и выписываться можно!

— А ты этому рада?  
— Конечно, вы ведь выздоровели!  
Он помолчал. Она продолжала мыть окна, но уже молча.  
— Сатеник! – позвал он, — подойди ко мне.  
— Ишь, какой приткий! – хохотнул кто-то с соседней кровати.  
Гурген грозно нахмурился на шутника и тихо предупредил:  
— Кто посмотрит на эту женщину — убью!  
Смешки прекратились.  
Она подошла к нему.  
— Присядь.

Она присела на край кровати, и он взял ее за руку. Как давно он не трогал женщины – год, два? Какой мягкой эта рука показалась – как у священника...

— Я хочу увидиться с тобой, когда встану, можно?  
— Зачем, я женщина замужняя.  
— А куда же делся твой муж? Если б он искал тебя, то давно бы нашел у родственников.  
— И это вы уже знаете, — нахмурилась.  
— Я хочу...  
— Зачем? Для новой беды?  
— Какая беда?

— Зачем приобретать, чтобы снова терять, — сказала она, резко вставая, и его поразило соответствие с тем, о чем он не раз думал раньше. Может, от этого он и был смелее многих, что терять уже было некого?

— Выздоровливайте, хмбапет, — она махнула рукой и исчезла, а ее крепкие икры, ночные черные глаза и родинка на щеке у подбородка так и остались, как отпечатанные, в душе Гургена.

## КОВЧЕГ МАМИКОНА

— Мамикон-джан, когда же это безобразие кончится? – стонала в темноте старуха. Духанщик Мамикон лежал с женой и молчал. Старуха была, собственно, и не старуха, лет пятьдесят ей было, но выглядела на все семьдесят. Что делает время и привычка? Если бы лет тридцать назад он смог бы себе представить, во что она превратится, он бы нашел самый крепкий крюк в подвале, на которые подвешивают туши, и повесился или, что скорее соответствовало его жизнелюбивому нраву, сбежал бы на самый край света, куда-нибудь в Индию, к примеру, повидал бы настоящих слонов, обезьян...

А тогда, тридцать лет назад, она была вполне симпатичной пухленькой девицей, которую, правда, чуть-чуть портил выступающий горбинкой нос – с этим небольшим недостатком, впрочем, вполне можно было смириться, учитывая щедрое приданое ее отца ювелира и бедность самого Мамикона.

Время шло, совсем незаметно происходили изменения, которые не замечаешь, когда живешь с человеком бок о бок. Не замечаешь, не замечаешь, и вдруг пред тобой будто совсем иной портрет предстает: количество морщин увеличилось, они резко углубились, щеки запали, и теперь этот нос был похож на неприступную скалу, устремленную к невидимому потолку. И вот, оказывается, можно лежать рядом с таким кошмаром и не ужасаться! Да и детишками Бог не слишком порадовал.

Ну и где теперь тот богатый, процветающий, известный на весь город ювелир? Где его богатство? Останки ювелира давно тлеют под хачкаром, а деньги пустились по ветру сыночки: старший стал офицером и все проиграл в карты, младший вообще ничего не делал – только ел и толстел, ел и толстел, пока его не хватил удар, и все деньги достались докторам и мастерам каменных дел карапетам – такой памятник отгрохали – впору царям или генералам!

Нет, кое-что, правда, осталось, только благодаря ему, Мамикону – вот этот дом с винным подвалом он купил тогда сразу и начал свое дело, открыв на первом этаже духан, приколотив над дверью вывеску «Ковчег». И все бы шло замечательно, если бы не эта проклятая революция в России, если бы не эта бесконечная война, которая идет уже четыре года, и конца ей не предвидится.

Мамикон прислушался.

Визгливые звуки зурны, вопли, топот и шум доносились с нижнего этажа

— Эти сволочи меня разорят! – простонал Мамикон. — Они пьют и не хотят платить!

— А ты что? – встрепенулась жена при слове «платить». — Ты хоть раз у них потребовал, как мужчина!? Все только улыбаться им умеешь: «Ах, уважаемый Аршаруни! Ах, уважаемый хмбапет!» — передразнила она мужа... - Нет, ты не мужчина, — авторитетно подвела итог жена.

— Да разве я не просил? – «Потом заплатим» — один ответ!

— А ты потребуй!

— Я? Потребую? – поразился Мамикон. — Да они меня убьют! Что стоит этим разбойникам в человека выстрелить? А этот Аршаруни, первый бандит среди них – сестру, говорят, своими руками!..

— Все ты боишься, всего боишься! – раздражено ворчала жена. – Вот я пойду и сама спрошу...

— Я к самому Дро жаловаться ходил!- продолжал Мамикон, — так адъютант, когда узнал мой вопрос, просто выгнал: «Не мешайте людям государственными делами заниматься! У нас сто отрядов таких на постое, и все хозяева недовольны. Из-за вас, торгашей, нам что, армию расформировывать?»

Из-за нас, торгашей, значит... а кто их кормит?..

И дохода теперь никакого!

— Конечно, — подхватила жена. — Приличные люди перестали заходить – и парикмахер, душечка Ениколоп, и булочник Манук, и Мовсес — машинист поезда. Всех распугали эти голодранцы! А ты не хочешь идти и прямо сказать – может, дочь и жена твои смелее окажутся?

Мамикон вздохнул. Как радовала его дочурка до десяти лет! Как мечтал он создать ей счастливую семейную жизнь! Но с десяти лет полез и полез материнский нос, причем, если у матери в юности он был еще достаточно скромных размеров, то у дочери вымахал такой, что за девичью честь ее явно не приходилось опасаться. «Бедный ребенок, — не раз вздыхал про себя Мамикон, — ну пусть для нашей семьи так и останется ребенком до конца дней!» Ей уже тридцать, а все в куколки играет! «Святая!» Благо девушка была нрава веселого и, кажется, совсем не страдала от своей судьбы! Недостаток внешности нисколько не отнял у нее способности бесхитростно радоваться жизни – хорошей погоде, вкусному винограду, родителям, ласковому слову... Дочь – вот та, за кого он не боялся в это тревожное время – на нее и последний разбойник не посмотрит. А пристроить ее все же удалось – к храму, торговать свечками, крестиками и иконками.

— Нет, ты не мужчина, — гудела жена.

А он знал — она неправа – все-таки мужской, ответственный поступок он совершил, и совсем недавно: перед тем, как турки начали рваться в долину и пошел слух, что скоро они будут здесь, глубокой ночью, дождавшись, пока заснули все домашние, Мамикон тихо встал, достал из закутка заранее припасенную коробку, обернутую брезентом, кожей и тряпками, и вышел через задний ход в сад. Ночь была звездная, кое-где постреливали, но глиняный забор был достаточно высок, чтобы его мог кто-нибудь приметить с улицы. Мамикон поднял оставленную заранее у стены с вечера лопату и тихо пошел в центр сада. Запах свежей листвы и земли слегка кружил голову. Мамикон выбрал место посреди двух кустов и принялся копать. Вся работа заняла не более получаса. Яма получилась в метр глубину, как раз, чтобы дно доставала рука. Опустив в нее завернутую в тряпки коробку, Мамикон быстро закопал ямку, притрамбовал ногами, набросал сверху сухой земли и прошлогодней листвы. Все... Отряхнув руки, он взял лопату и направился к дому. Никто даже не заметил его отлучки, никому он не сказал о тайной коробке и куда ее спрятал – ни дочери, ни жене...

Мамикон чувствовал, что судьба подшутила над ним – над его маленьким ростом, старой женой, носом дочери, и любовь его сосредоточилась на непреходящем — золотых серьгах, дорогих перстнях, украшеньях, браслетах, золотых монетах, монисто... Люди приходят в этот мир и уходят, дерево гниёт, камень трескается и крошится в песок, железо ржавеет — и лишь золото вечно!

Этот клад он оставил себе на самый черный день — себе и дочери.

Шум и гвалт внизу усилились.

— Ну, это невозможно! – Мамикон вдруг встал с постели, принялся искать тапочки.

— Ты куда? – удивленно спросила жена.

— Пойду просить оплату! – твердо сказал Мамикон.

— А если они сейчас дерутся?

Мамикон махнул рукой. Он подумал, а не сказать ли жене о кладе в саду? – Нет, не скажет... В крайнем случае, останутся же ей с дочерью дом с подвалом и сад.

Мамикон распахнул дверь, и на него сразу дохнуло вином, табаком, запахом солдатской кожаной амуниции, немывыми портянками, слегка оглушило светом и шумом.

Сам Гурген Аршаруни встал из-за стола с кружкой в руке. Глаза его засветились, как у волка, завидевшего овцу.

— Ба! Кто к нам пришел! Сам Мамикон-джан захотел сегодня разделить наше застолье! Очень мило с его стороны! Очень мило!

Весь пыл у Мамикона, с которым он собирался потребовать оплату, моментально улетучился.

— Заходи, заходи, Мамикон, присаживайся за стол! Садись рядом, – гудел Аршаруни, ухмыляясь, — не побрезгуй выпить с простыми солдатами!

И, несмотря на то, что Мамикона взбесило, как эти разбойники вели себя, будто он гость, а не хозяин, он покорно сделал несколько шагов вперед, щурясь от резкого табачного дыма.

Выглядел он, конечно, в этой компании довольно комично: среди френчей, перетянутых португепями, галифе, сапог, оружия – в халатике, который постоянно запахивал, домашних тапочках на волосатых ногах. Он присел рядом с Аршаруни, решив только дожидаться удобного момента для своего вопроса.

Раздались ликующие крики: в дверях появился заранее вызванный Гаспар с дудуком.

Гурген вдруг встал, поднял руку, призывая к вниманию.

— Мы сегодня должны почтить наших погибших близких и боевых товарищей! Это вино для них... — он стал медленно выливать красное вино из кружки на пол и остальные вставали и лили вино, кроме ошарашенного Мамикона.

— Пейте, наши близкие, пейте, наши бойцы! – возгласил хмбапет.

Мамикон сжался от ярости: они не только пьют его вино, но позволяют его просто выливать на пол!

— А у тебя, Мамикон, никто разве не погиб?

— Наша семья маленькая, Бог миловал – один лишь брат, и тот в Персии.

— Тогда тебе нас не понять! — Гурген тяжело уселся, и за ним сели все.

Конечно, Мамикон врал – были у него и двоюродные, и троюродные родственники, погибшие, нищие, голодные, но он с ними и памятью о них решительно порвал и всем отказал от дома — он не желал знать их горя, всех не накормишь, за всех не намолишься!

Однако Аршаруни снова встал:

— А теперь за Армению!

Тут уж и Мамикону пришлось подняться.

Выпил и Мамикон вслед за всеми одним махом и почувствовал, как зашумел в голове нездешний ветер.

Запел дудук, все замолкли, и каждый призадумался о своем.

Каждый, кроме Мамикона: он в нетерпении барабанил короткими пальчиками по столу — удобного момента для расплаты так и не представлялось.

— Счас пальцы отрежу! – вдруг негромко предупредил Гурген, и пальцы Мамикона испуганно замерли.

— И что ты за человек, Мамикон, даже такая музыка тебя не трогает! – вздохнул Гурген.

После нескольких песен Гаспар стал собираться: ему надо было еще успеть на похороны какого-то родственника.

— Гаспар, Гаспар! – это человек – больше людей на свете нет! – Гурген вышел из-за стола, расцеловал музыканта.  
– Эй, Або, дай ему пачку!

Появился холщовый мешок, и в руке Або возникла увесистая пачка банкнот. Гурген взял ее и сунул в руки музыканту.

— Спасибо тебе, не забывай нас, грешных!

И вдруг гениальная мысль змейкой проскочила в извилинах Мамикона. Он быстро встал и тоже направился к выходу. Впрочем, его никто не держал. Вместе с Гаспаром они вышли на улицу, и двери за ними закрылись.

— Слушай, Гаспар! – вмиг осмелев, обратился духанщик к музыканту. – Ты, конечно, играешь превосходно. Но ведь играешь ты в моем доме! Мои ведь стены дают тебе возможность зарабатывать! Так что, по справедливости, то, что ты получил, надо между нами разделить!

Гаспар повернулся к Мамикону, ночь была лунная, но луна светила со стороны музыканта, и выражения лица дудукиста нельзя было разобрать. Но на всякий случай Мамикон сжал кулачки и отступил на полшага.

Гаспар опустил руку за пазуху, вытащил пачку купюр, небрежно разделил надвое и протянул половину Мамикону. Мамикон схватил деньги.

— Это по справедливости, — надо бы посчитать, но темно, — засовывал себе в халат деньги Мамикон.

Однако дудукист уже не слышал его, он уходил вверх по улице, и луна сияла над ним, и серебристые кольца волос музыканта легко сияли.

Через минуту Мамикон был в спальне. Вместе с женой, при свете керосиновой лампы, они пересчитывали деньги. Жена так и не оценила его гениальной финансовой операции, постоянно ворча, что это сущие копейки и Мамикону следовало взять гораздо больше.

## ЧЕСТНЫЙ МЕСРОП

А веселье продолжалось. И, как это бывало не раз, кривой Сурен, хитро подмигивая остальным, начинал поддевать честного Месропа. Месроп был рыжий, сухопарый, лет за пятьдесят, вислоусый, но крепок, как старый дуб, а глаза голубые, прозрачные.

— А я думаю, — говорил ему Сурен. – воровать понемногу у богатых не грешно, и врать понемногу не грешно!

— Воровать и врать грех! – поднимал палец Месроп. – Воровать и врать вообще нельзя – ни мало, ни много, ни у кого и никому!

Сурен смеялся.

— Да как же тогда проживешь – даже в одной семье жена и муж друг другу врут!.. Да все врут, куда ни погляди!

— Правда – Бог свободного человека! – возглашал Месроп. – Только свободный человек не врёт! Раб всегда врёт!

Он боится, а свободный человек не боится правды, и ему легко!

— Ну и много ли ты имеешь добра, если такой честный?

— На душе лишнего камня нет!

— А у меня и так камней нет на душе – никаких! — хохотал Сурен. – Почему это?

— Низкий ты человек, Сурен, вот почему, — спокойно ответил Месроп. – И темный! – У свободного человека сердце, как птица! И добро его не пощупаешь!..

— Ну да, куда нам до тебя! – кривился Сурен и становился еще кривее. – Важная ты у нас птица, не больно ли высоко летаешь?

— Слушай, Месроп, — вмешался вдруг заслышавший спор Гурген, коварно сверкая пьяными глазами, – ну а я кто, по-твоему, свободный или нет?

— Ты, Гурген? Да ты самый несвободный из нас всех!

Сидящие рядом засмеялись. Гурген захохотал:

— Вот те раз! Я ж ваш командир! Я приказываю – ты исполняешь! Или наоборот, Месроп? Вот прикажу идти в атаку, и пойдете! А там и убить может! И ни перед кем я не отвечаю! Ни перед Дро, ни перед Богом – знаете меня! Я – Гурген! Я – сам по себе!

— Ты наш командир, — отвечал Месроп, — и потому самый несвободный! Мы, каждый, тебе как бы часть своей совести передали, мы выполняем приказы, а отвечать перед Богом тебе – и за себя, и за нас!

— Э-э... да где он, твой Бог? – махнул рукой Гурген. – Сказки все это! Что этот Бог с нашим народом сделал? И этот Бог будет меня судить?! – Да я плюну в него!

Бойцы то ли одобрительно, то ли смущенно загудели, а некоторые украдкой перекрестились.

— Расскажи-ка нам про доброго Бога, Месроп! – выкрикнул Або, подмигнув командиру.

— А что тебе глухому рассказывать? – отмахнулся Месроп.

— Про Бога пусть лучше нам Насим скажет... — вдруг раздались голоса. Последнее время Месроп и шестнадцатилетний ездид Насим, несмотря на разницу в возрасте, друзьями ходили, держались всегда вместе и часто подолгу о чем-то беседовали, спорили.

— Я-то еще молодой, — сверкнул глазом курд Насим, — но старики наши говорили: добрый Бог далеко – до него только мертвые доходят! А миром правит другой, падший ангел...

— Сатана! – осклабился Гурген.

— Нет-нет! – глаза Насима испуганно округлились. – Нельзя его так называть! Он всякий бывает – и добро и зло в нем, как в человеке... Просто сердится он на людей сейчас – злые духи на него так действуют. А потом он ад зальет слезами, и в конце времен Бог его простит...

— Да уж только не про меня эта сказка – и никого из нас уже не будет на этом свете, – усмехнулся командир.

— Как не будет! – удивился Насим. – Все будут! Душа будет! Душа вечная!

Гурген хмыкнул и нахмурился.

Все почему-то разом замолчали, и вдруг в законной темени жутко завывла собака, так воет сука, потерявшая щенков, а Насим побледнел:

— Он! Он услышал!.. Тауш-Мелек!..

— Да ну, тошно вас слушать! – грохнул кулаком по столу Ваче. – Лейте вино! За командира!

## ПЕСНЯ ЦАРЯ АРТАШЕСА

Появился зурначи Погос. Насим перевернул два ведра и стал выстукивать на них ритмы. Все, кто был еще способен встать, пустились в пляс, подбрасывая высоко руки и покручивая кистями.

Гурген смотрел в кружку, где плескалось красное вино.

— Все люди сволочи, все люди сволочи, — бормотал он, опустив усы в кружку — Нет нигде в мире справедливости! Да, Насим: весь род человеческий — сволочи, ну, может, кроме самых малых детишек, которые еще кошек не пробовали душисть... — Он вытащил деревянную куколку из-за пазухи, поцеловал и спрятал обратно.

И вдруг барабан замолк, зурна замолкла: это Ваче положил лапы на плечи исполнителей.

— А теперь подарим песню, которая понравится нашему хмбапету! – Песню про древнего нашего царя Арташеса!

— Ура! – Ура! Про Арташеса! – поддержали все, некоторые перемигивались лукаво.

И тут все вразной заголосили, под барабанно-ведерный ритм, ставший более редким и тем более значительным с неожиданными россыпями – Насим старался!

*Храбрый царь Арташес на вороного сел,*

*Вынул красный аркан с золотым кольцом,*

*Через реку махнул быстроекрылым орлом,*

*Метнул красный аркан с золотым кольцом,*

*Аланской царевны стан охватил,*

*стану нежной царевны боль причинил*

*Быстро в ставку ее повлачил.*

*.....*  
*Золотой дождь шел на свадьбе Арташеса,*

*Жемчужный дождь лился на свадьбе Сатеник.*

Сатеник! Как же он о ней забыл – тяжелый кулак грохнул в дубовый стол. Гурген встал, даже не покачиваясь.

— Сатеник! – крикнул он. — Еду к Сатеник – со мной Ваче и кривой Сурен!

Вскоре пролетка была подана к духану. За вожжами, как обычно – кривой Сурен, понимающий лошадей лучше, чем людей, сзади темной горой – верный телохранитель Ваче.

— Пошел! – махнул рукой Гурген.

Зацокали копыта пристяжной гнедой двойки, не быстро, но и не медленно поплыл фэзтон под ярким сиянием белой, в синих морях, луны.

Храбрый царь, Арташес!..

Фэзтон кружил по кривым улочкам, проехал по древнему мосту под древней крепостью, огибал нависшие скалы, и, наконец, остановился напротив одноэтажного темного дома с наглухо запертыми ставнями.

Сурен соскочил с облучка и, подбежав к воротам, заколотил в них.

Однако никто не отвечал.

— А ну, откройте! – кричал, не унимаясь, Сурен. — Сам хмбапет Аршаруни в гости к вам пожаловал! А вы, неблагодарные, попрятались.

— Что ему нужно? – послышался женский голос за воротами.

— Он хочет видеть госпожу Сатеник!  
— Почему же он выбрал такое позднее время? – в голосе вдруг послышалась насмешка. Или он перепутал Сатеник с теми девицами, которые продаются?  
— Сатеник! Это ты! – привстал Гурген. — Пусти, поговорить надо!  
За воротами будто послышалась возня.  
— Что ж вы в такой час приехали, — снова послышался голос Сатеник. – Чтобы опозорить меня? — решили, если мужа нет, так позабавиться?.. Шлюхой выставить перед людьми?! – голос гневно звенел.  
— Сатеник, — заревел Гурген, — открой, прости, и я навеки твой!  
— Подожди, — раздался голос, — подожди минуту, я тебе отвечу! Исполни и мое желание! Выйди-ка из фэтона и встань у противоположной стены, на которую луна светит...  
Гурген так и сделал. Встал у белой стены, лихо заломив папаху и победительно поглаживая бороду.  
Неожиданно ставня ближайшего к воротам окна раскрылась, зазвенело разбитое стекло и показалось дуло ружья. Грохнул выстрел, и эхо его многократно прокатилось по кривым переулкам. Пуля прошла над головой Гургена, раздробила часть стены мазанки, у которой он стоял, и штукатурка посыпалась ему на голову и за ворот. От неожиданности хмбапет съежился и схватился за кобуру.  
Ваче и Сурен мгновенно выхватили пистолеты, готовые стрелять в окно, но Гурген сдержал их движением.  
— Да мы этот дом с землей сравниваем! – орали они в бешенстве. – Кто посмел?..  
Крики и звуки борьбы раздалась за воротами. Калитка распахнулась, к Гургену метнулся мужчина в белом исподнем и бухнулся перед ним на колени.  
— О, благородный Гурген! Это не мы! Это она, чертовка, сорвала со стены ружье, а мы не углядели! Пощади нас. Да мы свяжем эту бешеную и отдадим тебе! Вай, у меня семья, дети, а она только несчастье приносит! Забери ее от нас, прошу, и делай что хочешь!  
Слышно было, как в доме раздавались крики, звуки пощечин и женское рыданье.  
Гурген отряхнулся, смахнул штукатурку с шеи, нахмурился, подцепил плеткой подбородок хозяина дома:  
— Встань!  
Тот встал, дрожа и бормоча невнятицу.  
— Никогда! Никогда не называй ее плохо... Но если узнаю, что хоть волос с ее головы упал – убью! Понял? Хозяин дома беспрерывно кивал головой:  
— О, благородный воин, все будет, как ты сказал!  
— Я проверю! – нахмурился хмбапет, вскочил в пролетку, за ним Сурен и Ваче. – Иди и успокой женщин, мы уезжаем...  
— Трогай! – приказал Гурген.  
А хозяин дома попятился к воротам, крестясь и кланяясь вслед пролетке.

Обратно лошади шли не спеша. И луна светила им, белая, с выпланными морями. Гурген будто вмиг протрезвел и молчал, о чем-то думал, пока фэтон крутил и кружил по кривым улочкам. Потом вдруг сказал так отчетливо, что ясно услышали Ваче и Сурен.

— Придется мне на ней жениться!

## **СВАТОВСТВО И СВАДЬБА**

Наутро Гурген отправил к Сатеник сватов, Або и Месропа. Впрочем, они быстро вернулись.  
— И разговаривать не захотела. У – баба!  
Гурген пожал плечами: чего хочет эта женщина? Ведь он на этот раз постарался, чтобы все по обычаю было. Но делать нечего, опохмелился кружкой красного вина, надел френч и посмотрел в зеркало. На него глянула бородатая, страшно помятая рожа с красными глазами.  
Вначале он сходил в баню, затем постригся в парикмахерской, надел парадный френч с орденом Георгия.  
На сей раз он в зеркале себе понравился больше, только непокорные густые волосы лохматились.  
— У кого есть гребень?  
— Тебе не гребень нужен, а садовые грабли! – расхохотался Ваче.  
— Я спрашиваю про гребень! – заорал Гурген.  
Гребень нашелся у Або. И Гурген долго и тщательно вычесывал бороду и кудлатую темную с проседью голову. Наконец он закончил эту непривычную работу, сломав пару зубцов и вылив на себя флакон одеколона.  
Он сидел в пролетке, а правил уже не разбитной Сурен, а серьезный Месроп. Теперь он приказал ехать не торопясь, и фэтон медленно катился по извилистым улочкам. Солнце было уже высоко, и навстречу им то и дело попадались мрачные мужики, полускелеты нищих, бредущих куда глаза глядят в поисках куска хлеба, солдаты или всадники, крестьяне, тянущие на базар ишаков с навьюченными хурджунами, женщины в черном с корзинами... Они обогнули нависающую над дорогой скалу, с развалинами древней крепости на вершине, проехали по выпуклому одноарочному мосту, под которым шумела сбегаящая вниз горная речка. С моста вправо, над скоплением черепичных крыш, с тусклыми свечами тополей в белесом небе будто голубое неподвижное облако стояло, еще не отделившееся от земли — Библейская гора. Завидев ее, командир Гурген украдкой, так, чтобы не заметил Месроп, перекрестился.

Около уже знакомых ворот фаэтон остановился. Гурген вышел и, прежде чем направиться к воротам, подошел к противоположной стене рассмотреть след ночного выстрела. Он напоминал кратер и находился всего на пару ладоней выше его головы.

Гурген молча покачал головой, поцокал не то удивленно, не то осуждающе, не то с восхищением; обернувшись, пересек улицу и стал стучать в ворота. На этот раз открыли ему очень быстро, и он увидел коренастую пожилую женщину в черном платье – по виду хозяйку. Лицо ее улыбалось, из глаз будто варенье капало.

— О, господин Аршаруни, мы так рады видеть Вас, так рады! Пожалуйста, пожалуйста проходите.

Гурген мрачно усмехнулся, вспомнив ночной выстрел.

— Вы не обижайтесь на нашу родственницу. Сказать по правде, — женщина выпучила сливовые глаза и покрутила у виска, — она не в себе! Да вы проходите, проходите.

Хозяйка провела его мимо сада, они поднялись по лестнице на веранду, с веранды вошли в большую светлую комнату.

— Присаживайтесь, пожалуйста, уважаемый хмбапет! – указала женщина на кресло.

— Вы родственница ее?

— Я? – О нет – мой муж двоюродный брат ей... когда случилась такая беда, мы ее с ребенком приютили, обогрели... Только добро ей делали, только добро!.. И вот черная благодарность! Вы посидите, а я пока угощу вас. Кофе? Чай?... У нас прекрасный черный кофе, рекомендую! Нигде в городе такого нет!.. Мужа, к сожалению, нет, чтобы встретить вас – на работе, на вокзале...

— Он машинист?

— Вы что?! – невольно возмутилась женщина, — Он кассир! – произнесла она, будто это был чин не менее тайного советника. — Так что, если нужны куда билеты, — женщина лукаво улыбнулась, — всегда пожалуйста, хоть на Северный Полюс!

— Я там уже был... — хмыкнул хмбапет.

— О-о! – притворно закатила глаза хозяйка.

— Где Сатеник?

— Сатеник? Ах, да, вы конечно к ней... Она на рынок ушла, уже давно, вот-вот будет, а вы посидите, подождите, а я вас кофе угощу.

Не переставая верещать о чем-то, хозяйка исчезла за дверью.

Гурген сел в кресло, скучающе зевнул и огляделся. Давно он не бывал в богатых домах. Стены и пол покрыты коврами. Кстати, на том, под которым он сидел, персидском, висели сабля и ружье (как видно, из которого в него в вчера пальнули ?) и инкрустированный серебром рог, над ковром – изображение Святого Эчмиадзина в золоченой раме. У стены поблескивало черным лаком пианино с позолоченными подсвечниками на нём. Под ногами ковер тоже был персидский. А на противоположной стене ковер, явно российской выделки, изображал стадо оленей в каких-то дремучих зимних сибирских лесах. В рамках тут и там висели фото каких-то сородичей, в буфете блестела хрустальная посуда, всюду вазочки, какие-то хрустальные и фарфоровые статуэтки – китайки, балерины, собачки, мраморные слоны и слоники... Гурген начал нетерпеливо постукивать плеткой по сапогу. Неожиданно скрипнула дверь, и в проеме появились две пары любопытных детских черных глаз.

От нечего делать он поманил их, думая испугать, но как ни странно, дети не испугались, а осторожно, прячась друг за друга, вошли. Это были две одетые в вуальные платьица, похожие на куколок, девочки — лет пяти в розовом и лет шести в голубом платьицах. Старшая торжественно несла белокурую куклу и шла прямо к Гургену:

— А у меня кукла по-русски говорит! – сразу объявила она, наклонила куклу, и та пропищала «ма-ма»... Она из России! – похвасталась девочка.

— А хотите, я сыграю вам гамму? — сказала та, которая была в розовом платьице, залезла на сиденье, открыла крышку пианино и, прикоснувшись пальчиком к клавише, извлекла звук.

— А где же ваш братик?

— Братик? – девочки захихикали. — Тигранчик? Тигранчик из чуланчика?

— Мы с ним не играем.

— Мама говорит, он большой, злой.

— И еще, — сделав страшные глаза, поведала розовая девочка, — мама говорит – он кусается!

Тут в комнату почти влетела хозяйка с чашечкой кофе в руке:

— А ну марш отсюда, проказницы, не мешайте отдыхать дяде!

— Вот кофе, уважаемый!... Марш, марш отсюда, а то не получите сладкого! — и они бисто упорхнули.

— Проводи меня к сыну Сатеник! –встал Аршаруни.

— К сыну Сатеник? Да зачем вам это ... — несколько смутилась хозяйка.

— Я сказал, проводи! – нахмурился хмбапет.

От неожиданности кофе пролилось на пальцы женщины, и на лице ее мелькнула злоба, впрочем, тотчас сменившаяся слащавой улыбочкой.

— Ну, уж если господин так хочет, так хочет...

Они вышли из веранды в сад,

— Сказать по правде, должна предупредить — очень странный мальчик, очень странный... очень, очень! По-моему, у него ,как и у матери, что-то с головой, – приговаривала хозяйка, пока они шли. Скоро очутились у крошечного сарайчика в углу двора.

На двери висел замочек.

— Вы что, его как в тюрьме держите?

— Что вы, что вы! Мать сама так распорядилась, когда на рынок уходила.

Хозяйка порылась в многочисленных складках черного платья и вытащила связку маленьких и больших ключей. Она попробовала один, другой – очевидно, на каждую комнату у нее был свой отдельный ключ.

Гурген не стал долго ждать — продел толстый палец в металлическую дужку и рванул так, что вылетели гвозди петель, на которых держался замочек, и дверь открылась.

Гурген вошел в сарай и в первый момент, с яркого солнца, ничего не увидел — А света что, здесь нет?!

— Ну как нет, а окошечко?

Действительно, под самым потолком было маленькое горизонтальное окошечко.

Присмотревшись, Гурген увидел практически пустое помещение с земляным полом без стола, стульев и кровати – лишь с узлом вещей и двумя скатками матрацев, на одном из которых, в углу, сидел худенький бледный мальчик. Кажется, он испугался внезапному появлению людей и сжался, как зверек.

— Да так не родственников, а скот держат! – удивился хмбапет.

— Ну, они сами захотели... — нагло соврала хозяйка.

— Сами? – насмешливо и угрожающе оглянулся на нее Гурген. — А ты своей жирной задницей на сковородку сама еще ни разу не захотела сесть?

Хозяйка, опустив глаза, переминалась с ноги на ногу, как уличенная во вранье девочка.

Гурген сделал движение рукой:

— Выйди! Я сам с ним поговорю, без переводчика.

Хозяйка моментально исчезла, однако Гурген был уверен: остановилась у входа подслушивать. Впрочем, ему было все равно.

В открытую дверь вливался свет и заглядывала листва ветвей.

Гурген, не спеша, подошел к мальчику, грузно уселся рядом с ним на свернутый матрац и протянул ему ладонь:

— Гурген... А тебя как зовут?

— Тигран, — белая тонкая мальчишеская рука утонула в волосатой лапе.

— Вижу, тебе не очень весело здесь приходится?

Тигран пожал плечами и отвел глаза.

— Это что у тебя? – спросил Гурген. Перед мальчиком лежали два ряда камешков – белые и темные.

— Это Сардарапатская битва! Это наши – указал он на белые камешки, — а это – турки, — указал он на темные.

— Вот как! – оживился Гурген. — А ты, оказывается, боец? Вместе с турками будем воевать?

— Конечно! – радостно воскликнул мальчик.

— А хочешь, я тебе настоящий пистолет покажу? – потянулся к кобуре Гурген и вытащил маузер.

Глаза мальчика заблестели.

— Возьми, только осторожно, ни на что не нажимай...

Тигран взял двумя руками рукоятку:

— Ух-ты, какой тяжелый!

— А дай я магазин сниму, тогда легче будет.

— А сколько в нем пуль?

— Патронов? – рассмеялся Гурген. – Десять! – самая современная марка, немецкая!

— Теперь даже одной рукой можно удерживать! – впервые улыбнулся мальчик, поднял маузер и наставил в дверной

проем.

— Здорово!

— Значит, пойдешь ко мне в отряд?

— Конечно!

Недалеко в саду раздались женские голоса.

— Мама вернулась! – просиял Тигран.

На мгновение в сарае потемнело. Сатеник птицей бросилась к сыну и выхватила из его рук пистолет.

— Это не игры, не игры! – тревожно закричала она, возвращая пистолет Гургену.

— А что? – удивился Аршаруни. – мальчику интересно.

— Хватит, хватит убивать! – Сатеник закрыла лицо руками. Однако через мгновение взяла себя в руки, открыла лицо и взглянула на хмбапета, села на узел с вещами.

— Я хочу, чтобы он доктором стал, людям помогал.

Они некоторое время молчали.

Гурген спрятал маузер в кобуру.

— Я не хочу видеть у него в руках оружие! – грустно произнесла Сатеник.

Они еще немного помолчали.

— Собственно, примите мои извинения, что вчера... — начал было Гурген, однако Сатеник махнула рукой.

Они посидели молча. Сатеник неожиданно мелко закашляла, ударила себя в грудь, и кашель прекратился.

— Простыла? – Гурген попытался придать голосу заботливость, но сам удивился, насколько он оказался грубым и хриплым — голос привык к командам, окрикам, ругани, ору.

Пустяки, — отмахнулась она. — Пройдет...

Как ваша рана, кстати?

— Да ничего, грыжа только появилась...

— Это оттого, что у хирурга ниток больше не было сдвинуть мышцы... Он так и сказал – грыжа будет расти.  
— Ну, я специальный ремень сделал, так что никуда не денется! – усмехнулся Гурген. — Только я не затем приехал... Сатеник, можно с вами откровенно поговорить?  
Они прямо смотрели друг на друга и уже знали, о чем пойдет речь.  
— Зачем? – спросила она, но встала, как бы приглашая его с собой выйти, – ты, Тигранчик, немного нас подожди, хорошо?  
Они встали у кривой яблони.  
— Выходите за меня замуж, — сказал Гурген, — я знаю, вы не любите меня, но полюбите, я смогу вас с сыном защитить... Он хороший мальчик...  
— Я же вам говорила, что я замужем.  
— Но где ваш муж?  
Сатеник пожала плечами.  
— А если он убит, что скорее всего, что тогда? Будете до старости ждать?  
Сатеник пожала плечами снова.  
— А если окажется жив? Какой Грех!..  
— Вы лучше о мальчике подумайте, вас же здесь держат хуже, чем скот...  
— Я в Россию хотела перебраться, в Армавир, там сестра моя родная, за хорошим человеком замужем, зовет...  
— Но и в России теперь война!  
— Да, — кивнула она, — везде война, все с ума сошли...  
— Это все ваши вещи? – матрацы и узел?  
Сатеник молча кивнула.  
— А чем же вам помогают ваши родственники?  
— Я бесплатно у них работаю, мою пол, убираю... А вместо денег они отдают то, что после еды у них остается.  
Глаза Гургена оловянно блеснули:  
— Хотите, они на колени перед вами станут?  
— Не надо... Бог с ними...  
— Еще раз говорю, все будет по закону! – настаивал Аршаруни.  
— Да где ж вы найдете священника, который согласится венчать женщину, у которой то ли есть, то ли нет мужа?  
— Найду! Сегодня же!  
Гурген вернулся в сарай:  
— Ну, Тигран, отправляемся с мамой ко мне в отряд.  
— Ура! – подпрыгнул мальчишка.  
Гурген взвалил на себя оба матраца, Сатеник — мешок с вещами, а Тигран свалил в коробочку камешки, и они двинулись на улицу. Из дома никто не вышел, но занавески веранды пугливо шевелились.  
Когда подошли к пролетке, Месроп сладко спал в тени поднятого тента.  
— Месроп! – рявкнул ему в ухо Гурген. – Лошадей украли!  
Месроп вскочил, сонно озираясь, вызвав смех хмбапета и мальчика.  
— Знакомься – мой сын Тигран и жена моя Сатеник!  
— А к вам я еще приеду! – прокричал Гурген в сторону зашторенных окон, потрясая кожаной плеткой.

## ЛОДКА САТЕНИК

Гурген желал бы устроить великий пир, но Сатеник резко восстала: «не впервые женимся, чтобы в эти игрушки играть!». Все прошло не по армянским понятиям — предельно тихо и скромно. Конечно, дело было, главным образом, в том сомнении, которое постоянно грызло ее: а если каким-то чудом там, на германском фронте, муж спасся?.. Но вспомнились и ненароком обороненные слова матери: «женятся, дочка, не по любви, а для того, чтобы выжить и дать потомство». А они с прапорщиком Завеном женились по любви. Он писал ей с фронта много писем, которые хранились в ее вещевом мешке. С семнадцатого года, после развала фронтов и начала Смуты в России письма перестали приходить — никаких вестей! Уже два года ждала. Знать бы хоть — убит ли, выжил... Хуже всего — неизвестность: и не вдова, и не замужняя — как подвешенная... А может... — кулачки от этой мысли невольно сжимались — приглядел себе давно другую, русскую, белокурую там, в России, а ее и сына забыл?... Она гнала от себя эти внушенные дьявольским шепотком мысли, крестилась и читала молитвы.

Не было радости на ее лице во время свадьбы, лишь иногда она грустно улыбалась и покашливала. Даже подвенечное платье она наотрез отказалась себе покупать: только белую ангорскую шаль приняла от Гургена, как свадебный подарок. Зато Гургена она попыталась лишить военного обличья и впихнуть во фрак, который треснул по швам в плечах во время примерки. На том и порешили: каждый будет при своем: он во френче, галифе, сапогах, она в сереньком чистом платье со скромным серебряным монисто и в его шали.

Венчал их в маленькой церквушке на окраине города старенький маленький священник. Когда сходили по ступенькам, отряд Гургена, выстроившись в две линии, все же устроил им сюрприз — торжественный проход под скрещенными саблями и с веселыми песнями.

А садясь в пролетку, где их уже ждал Тигран, Сатеник неожиданно раскашлялась, приложила белую шаль к губам, а когда отняла, Гурген увидел на ней пятна крови.

«Чухотка!» — в ужасе подумал Гурген, и она, встретив его испуганные глаза, виновато улыбнулась: «Это за грехи мои!»...

— Какие такие грехи! — взорвался он. — Сколько видел здоровой сволочи — и ничего!!! Клянусь, я тебя вылечу! На следующий же день Аршаруни повел Сатеник к лучшему доктору в городе.

Толстый, пожилой, в очках и в белом халате, он, предварительно раздев до пояса, долго крутил ее, выстукивал толстыми мягкими пальцами, слушал через деревянный стетоскоп, и лицо его ничего не выражало.

— Одевайтесь, — наконец объявил и пошел мыть руки.

Когда Сатеник вышла в коридор, и Гурген протягивал ему деньги, он, положив их себе в карман, поднял глаза на Гургена и как облил кипятком:

— Больше месяца не продержится, уважаемый — левого легкого уже почти нет!

— Что можно сделать? Я сделаю все, что могу! — прохрипел Гурген.

Врач ненадолго задумался.

— Лекарств у нас в Армении нет... Бывают, конечно, чудеса... Ну, конечно, свежий воздух... Не тот, что здесь, в долине, — пыльный, едкий... А где-нибудь на Севане, возможно, козье молоко пить, мед кушать... Организм молодой — может, и вытянет...

Через день отряд провожал командира и его новую семью на Севан — «В свадебное путешествие».

Бойцы радовались и пили в духане Мамикона, удивляясь, однако, отчего у новобрачных такой невеселый вид, но ни один не высказал этого удивления вслух, зато многие подумали — может, в постели что-то не сладилось?

Вместо себя Гурген оставил спокойного, рассудительного Месропа с тем, чтобы каждые три-четыре дня отправлял к нему с отчетом о делах отряда Насима. Або был в бешенстве — он привык чувствовать себя после Гургена вторым, а тут какой-то Месроп-сапожник! Но вида не подал — лишь глаза зло заблестели, и улыбочка скривилась, будто уксуса хватил. А командир про себя посмеивался.

Фазтон долго катил вверх по дороге, петляющей между лысых пологих желтых гор.

Наконец показалось синее зеркало, и дохнуло прохладой.

— Севан! Севан! — радостно закричал мальчик, а взрослые заулыбались.

На острове, недалеко от берега, виднелись, словно выстроенные из детских кубиков, древние храмы. Они отражались в воде и будто плыли в какую-то сказочную страну.

— Здесь наш царь Ашот Железный разгромил арабов, — пояснил возница. — Ашот Железный с воинами на острове этом были, триста человек всего, а арабов сто тысяч, и они на лодках пытались остров захватить. А наши начали в лодки камни кидать, и все лодки потонули...

— Ух ты! — воскликнул мальчик. Ему представились богатыри, мечущие камни по вражеским лодкам.

— Когда это было, тысячу лет назад? — спросил Гурген.

— Нет, уважаемый, гораздо раньше, — возница прищурился, поглядев на небо, — тысячи полторы... Это для других народов тысяча лет — много, а для нашего и не мало, конечно, но и не слишком много — ни то ни се...

Щелкнула плетка, лошади пошли быстрее.

Пустынные горы противоположного берега уходили вдаль и истаивали, сливаясь с водой и небом в сплошной бледной голубизне. Изредка пролетали чайки.

Здесь, в рыбацком поселке, они сняли у доброй старушки две комнаты с отдельным выходом в сад.

Рыбаки отправлялись на улов рано утром, и, когда Гурген и Сатеник просыпались, лодки возвращались, заполненные серебристой форелью.

Гурген и Тигран пекли на огне форель и поили Сатеник козьим молоком, как советовал доктор, но Гурген замечал, что она худеет и слабеет с каждым днем.

Сатеник все больше лежала на кровати и чаще кашляла кровью. Иногда он выносил ее, как ребенка, в сад или на берег озера полюбоваться закатом и чувствовал, как с каждым разом она становится легче.

— Это оттого, что мы всю зиму спали на земле в сарае, а дядя нас в дом не пускал, — говорил Тигран. — Лишь бы мама выздоровела!

— Она выздоровеет, выздоровеет! — успокаивал и его и себя Гурген и трепал мальчика по плечу.

Румянец на щеках Сатеник горел все ярче, и глаза блестели сильнее.

— Послушай, Гурген, — как-то сказала она, — я хочу покататься на лодке по озеру.

Гурген даже обрадовался, что у Сатеник наконец появилось какое-то желание.

На следующий день лодка причалила неподалеку от дома с дюжим гребцом.

Гурген одел Сатеник, укутал белой шалью шею.

— Возьми там, в узле, письма, — вдруг сказала она.

— Письма? — удивился он. — Зачем? — Он знал, что это письма первого мужа и немного ревновал, однако выполнил ее просьбу.

Взяв ее на руки, он донес до лодки, посадил поудобнее на корму, подложив подушку. На носу расположился Тигран, посреди гребца, а он рядом с ней. В руках у нее была пачка писем. О, как он теперь жалел, что неграмотен! Хотя без ее разрешения он и не посмел бы и притронуться к этой пачке!

Весла поднялись, опустились в голубой минерал озера.

— Тебе не холодно? — то и дело повторял он, кутая ее в захваченную бурку.

— Нет, очень хорошо! — говорила она. — Мне давно так не было хорошо!

Они плыли уже полчаса, и Гурген спросил, не пора ли возвращаться.

— О, мы только в начале пути! – рассмеялась она, и его почему-то продрал озноб по спине. – Гребни, гребец, гребни на самую середину озера...

Наконец они оказались на почти одинаковом расстоянии от двух берегов. И гребец Петрос рассказывал байки о том, как внезапно налетает ветер и тонут лодки.

— Вот здесь, — вдруг сказала она. — И рыбак перестал грести. — Разворачивайся.

Они поплыли назад, но теперь она доставала из пачки по письму и бросала в воду.

— Что ты делаешь? – спросил Гурген встревоженно. Возможно, в этих листках навсегда пропадала какая-то важная и для него тайна. — Ведь ты раньше любила перечитывать их!

— Бог прочтет! – отвечала она, бросая очередное письмо в голубую прозрачную воду.

Он не смог возразить. За лодкой тянулся длинный шлейф намакающих писем, которые больше никто не прочтет.

— Зачем же так? – спросил он. Во всем этом ему показалось что-то зловещее.

— Так надо, — только ответила она.

Ночью ей стало холодно. Он растопил печку, завернул ее в бурку и лег рядом, пытаясь согреть собою: он чувствовал, какое холоднящее у нее тело.

Перед тем как заснуть, она прошептала:

— Гурген, если ты хоть чуточку любил меня, позаботься о Тигране!

— Да ты что, умирать собираешься? Да все будет хорошо! – говорил он ей как можно убедительнее, сам себе не веря. Он долго не спал, прислушиваясь к ее дыханию: кашель и вправду в последние дни уменьшился. Потом тревожно задремал.

Ему приснился странный сон.

Он стоит на берегу озера, а Сатеник и Тигран стоят в лодке и, улыбаясь, машут ему руками. В лодке не было гребцов, ветер не дул, но она постепенно удалялась в смутные водные пространства. При всей незатейливости сна в нем было что-то такое кошмарное, что он взмок и проснулся: Сатеник не дышала. Лицо ее выражало спокойствие, и он почувствовал холод мертвого тела. Он попытался разбудить ее: погладил лицо, окликнул — нет! Не дышит!..

Поцеловал в родинку – осторожно, как целуют икону.

Поднявшись, вышел в соседнюю комнату, где ночевал Тигран. В темноте было слышно, как шумят волны расштормившегося озера.

Зажег керосиновую лампу, тихо разбудил Тиграна.

— Что? – спросил тот, сладко потягиваясь.

Гурген прижал палец к губам:

— Мама умерла!

Они схоронили ее на берегу, недалеко от озера, навалили сверху груды камней и закрепили крест с дощечкой, на которой грамотный рыбак написал краской: «Сатеник Аршаруни, урожденная Гаспарянц. 1892-1920гг.» А отпел ее священник с острова, из монастыря святого Карапета (каменщика).

После ухода священника они долго стояли, глядя на могилу и на озеро.

— Теперь ты будешь со мной! – положил Гурген руку на плечо мальчика. Он уже подумал, как быть с Тиграном. Постоянные походы в разные концы республики, бои, кровь – не для ребенка. Зато в городе жила добрая Гайкануш – та самая, которая отняла его, Гургена, от мертвых и теперь как родная. Ей он может доверить мальчика, как себе. Снимет для них уютный домик, а сам будет как можно чаще навещать их, помогать, защищать – он успел привыкнуть к Тиграну...

Однако когда они вернулись в Город, то обнаружили чудом дошедшее до них письмо из России, из Армавира: оно пришло на адрес кассира, а он переслал его в отряд Аршаруни с нищим мальчиком, которого за это хорошо накормили. Родная тетушка звала племянника к себе.

— Я поеду в Россию, к тете Софии, она была мне как мама! – заявил Тигран.

— Никуда ты не поедешь, а будешь жить здесь, у меня долг перед твоей мамой! – заорал Гурген. — Да и дороги в Россию сейчас непроходимы!

— Тогда я сбегу! На крыше вагона! – заявил Тигран. — Все равно ты меня с собой воевать не хочешь брать!

Тут уж хмбапет почесал затылок.

Вмешался Месроп.

— Слушай, Гурген, ну все равно ты его не удержишь, а там родной человек... Сам ты его в Россию довести не сможешь – по тебе сразу увидят, кто ты. Да и оставлять отряд надолго нельзя. Позволь мне выполнить эту задачу! Отряд, конечно, до России не доберется, и даже полк, а вот одному человеку с ребенком вполне можно...

Поразмыслив, крепко почесав голову, Гурген все же решил отправить мальчика в далекий Армавир в сопровождении честного Месропа.

Честный Месроп свое задание выполнил и вернулся аж только через три месяца и долго рассказывал потом о приключениях, которые им с Тиграном пришлось пережить по дороге в Армавир и ему самому на обратном пути. Их дважды грабили: в Тифлисе и в Абхазии, и оба раза выручало не оружие — кольт, который сразу же отобрали при первом ограблении, а довоенная профессия Месропа, профессия сапожника. Работая в Тифлисе и в Сухуме, ему удалось скопить немного денег, чтобы они могли двигаться дальше. А на обратном пути Месропа чуть было дважды не расстреляли: красные думали, что он грузинский шпион, а грузины думали – русский... Но оба раза он чудом спасся.

Когда Месроп вернулся, командир Гурген расцеловал боевого товарища и устроил в честь него пир.

Через полвека, когда Тигран станет известным московским хирургом, профессором, он посетит берег того озера, где умерла его мать, но и следа могилы ее больше не найдет, а остров с монастырями превратится в полуостров, легко доступный для туристов.

И ничего он никогда не узнает ни о судьбе вислоусого Месропа, ни о судьбе славного хмбапета Аршаруни с его замечательным маузером.

А про Ашота Железного он выяснил, нашел в книгах. Не совсем так было, как говорил возница: на острове было семь тысяч армян, а на берегу несколько десятков тысяч арабов, и они и в самом деле неоднократно пытались на лодках высадиться на остров, но всякий раз бывали отбиты. А потом ночью армяне высадились с острова на берег и разгромили арабов (странно, но тогда, когда он впервые услышал об этих событиях от возницы, он и не подумал про камнеметательные машины, которые, скорей всего, у армян были). Но сказка возницы про триста богатырей, мечущих во вражеские лодки камни, почему-то казалась ему все же правдивее исторических фактов: может, потому, что легла на душу раньше.

Так бывало не раз: событие передавалось из поколения в поколение в простом народе изустно, и каждое поколение чуть-чуть приукрашивало подвиг предков до тех пор, пока он, наконец, не стал мифом. Так было и с германским Зигфридом и его тысячью бургундцев, одолевшими сорок тысяч саксов, и с библейским Гедеоном тремя сотнями воинов разгромившим двадцать тысяч медианитян...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

# ПОРУЧИК ГАЙКАЗУНИ И ДРУГИЕ

### МОСТ

Прошло почти два года.\*

\* После Сардарабадского сражения, в котором армяне остановили турецкие войска и после объявления Арменией независимости.

Жарким полднем по тысячелетнему мосту под развалинами тысячелетней крепости, соединяющему две части города, брели навстречу друг другу два полускелета в лохмотьях – в прошлом, которое им давно представлялось как сон, люди уважаемые соседями, отцы детей – один бывший волостной писарь, другой бывший сельский учитель русской словесности. Они были уже не молоды, чтобы найти себе какую-либо физическую работу, а их грамотность и умение каллиграфического письма, их образование, никому не понадобилась в Городе.

Они встретились глазами посреди моста.

— Что там? – махнул один из них в сторону правого берега, куда направлялся.

— Голод, — ответил другой.

— А что там? – спросил в свою очередь другой, махнув в сторону левого берега.

— Голод...

Они мрачно усмехнулись, и каждый продолжил путь в ту же сторону, куда и шел.

Один из бывших людей, пройдя несколько шагов, вдруг резко свернул к каменному парапету моста, кряхтя от слабости, перелез через него. Пальцы, инстинктивно скрючившись, шаркнули по камню и исчезли.

Даже крика не было – лишь что-то вроде стона пронеслось над ущельем. И другой нищий, прошедший только что горб моста, даже не обернулся. Воображение его было слишком занято мощным образом дымящейся в глиняной миске похлебки, которую бывший человек надеялся получить в американской благотворительной миссии. Он даже не заметил, как чуть не натолкнулся на крестьянина, идущего с базара и ведущего за веревку ишака с пустым мешком.

— Эй, ты! – весело и зло воскликнул крестьянин, на всякий случай ухватившись за рукоятку ножа, висящего под поясом в кожаном чехле. – А ну, отойди, оборванец, а не то мой слон раздавит тебя! – Он считал себя шутником, этот крестьянин, и по привычке шутил по поводу и без повода.

Нищий покорно, не поднимая головы, чтобы не терять лишних сил, отступил, а крестьянин прошел дальше к середине моста, где образовалась небольшая группа людей, рассматривающих что-то внизу.

Там, на камнях, у речки, лежала маленькая человеческая фигурка: не было видно ни крови, ни повреждений – казалось, человек просто устал, прилег отдохнуть на берегу и вот-вот встанет.

И все смотрели, будто только и ожидая этого мгновения.

— Да, — сказал высокий мужик, слывший среди соседей тугодумом, — здесь не меньше ста метров будет!

— Какие сто – сорок! – деловито вмешался шутник.

— Да нет, все сто, — сомневался тугодум.

— А ты проверь, как этот, — усмехнулся шутник.

— Не-ет, — протянул тугодум, — я высоты боюсь. Смерти вот не боюсь, а высоты боюсь!

— Видать, совсем человека судьба скрутила, — сказал кто-то.

— Говорят, торговцы сегодня на рынке нищего мальчика убили за то, что грушу украл... А может, это его отец?  
— А что торговцы, да торговцы, без торговли вообще бы все развалилось. Торговцам и самим – хорошо, если хоть на родственников хватит. А таких нищих беженцев сколько по Армении бродит. Всех голодных не накормишь!  
— Ц-ц-ц... и куда правительство смотрит?  
— Э, да что оно дало, правительство, народу за два года? Так же бедствует...  
— Говорят, американцы скоро миссию в Городе откроют и каждому голодному по миске супа в день будет положено!  
— Всех не накормят.  
— А я скажу, не жалеть надо, а гнать эту нищету, если беды на своих навлечь не хочешь... Недаром в народе говорят: «Беда беду тащит!» Теперь каждый сам за себя. Такое время!

Рядом остановилась пролетка. Из нее вышел грозного вида хмбапет в английском френче, каракулевой папахе, с маузером на боку, и все уважительно расступились. Помахивая витой кожаной плеточкой, хмбапет \* подошел к краю моста, заглянул вниз, потом обернулся:

---

\* Хмбапет – начальник хумба, дашнакского отряда.

В Армении в 1918-1920 годы существовала как регулярная армия, так и не подчиняющиеся генштабу многочисленные вооруженные формирования национальной партии дашнакцутюн. Офицеры регулярной армии, окончившие русские офицерские училища, пренебрежительно относились к малообразованным хмбапетам и их сотоварищи, хмбапеты же не любили офицеров регулярной армии, считая их «ненастоящими» армянами.

---

— Ну что собрались, бездельники? Мертвого не видели?..

Он двинулся к пролетке и взмахнул плеточкой:

— А ну расходишь, расходишь: мост старый, а любопытных много! У вас что, дел нет? А ну идите к своим бабам!

Потупившись, мужики двинулись – кто на правый, кто на левый берега.

А хмбапет, садясь в пролетку, лишь усмехнулся:

— Ну, любопытные! Сущие бабы!..

## СНОВА «КОВЧЕГ»

Но мы были бы не вполне правы, согласившись с утверждением, что за прошедшие два года независимости ничего не изменилось в Армении в лучшую сторону. Все-таки кое-кто стал жить получше. В частности, мы можем порадоваться за духанчика Мамикона: с тех пор как больше года назад Аршаруни со своим отрядом отбыл в неизвестном направлении, дела его стали потихоньку поправляться, и он даже уже успел компенсировать убытки, нанесенные ему постоем отряда. Вновь, как и прежде, один за другим, его заведение начали посещать приличные уважаемые люди: вернулись постоянные клиенты – булочник, торговец коврами, кассир вокзала, машинист, доктор, фотограф, гробовщик и, конечно, обожаемый женой парикмахер «душечка» Ениколоп!

И дочка к тому времени у него была неплохо устроена: у гробовщика. В ней открылся дар делать прекрасные искусственные цветы. Она искренне любила покойников за их мудрую бессловесность и абсолютную предсказуемость, любила украшать их цветами, гримировать... Из церкви ей пришлось уйти год назад после скандала. По своей наивности тридцатилетняя девственница вдруг стала расспрашивать пожилого батюшку, в чем заключается половое отличие между мужчиной и женщиной и как происходит зачатие. Батюшка пришел в неописуемый гнев, покраснел, накричал на нее и выгнал. Ну и ладно – нет худа без добра.

В тот полдень, примерно тогда, когда с моста уронил себя человек, духан Мамикона был заполнен так, что не оставалось ни одного свободного места, и он, потный и довольный, в кожаном фартуке, рвущийся угодить каждому, метался от кухни, где хозяйствовала жена, к столам, разнося еду и напитки. Двенадцатилетний мальчишка из дальних родственников помогал ему, постоянно получая от хозяина и хозяйки подзатыльники, от которых у него звенело в голове и помещение шаталось, как корабль во время шторма.

Шумно и накурено было в это обеденное время в духане Мамикона. За каждым столом шла своя беседа. Мамикон бегал между столиками, ловя обрывки разговоров. И меню по нынешним временам было совсем неплохое: и свинина, и баранина, и рис, и картошка, фрукты, вино и пиво, чай и даже кофе... Травы для приправ, соусы, лаваш и брынза...

Около окна за столом сидели трое – доктор Захарян, офицер в чине поручика\* и незнакомый проезжий сельский священник. Доктор шевелил газетой.

---

\* В армянской армии (1918-1920г.) сохранялась система чинов и званий, существовавшая в русской армии.

---

— Ну, что там пишут? – робко спросил священник.

Доктор посмотрел на него из-под очков:

— Ну, в общем, по Севрскому мирному договору мы должны получить все наши земли и выход к морю... В Стамбуле был суд над организаторами резни армян. Приговорены к смертной казни – правда, заочно. В общем, Антанта на нашей стороне...

— Слава Богу, — перекрестился священник. — Я знал! Я знал, что это наконец случится! За все тысячелетия страданий Господь наконец должен смилостивиться над нашим народом! — Есть в мире справедливость! Есть!..

Неожиданно офицер отложил ложку и прямо посмотрел сначала на доктора, потом на святого отца.

— Должен Вас огорчить, уважаемый святой отец, все вовсе не так безоблачно, а газеты разжевывают протухшие новости...

— В каком смысле?

— Национальное собрание Турции отвергло договор.

— Но ведь державы-победительницы все равно заставят Турцию...

— Это еще как сказать. Некто генерал Кемаль наступает, а союзники отступают... И по сведениям из генштаба, этим Кемалем готовится новое нападение на Армению и, кстати, по взглядам на судьбу армян он ничем не отличается от своих «славных» предшественников младотурков...

— Как так, но как они могут воевать — они же разбиты... И оружие откуда у них? — удивился доктор.

— О, с этим у него проблем уже нет — товарищ Ленин поставляет в изобилии...

— Вот как, — помрачнел святой отец, — не дай Бог, не дай Бог... — он даже перестал жевать и отложил свой скромный обед — кусок брынзы с кинзой, завернутые в лаваш.

— У противоположной входу стены располагалось небольшое возвышение, своеобразная эстрада.

— Уважаемые господа! — громко объявил взобравшийся на эстраду Мамикон. — Наше общество посетил хорошо известный поэт и патриот Драстамат Балабян. Он согласился прочитать свое последнее произведение, поаплодируем ему... — Мамикон отступил, хлопая в ладоши, в зале раздались редкие хлопки и на сцену галопом вбежал длинноволосый кудрявый мужчина в клетчатом костюме и с белым шарфом на шее.

Он поклонился публике и, выбросив вперед руку, выкатив грудь колесом, стал громогласно декламировать:

Армения! Ты вновь задыхаешься

Как тигр на тебя враг бросается!

Удавом обвивается!

Армения моя, кто поможет тебе?

И лев и орел на твоём гербе!

Офицер поморщился: «Прямо зоопарк какой-то!

Поэт проревел еще пару строф в том же духе и закончил так:

Твой Арарата стяг веками будет сиять,

И твердость духа не сломить никому —

Клянемся тебе, родина мать,

Куда захочешь, сможешь нас послать!

— Вот тебя бы и послать, куда надо! — раздраженно и довольно громко бросил поручик, а доктор прыснул в кулак от смеха.

— Боже, какая бездарность! — офицер в изнеможении откинулся на спинку стула, расстегивая верхние пуговицы кителя. — Да это же какой-то армянский Лебядкин!

— Ну что ж, люди слабы, — пожал плечами, усмехаясь, снисходительный к человеческим слабостям доктор.

— Ну хоть искренне, — грустно заметил священник, во всех явлениях всегда склонный выделять хоть что-то положительное.

— Искренне?! — возмутился офицер. — Знаю я уж эту искренность! Я тут третий раз обедаю, и каждый раз вынужден выслушивать одну и ту же галиматью. И за эту, с позволения сказать, «искренность» ему сейчас нальют вина и дадут хорошую котлету! В то время, когда другие, «менее искренние» дохнут с голоду! Вы знаете, хозяин специально держит этого идиота для привлечения клиентов.

— Но и вы от пищи земной не отказываетесь, — попытался возразить священник, скромно пощипывая лаваш.

— Во всяком случае, мы не притворялись и под пули ходили, — офицер снова поднял бокал и глотнул красного вина.

Однако, речи офицера потонули в аплодисментах, а Ениколоп даже вскочил, колотя громче всех ладошами и закричал: «Браво!»... Лоснящийся от удовольствия пиит, улыбаясь, раскланивался публике. А гробовщик и фотограф уже махали руками, приглашая неслыханное дарование за свой стол. Драстамат плавно, закинув за плечо длинный шарф, спустился вниз и присел за их столик, где фотограф уже наливал ему вина.

— Ты настоящий армянин! Настоящий! — хлопал его по плечу Ениколоп.

Поручик поманил Мамикона. Хозяин не заставил себя долго ждать.

— Что угодно господину офицеру? — лицо его так и сияло.

— Послушай, хозяин, я офицер, поручик, воевал под Сардарабадом. Меня зовут Григорий Гайказуни. Так вот, дорогой, если я еще раз приду и увижу вашего так называемого поэта, я его застрелю!

Глаза у Мамикона удивленно округлились:

— Неужто господину офицеру не понравилось?! А я бы так сочинить не смог...

— Торговля всем миром движет! — объяснял собеседникам, машинисту и кассиру, купец. — Без торговли люди бы так из пещер и не вылезли! Вот Англия — почему великая держава? Потому что торгует со всем белым светом! А какая торговля нынче в Армении? — редиску купил — луковку продал... Раньше я в Петербург вино поставлял, к

императорскому двору! Вот жизнь была, вот размах!... А сейчас с кем торговать? – С севера Грузия блокирует товары, на востоке Красная Армия стоит, с юга – Турция... да и кто наши деньги принимает?

Вот вы, уважаемый, — обратился купец к машинисту, — неделю назад в Тифлисе были, как там с торговлей?

— Торгуют повсюду, везде и все – от кинто до офицеров.

— Вот видите? У Грузии есть будущее! Они через море с кем хочешь будут торговать и выживут! С той же Англией, к примеру! А нам что остается? – Только в пещеры залезать!

Купец немного скромничал: у него был знакомый интендант, который продавал ему со склада партии сапог или обмундирования, а купец все это перепродавал с неплохой для себя прибылью. А теперь он, прослышав об американской гуманитарной миссии, подумывал о том, как бы завести «полезное» знакомство, чтобы через него получать продукты и поставлять их по духанам, тому же Мамикону! Но натура его требовала большего дела и размаха, и именно по такому делу грустил.

Кассир все больше молчал, жадно поглощая содержимое тарелки, люля-кебаб с макаронами – он был молчаливым человеком: у него были свои секреты, которыми он ни с кем не желал делиться.

— За Великую Армению! – вставая, возгласил Ениколоп, так, чтобы все слышали. В руке у него была чаша с вином. Фотограф, гробовщик и поэт немедленно встали вслед за ним, поднимая свои чашки.

За столиком, по соседству с тем, за которым находился офицер, ближе к двери, располагалась компания из четырех человек: двое, судя по виду – путейские рабочие, и двое неизвестных. Они почти ничего не ели – пили чай с сахаром вприкуску. О чем-то тихо переговаривались, а в основном прислушивались к тому, кто и о чем говорит, наблюдали за посетителями. Особенно выделялся один из них – в кожаной куртке, с глазами, будто льющими плавленный свинец из-под лохматых сросшихся бровей. Мамикону показалось даже, что он где-то видел эти глаза, но не мог вспомнить сразу.

— Иди к нам, Мамикон, – позвал гробовщик, — выпей и немного поговори с нами, передохни от суеты житейской – мальчик посмотрит за делом!

Мамикон, улыбаясь, подошел к своим давним друзьям.

— Наконец-то к тебе как и прежде можно ходить, как только эти бандиты съехали, — сказал Ениколоп. – Кстати, а ты не знаешь, где они сейчас?

— И знать не хочу, будь они прокляты, разорители! — Глаза у Мамикона сердито заблестели.

— Да, мы свидетели, сколько пришлось перетерпеть с этим Аршаруни нашему бедному Мамикону! – посочувствовал гробовщик.

— Ох, всю кровь мне отравил! Всю кровь отравил, сволочь такая! — закатил глаза к потолку Мамикон, — Господи, сделай так, чтоб их чума взяла! Особенно этого Гургена! Будь он проклят навеки! Чтоб черти на его и его шайки могилах плясали! – Бедного Мамикона даже слегка затрясло.

Никто не заметил, как при упоминании об Аршаруни человек в кожанке со свинцовым взглядом стал особенно внимательно прислушиваться к разговору.

— Так за это и выпьем, Мамикон джан! – возгласил, вставая, фотограф, — мальчик, вина хозяину!

Гробовщик, кассир и Ениколоп снова встали, стоял и Мамикон с полтенцем через плечо, с наполненной кружкой.

— За нашего друга Мамикона!

В этот момент дверь в духан открылась и в ней появился человек, при взгляде на которого глаза у Мамикона округлились, чуть не вылетев из орбит, нижняя челюсть отвалилась, рот приоткрылся.

На пороге стоял человек в каракулевой папахе во френче, слегка похлопывающий витой кожаной плеточкой себя по бедру и, сощурившись, вглядывался в пространство, ожидая, пока глаза привыкнут к полусвету прохладного духана после ослепительного солнца.

— Вай, Гурген джан, а мы как раз собирались пить за твое здоровье! – радостно вскричал заметно побледневший Мамикон. – Заходи, заходи, дорогой, мы так соскучились, где же ты пропадал?

Человек, усмехнувшись, размеренным тяжелым шагом не спеша прошагал к Мамикону.

— Ну, здравствуй, здравствуй, мой маленький! – ухмыльнулся он. – Я и не знал, что в мыслях ты до сих пор так заботишься о моем здравии! Ну вот и я!

Он огляделся:

— Мы эти полтора года воевали то с курдами, то с турками, то с татарами у Аракса, потом снова с курдами и турками... Кстати, как я вижу, дела у тебя идут неплохо, народ к тебе ходит...

— Да какие уж там дела... — пригорюнился (и совершенно искренне) Мамикон.

Тем временем человек в кожанке и сидящие за его столом наклонившись друг к другу, негромко и оживленно перешептывались. А компания с гробовщиком немо и изумленно таращилась на неизвестно откуда явившегося хмбапета, которого в мыслях уже похоронили.

Человек в кожанке медленно встал, видимо, собираясь уйти. На мгновение он оглянулся и взгляд его встретился со взглядом Гургена, и одновременно в руках у них появилось оружие – у незнакомца кольт, у Гургена маузер. Встреча, видимо, для обоих оказалась совершенно неожиданной.

— Брат Петрос! – в удивлении вскричал Гурген.

— Да, это я, брат Гурген, не двигайся.

— Будешь стрелять в своего брата? – ухмыльнулся Гурген.

— Буду!

— Не спросив о судьбе матери и отца? – глаза Гургена стали наливаться кровью.

— Что с ними?

— Я их схоронил, Петрос, я их схоронил, а не ты...

— Я бы сделал то же самое...

— Но не сделал!

Все присутствующие замолкли, замерли и с опаской, готовые при стрельбе сразу слезть на пол и залечь, смотрели на происходящее. Один лишь офицер, спокойно отложив взятую у доктора газету, всматривался в происходящее с веселым любопытством.

— Я бы сделал, повторяю, но я не мог...

— Понимаю, ты был слишком занят своей революцией!

— Ни слова про революцию! – оскалился Петрос. — Лучше не искушай меня сделать выстрел первым.

Неожиданно Гурген опустил маузер и спокойно убрал его в кобуру.

— Уходи, Петрос, я даю тебе уйти. Будем считать — это последняя наша мирная встреча. Давай так договоримся: если мы снова встретимся, кто-то из нас будет убит!

— Хорошо! – сказал, пятась, Петрос, переводя пистолет то на Гургена, то на сидящих в зале, — Я уйду, но со мной уйдет и наш человек.

При этих словах из-за стола, где он только что сидел, быстро выскочил человек, внешность и одежду почти никто не смог запомнить, и они исчезли, хлопнув дверью.

Гурген, ухмыльнувшись, повернулся к Мамикону, так же столбом стоящему с полотенцем через плечо и кружкой. Да, теперь Мамикон узнал эти льющие свинец глаза и мохнатые брови.

— Вот и встретились два брата... — произнес Гурген. — Вот уж не знал, Мамикон, что у тебя так вольготно чувствуют себя большевистские шпионы!

— Я? Да откуда мне было знать... — бормотал растерянный Мамикон.

Гурген выхватил у него из рук кружку и мигом осушил.

— А эти двое, — зашумели присутствующие, показывая на сидящих за столиком у двери, — кто они...

— Это рабочие путейцы, я их знаю, — засвидетельствовал тут же машинист. — Кто эти люди, с которыми вы сидели?

— Мы их не знаем, мы их впервые видели! – твердили путейцы.

— Врут, собаки! – усмехнулся Гурген. – Я бы их расстрелял.

— Господин офицер! – взмолился Мамикон. – Арестуйте их и выясните!..

Офицер лениво зевнул, прикрывая рот рукой.

— Арестовывать шпионов – не моя работа... Тем более, — усмехнулся он, — лезть в чужие семейные дела.

Послышался короткий возмущенный гул, рука маузериста\* дернулась к кобуре, но офицер уже уткнулся в газету. В отличие от других, он слышал о каких-то тайных переговорах политиков с красными и не желал вмешиваться в эту «грязь».

---

\* Маузеристами называли вооруженных дашнаков.

---

А Гурген вновь повернулся к хозяину духана.

— Ну что ж, Мамикон, как видишь, мы тебя не забыли. Сегодня вечером придут мои солдаты, по распоряжению штаба ты их накормишь.

## МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНОЙ

Предчувствия не обманули поручика Григория Гайказуни. То невидимое, что зрело, проявляясь в туманных намеках, шепотке, как сквозняк ползущем по штабу через коридоры и кабинеты, проявилось наконец: офицеры уже громко и открыто обсуждали между собой тему вливания армянской армии в красную, явно намекая на некоторые тайные переговоры политиков, на переговоры с Леграном и данные большевиками армянскому офицерскому корпусу гарантии.

«Против турок, в одиночку, мы не удержимся, слишком силы неравны. Так пусть уж лучше красные, чем турки. Царская или красная – все Россия! Другого выхода нет, у нас союзников, как у грузин, нет – у них сначала немцы, потом англичане – у нас теперь на Россию одна надежда!...»

Бывшие денкиинцы (их было немного) или, бледнея, отходили в сторону или, зверея, вступали в жаркие неравные споры.

Свидетелем одного из таких споров сподобился быть наконец и Гайказуни.

Группа молодых офицеров обступила бывшего денкиинца, поручика Тер-Гукасова, опирающегося на дорогую трость с черной рукояткой в виде оскалившегося дракона. Одна нога из-за попавшего в колено осколка во время боев в России совершенно не сгибалась.

— Да вы не знаете, что такое чека! – почти кричал он. – Вам обещал Легран, что вас не тронут, а вы, дурачье, и поверили! Врут они все, врут: слово для них ничего не стоит – всех вас и ваших друзей, с кем вы чай пьете, расстреляют, семьи возьмут в заложники, невест и жен изнасилуют!

— Но мы не принимали никакого участия в Белом движении! За что же нас расстреливать?

— Да за одно то, что вы бывшие царские офицеры!

Молодые офицеры прятали улыбки: уж очень нескрываемой была ярость у этого инвалида с бешено расширенными зрачками.

— За что ж нас расстреливать? Это просто смешно. Разве не разумнее использовать нас как профессионалов, военных специалистов?

— Вы ждете от большевиков какой-то разумности? Ха-ха! Да это бешеные собаки: одна покусает десятерых!

— Это вы говорите так, потому что сами воевали против красных...

— Идиоты! – деникинский офицер грохнул палкой в паркет пола. – Ну, ничего, вот придут они, тогда сами поймете, только поздно уже будет! – Он развернулся и зашагал прочь.

— Молокососы! – рычал сквозь сжатые зубы, проходя мимо Гайказуни.

— Да он сам как бешеный! – сказал кто-то из офицеров.

— Он обозлен, не в себе, я слышал, его мучат постоянные боли после ранения, – сказал другой.

— И он постоянно ходит к доктору Захаряну за морфием, — добавил третий.

— Да. Да, — сочувственно закивали остальные, – его можно понять.

Гайказуни молча слушал спор, явно сочувствуя деникинцу: он слишком хорошо помнил трупы офицеров на Невском в 17-м году, орды озверевшей пьяной солдатни, и то, как в 17-м году они с Федькой Дубасовым, произведенные по ускоренному выпуску в подпоручики, пытались удержать казармы своего юнкерского училища от разъяренной вооруженной толпы матросов и как, скатав пожалованное училищу императором Александром Третьим знамя, отстреливаясь, им чудом удалось бежать через черный ход.

И от этих пахнувших нафталином провинциальных рассуждений о какой-то «разумности», когда вокруг бушует одно безумие, у него задергалась щека, и он поспешил уйти. Он знал, что большевики настолько иррациональны в своей жестокости, готовности решать любые вопросы лишь насилем, что сама эта жестокость принимает какой-то ирреальный характер.

Гайказуни вышла из штаба и, понуриив голову, побрел домой к Елене навстречу новым истерикам и скандалам. Он нашел эту женщину в Тифлисе — жену умершего от гангрены ноги генерала, и она вцепилась в него как кошка в дерево. В Тифлисе он нашел много знакомых и дальних родственников, однако его несло дальше на прародину и ранней весной, в канун Сардарабада, они поездом попали в Армению, с ее пятью чемоданами нарядов и маленьким чемоданчиком его личных вещей.

## ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Они снимали две комнаты в довольно просторном доме с садом на окраине города, принадлежавшем купцу, который давно отбыл с семьей в Тифлис. За домом присматривали дальние бедные родственники купца: старик и старуха. Старуха готовила еду, а старик зимой топил печку, а летом целыми днями сидел в саду и непрерывно курил трубку. Они почти не разговаривали ни между собой, ни еще с кем-то, и Гайказуни не расспрашивал их ни о чем, опасаясь разворошить чужое горе.

В саду пахло осенью. Гайказуни с тяжелым сердцем поднялся на крыльцо, открыл дверь и, пройдя через веранду, вошел в комнату.

Елена, как обычно, сидела напротив зеркала, на сей раз в роскошном синем платье, и внимательно себя рассматривала (сколько у нее этих платьев, Гайказуни не запомнил, она меняла их почти ежедневно, и ему всегда казалось, что платье новое, а она жаловалась, что осталось одно старье, а здесь ничего приличного не сыщешь). Она могла сидеть так до двух часов и более, и Гайказуни начинало всерьез казаться, что она слегка тронулась умом.

Она даже не повернулась при появлении поручика (достаточно того, что увидела его в зеркале). По всей видимости, она, как обычно, проснулась недавно и долго не вставала: кровать была смята, на подушке лежал любовный французский роман, который он достал ей недавно.

— Здравствуй, дорогая! – Гайказуни старался говорить как можно более беззаботно и дружелюбно.

Елена молчала, и это был плохой признак.

— Здравствуй! – повторил он, моментально зверея.

— Ну что? – послышалось холодное вместо приветствия.

— Что: что?

— Я тебя хотела спросить «что». Что дальше?..

Этот вопрос теперь она задавала едва ли не каждый день.

Гайказуни возмущенно пожал плечами, прошел в комнату, снял китель, оставшись в белой рубашке.

— Новости не очень хорошие...

— Я не сомневалась.

— Ты говоришь так, будто от меня зависит мировая политика и вся эта дребедень с революцией!

— Какое мне дело до политики, какое мне дело до революции всякой! – огрызнулась она. – А что сделал для меня ты? Да, лично ты что сделал? Обещал Париж, а завез в эту проклятую дыру!

— Эта, как ты выразилась, «дыра» — моя родина! – Он уже был готов дать ей жесткий отпор, под кожей заходили желваки, но вдруг увидел самое страшное – по ее щекам текли слезы!

— Ну что ты, что ты! – кинулся он к ней, попытался обнять, но она отстранилась. – Ну, хочешь, я организую еще один пикник. Поедем на фаэтонах за город. Будут офицеры с дамами... Среди гор, на берегу речки... Только ты не будешь строить глазки этому бездельнику Анушавану!

— Среди гор, на берегу речки, — передразнила она его. — Не могу ж я одеть туда свои лучшие бальные платья! А твой дурак Анушаван меня совсем не интересуется...

— Но ведь были и балы... — осторожно заметил он. — О ресторанах он и не заикался — на них они уже давно успели просадить весь тот небольшой капитал, который был у него.

— Да, это называется у вас так — балы? Одна солдатня, вчерашние крестьяне — женщин почти не видно, а на тех, что присутствовали, без слез не взглянешь! Да и то всего-то пару раз почти за два года!

— Да, с этим здесь трудновато... Если не думаешь, кого приглашаешь на танец, можно и пулю схлопотать... — пробормотал он, опустив голову. — Ну, уж такие здесь нравы: на Кавказе пируют мужчины... Зато ты со всеми перетанцевала!

— «Со всеми перетанцевала!» — вновь передразнила она. — Ах, никто не может понять моих страданий в этой дикой стране! Целыми днями сидеть в этих комнатах, как в карцере, примерять старые наряды, в которых можно появиться лишь в зеркале. Здесь даже дамских приличных портных нет! А время идет. Я старею. Боже, как мне одиноко! Я так остро чувствую каждую капельку уходящего времени!

— А я? Я ведь с тобой! Ну что ты хочешь, дорогая?

— Хочу в Тифлис, — надула она губки. — Там веселее, а здесь из дома выйдешь — труп лежит. Нет, твоя Армения — это место, где люди не живут — это место, где они умирают... Кому это понравится?

— Ну, хорошо, хорошо, мы поедem в Тифлис! Только не сейчас, только немного утрясется, — бормотал он, обнимая ее, сам не веря в то, что говорит. Какое там «утрясется» — по всем признакам главная и, видимо, финальная заваруха только начинается!

— Не верю! Не верю! — взвизгнула она, отпрянув. — Сколько раз ты уже обещал!

— Ну, миленькая, ну хорошая, — снова обнимал он ее, как капризного ребенка, сам ненавидя себя в эти мгновения за слабость, — а что у меня есть? У меня есть бутылочка хорошего вина!

— Не верю... Не верю... — она уже начала постанывать в его объятьях, тело обмякло. И в этот миг, когда взгляд ее слегка помутнел от желания, он отпустил ее, и через минуту на столе перед зеркалом оказалась бутылка хорошего красного вина и бокалы.

— Ах, — сказала она, грустно улыбаясь, взглянув на зеркало — теперь нас четверо...

— Ну, вот видишь, я же обещал тебе компанию!

— О, как мне тоскливо, когда тебя нет! — тянула она, вот — вот готовая зарыдать.

— Но я здесь! — он крепко обвил ее тонкую руку.

— А время течет в никуда... — покачала она головой, косясь на зеркало. — Так хочется в Петербург...

— Петербурга нет, России нет! — мрачнел он.

— Тогда куда-нибудь подальше... Я же светская женщина — так хочется общаться с себе подобными и равными себе. А здесь? — Солдаты, какие-то страшные мужики...

Они замолчали. Все было переговорено, переповторено между ними. Он обнял ее и повалил на кровать. Она вдруг остановила его:

— Давай поиграем в жмурки, завяжем друг другу глаза и будем искать по комнате, голенькими...

С каждым разом, чем безвыходней казалось их положение и исчерпанность отношений становилась все более очевидной, секс становился все более изощреннее и разнообразнее: ее фантазии разбухали, да и ему воображения было не занимать. И он чувствовал, как с течением времени все меньше пространства в нем остается для кристальной ясности духа, все более вытесняет его сознание какая-то липкая сахарная каша. Эта женщина, как сладкая отравка, проникала в него снизу, прорастала, как повилика, опутавшая ствол, опускала на четвереньки, завоевывала, делала животным...

Время остановилось, и где-то на самой его глубине они, измотанные друг другом, провалились в сон. Ему снилось, что, вырвавшись из душных джунглей, они плывут посреди прохладного озера и смотрят в голубое небо. Ей снился бал, настоящий бал, такой, какие бывали в кажущемся таким далеким прошлом, в Петербурге, в огромном зале, с зеркальными, уходящими в бесконечность анфиладами комнат, крутящимися великолепными парами — кавалерами с золотыми эполетами, орденами, дамами, блистающими драгоценностями. На ней было лучшее платье, и кавалер кружил ее в вальсе, и летели, сверкали, мелькали огни... Рука у кавалера была крепкая и мускулистая, но это был не Гайказуни — это она точно чувствовала, на мундире сияли ордена, на плечах эполеты — только лицо, будто в тумане, она никак не могла рассмотреть. Она сделала усилие, подняла голову и вдруг увидела вместо лица темные глазницы черепа, а то, что она принимала за сиянье улыбки, был смертный оскал.

В ужасе проснулась. В углу комнаты, во тьме, тлел далекий огонек лампы. Как учила ее в детстве бабушка-полька, от которой, говорили, она унаследовала красоту, помолилась про себя: «Матка Бозка, Ченстоховска...» — дальше не помнила и мысленно перекрестилась слева направо. Слышалось ровное и глубокое дыханье Гайказуни. Из темноты произрастала его костлявая волосатая спина. Снисходительно и презрительно улыбнувшись себе, она повернулась к нему спиной и тотчас вновь заснула.

Утром они одновременно проснулись оттого, что громко стучали в дверь.

— Поручик Гайказуни! Поручик Гайказуни! — слышался мужской грубый голос.

Гайказуни спрыгнул с кровати и, выхватив из висящей на стуле кобуры револьвер, подскочил к двери.

— Кто?

— Поручик Гайказуни! — орал человек. — Я фельдфебель Ашот Налбандян. Срочно в часть! Турки перешли границу, война началась! \*

\* Очередная агрессия турок в 1920 году, на сей раз согласованная с большевиками, результатом которой был раздел Армении и дальнейшая ликвидация ее западной «турецкой» части с окончательным истреблением и изгнанием армянского населения.

## ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ

Поручик Григорий Гайказуни не хотел жить. И, тем не менее, пули и осколки будто огибали его: люди и кони, находящиеся рядом, падали убитые и изувеченные, а он оставался жив и невредим. В упорном бою под Саракамышем еще оставалась какая-то надежда остановить турок, но после прорыва ими фронта боевой дух был сломлен и армянские части покатались на восток в мрачном отупении — тогда и появилось у него особенно сильно это ощущение — нежелание жить, особенно после сдачи Карса. Он то и дело бросался в арьергардные бои, но оставался жив. Однако вверенная ему рота чем больше теряла бойцов, тем более выходила из повиновения, и скоро готова была растерзать командира, стоило только ему дать команду «к бою!». Не действовали никакие уговоры и убеждения. Мрачные мужики топали и топали назад, думая лишь только о своем, личном — успеть к семье, успеть вывезти тех, кто остался жив... Куда? — Вряд ли хоть кто-нибудь из них сумел бы точно ответить на этот вопрос. Той же дорогой отступали армянские беженцы — женщины, дети, старики, и не раз измученные женщины посылали в сторону отступающих солдат проклятья, но те лишь воротили морды. Пару раз поручику стреляли в спину, свои же, но Бог сохранил... В арьергарде он дрался вместе с добровольцами, неизвестными ему людьми, и среди них довольно часто встречался хмбапет Аршаруни со своим отрядом. Отряд Аршаруни отступал организованно, несмотря на потерю почти половины личного состава, и это нравилось Гайказуни. Раз им пришлось вместе ночевать у одного костра, и поручик спросил у командира отряда, на что он надеется и что собирается делать после прихода красных в Город.

Гурген подумал, попыхивая трубкой, и ответил:

— С красными мне не по пути — брат мой теперь, по слухам, большая шишка в чека — постарается найти меня, найти и пришлепнуть, чтобы перед хозяевами выслужиться...

И тут только Гайказуни узнал в нем маузериста, которого видел в духане Мамикона.

— Уйдем в Зангезур. — хрипел Гурген. — К Гарегину Нжде\*! Говорят, он организовал там Нагорную армянскую республику. Ндже — человек! Не чета этим продажным политикам, всяким хатисовым и Дро... Гарегин — вождь!

\*Гарегин Нжде — герой армянского национально-освободительного движения против турецких захватчиков и большевиков. Организатор вооруженного сопротивления в районах Зангезура и Нагорного Карабаха.

Пару раз за три месяца Гайказуни удавалось вырваться домой по штабным делам.

Грязный и усталый, он вваливался в дом, равнодушно целовал Елену и долго отмывался, сидя в длинном тазу и поливая на себя ковшиком, пока старик таскал теплую воду. Надев чистое нижнее белье, падал на кровать и засыпал мертвецким сном. А Елена брезгливо отодвигалась от него, ей мнился запах кожи, костров, она страшно боялась, что Гайказуни, которого накусают вши в окопах, каким-то образом сможет быть переносчиком тифа, лежала всю ночь, дрожала, воображая, что у нее уже начинается жар и вот придется сбрить свои великолепные, белокурые, вьющиеся кольцами волосы — ее гордость, и, не в силах заснуть от ужаса, представляя себя лысой, только ждала утра, чтобы Гайказуни наконец ушел. А после его ухода меняла постель, тщательно мылась с помощью «старой ведьмы»: старик грел воду, наливал в резиновую ванну, а старушка охаживала ее белое нежное тело намыленной мочалкой, потом стирала белье, мыла полы в комнате и прихожей. А Елена мокрой тряпкой протирала все, к чему прикасался Гайказуни.

В жизни, кстати, забрезжило нечто новенькое. Елена долго спала, потом, не вылезая из постели, читала очередной любовный французский роман. В постели же завтракала салатами и фруктами, принесенными только что вернувшейся с базара старой Алмаст. Затем начинался длительный процесс умывания, одевания, критического любования собой в зеркале, подведения глаз, ресниц, наложения пудры, покраски губ. Ненадолго она выходила в сад, сидела, укутавшись в шубку, около часа в тени с книжкой в руке, больше наблюдая, как падает листва — свежий воздух был все-таки необходим для поддержания гладкости кожи, как она считала.

После полудня приезжал или приходил оставшийся в Городе штабс-капитан Анушаван — как всегда, празднично подтянутый, чистый, пахнущий одеколоном. Иногда они ехали на фаэтоне в какой-нибудь духан или даже в известный в городе ресторан на улице Астафяна, но чаще он приносил с собой обед: шашлык, завернутый в лаваш с зеленью, брынзу, пару бутылок красного вина. Они вместе обедали на веранде или в ее комнате, потом доставали карты и играли в покер — две-три партии... Потом Анушаван удалялся. Причем так, чтобы это видел кто-нибудь из стариков: шутил, чтобы они крепче запирали двор на ночь, совал в старческие руки смятую банкноту...

Потом начиналось долгое тревожное ожидание. Елена постоянно видела перед собой эти гипнотические, прямо на нее смотрящие черные глаза. У Анушавана были длинные, как у женщины, черные, загнутые вверх ресницы. А глаза блестели, как черный жемчуг. Елена смотрела в окно на пустынную улицу, по которой лишь время от времени кто-нибудь проходил: обыватель, солдат, женщина в черном с корзиной, крестьянин проезжал на ослике, а когда появлялся оборванный нищий, она отворачивалась, думая о жестокости мира, заставляющего страдать её нежное сердце. Солнце краснело, пряталось за пологие длинные волны гор, смеркалось. В дверь стучали: это несносный старик спрашивал, закрыла ли она на ночь ставни. Вздыхая, она закрывала их изнутри замочком, оставляя створки окна приоткрытыми.

Потом ложилась в кровать, пыталась заснуть. Но воображение рисовало ей все новые возбуждающие картины соития, фантазия разыгрывалась, и она лежала, дрожа от возбуждения, проклиная бесконечно влачащееся время...

Наконец раздавался тихий условный стук. Она кидалась к окну, открывала ставни, и в комнату из темноты выпрастовывался блестящий в свете свечей яловый сапог, галифе, а затем и весь Анушаван появлялся.

В эти часы слова им были ни к чему. Сразу кидались в объятия. Потом она, еле оторвавшись от его губ, торопливо закрывала ставни, потом стаскивала сапоги... Потом были скачки по доисторическим джунглям, где не было ни добра, ни зла, ни совести, ни долга – где все было абсолютно легко и царила лишь полная, счастливо беспамятная, животная свобода.

Под утро Анушаван осторожно уходил.

Пару раз они ездили в ресторан над рекой у моста, и Анушаван привозил Елену далеко за полночь. Дверь им открывал мрачный заспанный старик. Елена проходила к себе в комнату и нетерпеливо ждала, представляя, как Анушаван заезжает за угол, отпускает фэтонщика, а сам потихоньку крадется к ее окну...

Ей казалось, что они ловко скрывают свои отношения. Но однажды случилось непредвиденное.

В то утро Анушаван слишком крепко спал и проснулся, когда солнце начало вставать и в щель меж ставень проник бледный свет. Вскочив, штабс-капитан начал судорожно одеваться, она, как обычно, открыла ставни и, поцеловав ее, он стал осторожно вылезать на улицу.

В эту ночь старику снова привиделся довольно часто посещавший его кошмар: он снова видел, как убивают его сына: бьет турок сосед камнем по голове, а он сделать ничего не мог – руки были связаны... Не дожидаясь конца сна, он вырвался из кошмара, проснулся, тяжело дыша, услышал, как ровно дышит рядом старуха, осторожно встал и, взяв трубку и спички, вышел в сад. Солнце еще не поднялось над городом, но воздух уже светлел. Задымив, старик открыл калитку в воротах и вышел на безлюдную улицу. Тут-то он неожиданно и услышал шум и, оглянувшись, увидел вылезавшего из окна дома Анушавана. Анушаван тоже увидел его и даже в жидком предрассветном свете было видно, как он побледнел.

Молча, не говоря ни слова, Анушаван подошел к старику:

— Возьмите! – он сунул старику в руку банкноту, и тот равнодушно принял ее.

— Это и так было ясно, — усмехнулась старуха, — как только старик поведал ей об увиденном. — Мы должны обо всем рассказать хозяину.

— Зачем? – удивился старик. — К тому же мы получили деньги.

— Черт с ними, с деньгами, — заявила старуха. — Гайказуни хороший человек, и надо, чтобы он знал правду!

— Зачем? – воскликнул старик, стукнув себя по колену. — Это господа, это их дела, пусть сами и разбираются. И ты, Алмаст, молчи, молчи, Алмаст! Никому на этом свете правда не нужна!

## КРАСНЫЙ МЕДВЕДЬ

— Ха-ха-ха! И как только тебе в голову могло такое прийти? Я — и этот дурак Анушаван! – Елена закурила тонкую сигарету, глаза ее лихорадочно блеснули: — О, эти провинциальные языки – даже если ничего не было, от скуки придумают!

Ставни были уже открыты, наступило светлое утро, и Гайказуни курил самокрутку, выдувая дым в приоткрытую щель окна (Елена не терпела этот плебейский запах) и глядя на пустынную серую улицу.

— Ну, приходил несколько раз, — зло продолжала Елена, — играли в покер... Один раз раздобрился, свозил в ресторан, а потом взял и пропал: на что я ему? – в ее голосе послышалась непритворная горечь: Анушаван и в самом деле не показывался уже целую неделю, и женским чутьем Елена поняла, что любовник ее бросил, и возненавидела его за долгие пустые ночи.

Гайказуни курил и молчал: он и верил, и не верил этой женщине одновременно. Умом не верил ни единому слову, но сердце хотело верить. Да и на что ему была правда? Стреляться с Анушаваном совсем не входило в его планы: да и какие конкретные доказательства измены? Да и разум говорил — не стоит эта женщина того. Гораздо больше его заботили дела в роте. Рота разваливалась. Многие солдаты исчезли неизвестно куда, сбежали в деревни, дисциплина падала – рушилось дело двухлетних трудов! И пахло большевиками...

А эта женщина была подобна наркотику, который одновременно и дает наслаждение и разрушает. Он и хотел как-то избавиться от нее, и не мог. Даже на фронте было проще – там он морально собрался, сосредоточился. И неприязнь, прозвучавшую в ее голосе, когда она говорила об Анушаване, он истолковал по-своему, как ему было удобно в этот момент: «Слава Богу, а может, и в самом деле ничего и не было, вдруг не сладилось!»... Он знал, что врет сам себе, и все же сейчас это вранье было ему необходимо, как успокоительное лекарство. Лишь вчера он вернулся, еле успел отмыться и перекусить. Ему совсем не хотелось скандала, у него не было сил ни на какой скандал: сегодня в город войдут красные, а он знал их дикую ярость к царским офицерам... Что делать?.. Золотые погоны он уже спорол с шинели.

— Что же будет со мной? – жалостливо спросила она. — Гайказунчик, ты не должен меня бросить!

— В Тифлис дорога перерезана, уедем в Персию, а оттуда в Париж...

Он говорил твердо и сам не верил в то, что говорит. Каким образом в Персию? Да их по дороге сто раз убьют и ограбят...

Он все курил и смотрел на улицу, а она лежала в постели, устремив полные слез глаза в потолок и накручивая на мизинец белокурых локонов.

— Знаешь, — продолжила она жалостливо, — мне без тебя было тоскливо... лучше быть где-то под пулями...

Гайказуни хмыкнул, очередной раз поражаясь ее чудовищному эгоизму: в любой ситуации как-то так всегда Елена поворачивала, что самая великая страдальца — она.

— Не веришь?

Он и не собирался с ней спорить. Он увидел бегущих по улице мальчишек, что-то восторженно орущих, и услышал издал: бум-бум-бум, бум-бум-бум... — Так бьют большие барабаны в полковых оркестрах.

На улице появились всадники с красными лентами на папах — отряд конников гарцевал, а над ним плескалось в злом осеннем ветре алое полотнище. За отрядом шли музыканты в буденновках с красными звездами: раздувая щеки, дули в трубы, били в тарелки и барабаны. Гайказуни удивился почти детским лицам. Особенно старался толстячок лет двенадцати на вид, не больше, с маленьким кругленьким и красным от холода носом: «Бум-бум-бум! Бум-бум-бум!...» — неутомимо размахивал он короткими толстыми ручками с барабанными палками. За музыкантами колыхался поток пеших солдат со славянскими и кавказскими, с монгольскими лицами. Большинство шагали не в сапогах, а в обмотках. Они широко раздирали рты: пели, слов не разобрать. Отчетливо слышался лишь барабан: бум-бум-бум, бум-бум-бум...

По улице проходили конные и пешие отряды, проезжали тачанки, тянулись орудия. Протопал батальон матросов. Казалось, колонне не будет конца.

Люди, в основном женщины, дети и старики, высыпающие на улицу, весело размахивали руками и платками, приветствуя войска, приход которых сулил защиту от поголовной турецкой резни.

— Дождались! — хмыкнул Гайказуни выщелкнув на улице окурков.

Английский автомобиль с командармом Мироновым, комиссаром Петросом Аршаруни и известным чекистским палачом Азадбековым, — бородачом с эмалированно сверкающими глазами фанатика и эпилептика, двигался посреди колонны.

Скоро он выехал на центральную улицу. Здесь были в основном двухэтажные дома из туфа с изящными балкончиками, с которых хорошо одетые женщины приветливо махали солдатам и посылали воздушные поцелуи. А со многих балконов и даже из раскрытых окон свешивались куски красной материи — импровизированные знамена из наскоро распоротых одеял и дамских платьев.

— А народ-то нас как приветствует! — заметил, ухмыльнувшись, Миронов.

— На этой улице — одни буржуи живут, — заметил Аршаруни, нехорошо сощурившись. — Это они от страха...

— Э! Э! Э!... — внезапно вскочил Азадбеков, схватившись за кобуру. — казалось, он лишился речи или у него начался припадок.

Впереди вдоль дороги выстроилась рота бойцов армянской армии и штабс-капитан в погонах стоял навтыяжку, отдавая честь проходящей колонне.

— Офицерюга! — вскипел Азадбеков, — Ах, биляди! Я же их как кур резал на Машуке! Как кур!..

Он уже почти вытащил свой маузер, однако комиссар придержал его руку.

— Не горячись, товарищ, не будем портить праздник. А это офицерье никуда от нас не денется. Мы же пообещали им, что никого не тронем (при этом Миронов озорно подмигнул). Пусть поверят. Сами придут! Пусть расслабятся, а потом мы их всех подчистим.

— Да уж, — сказал Азадбеков, похлопав по висящему на поясе кинжалу. — Здесь чыстить и чыстить! — И даже у бывалого вояки Миронова что-то екнуло в сердце при виде этого огромного кинжала. В Красной армии ходили легенды, что Азадбеков лично этим кинжалом вырезал в Пятигорске 160 заложников из аристократии и офицерства. Самое удивительное, что это была не легенда, а чистая правда, и Миронову об этом было отлично известно.

А штабс-капитан Анушаван, не отрывая руки от фуражки, счастливо улыбаясь, провожал своими черными жемчужными глазами с черными завивающимися ресницами, которые так нравились своей женственностью Елене и которые по той же причине так раздражали Гайказуни, машину с высоким начальством, втайне надеясь, что его не забудут (его и в самом деле не забудут!).

Гайказуни смотрел в окно, глотал из жестяной кружки зеленоватую водку и курил.

Елена попыталась было сделать ему замечание, сказав, что от его самокруток у нее болит голова, однако он так огрызнулся, что она лишь глубже, до самого носа, утопилась в одеяло.

А по улице все шли и шли (бум-бум-бум) войска: цокали конные эскадроны, топали ошетилившиеся штыками серые массы — иные молча, угрюмо, другие — раздирая черные дыры ртов навстречу ветру и летящим редким снежинкам, и в нестройных звуках рева слышалось что-то торжественно-угрожающее, в котором различилось:

«...Р-разру-ушим!...»

## ПОКУШЕНИЕ НА ИСТОРИЮ

Гайказуни Иван Григорьевич, сын армянского генерала, отличившегося в кавказских войнах, был человеком мирным, профессором математики, хотя и имел чин полковника — преподавал в Михайловском артиллерийском училище курс по баллистике и высшей математике. После революции сразу стал никем. Однако во внешности старался придерживаться прежнего образа: лицо чуть вскинуто, отчего у общающихся с ним оставалось впечатление некоторой надменности и отрешенности, козлиная бородка, пенсне с серебристой цепочкой, полковничья шинель (правда, погоны домашним еле удалось уговорить дать срезать), каракулевый воротник...

В тот голодный зимний месяц он ушел из дома на Мойке за хлебом – в ту очередь, в которой простаивал большую часть тех дней. Красный патруль, выявлявший «буржуев», вытащил профессора из очереди вместе с еще несколькими интеллигентами и тут же, у стенки, расстрелял. Никто из очереди, естественно, не пытался вмешаться в происходящее – главное было получить пайку хлеба. Гриша забеспокоился, когда начало смеркаться (отец ушел утром), и отправился его искать. О происшедшем рассказали свидетели, — они стояли теперь не в хвосте очереди, а впереди и имели вполне реальные шансы получить свою пайку.

...Обыкновенный красный патруль, пьяные солдаты с красными полосками на папах, с трехлинейками – попробуй, слово скажи!

Закоченевший труп отца с приоткрытым ртом и белыми губами, в который летели с хмурого неба мелкие снежинки, — будто он хотел начать свою очередную лекцию, лежал у стены: пенсне отсутствовало (видно, грабители польстились на серебряную цепочку), отсутствовал также и каракулевый воротник.

Гриша Гайказуни с другом по офицерскому училищу Федей Дубасовым и еще несколькими юнкерами схоронили старого профессора почти втайне в сумерках (в городе бушевала солдатская анархия) на Волковом кладбище, у могилы жены, которую, к счастью или к несчастью, убила пневмония двумя годами ранее.

На следующий день Феде Дубасову пришла весть из Олонецкой губернии, что крестьяне сожгли имение его тетушки, заменявшей ему мать, умершую при родах Феде, и сама тетушка погибла в огне. С родным отцом, давно ушедшим в другую семью, у него были отношения холодные, можно сказать, никаких отношений не было.

И тогда, когда они коротали ночь с бутылкой водки, у них с Федькой Дубасовым почти одновременно возникла одна и та же мысль, что эти совпадения неслучайны и провидение таким образом дает им знак совершить Деяние. Близких у обоих не осталось, жизнями своими они уже не дорожили и разработали целый план спасения России.

Они достали замурзанные рабочие куртки и картузы, проверили кольца, примостили их под пиджаками в специальных мешочках, даже красные повязочки смастерили себе на случай.

В тот день, вымазав себе руки землей, старательно загоняя ее себе под ногти, и машинным маслом, мазнув друг другу пару раз рожи сажей, они отправились на Путиловский завод, где должен был появиться главный Бес. План был прост: если промахнется один, то, воспользовавшись сутолокой, будет стрелять другой.

На входе их чуть не задержали матросы с красными повязками.

— Куда прэ?

— Кто такэ?

— А вы кто таковские? – не растерялся Дубасов. — Али плолеталию своего вождя живьем слышать не велено?

— Откуда сами?

— Пскопские, седни бессонные ехали, только б услышать словечко золотое...

— А вот это нельзя! – вытащил за горлышко торчашую из под воротника у Гайказуни бутылку водки матрос (впрочем, и расчет был на то, что она и отвлечет внимание от более подробного обыска).

— Ладно, проходи... Внукам потом расскажешь! Пскопские!..

Потные, мокрые, не помня себя, они очутились в толпе. Явились в самый разгар речи Вождя.

По красной трибуне метался человек с круглым румяным личиком, в каракулевой шапке и с красным бантом на каракулевом воротнике, рубил рукою невидимых призраков и что-то неслышное отсюда, но явно злое, полное ненависти вылетало из кривого провала рта. Они стали прорываться ближе, ввинчиваться в толпу, однако с каждым шагом она становилась плотнее и гуще. Солдатские шинели, рабочие куртки, бушлаты смыкались в непроходимые стены. Наконец стали слышны обрывки слов: «...талиат..., Мига! Мига!.. ...мля – нагоду!... мля году!»

— Что он там говорит? О чем? – подскакивал рядом молодой рабочий.

— Говорит: земля – народу, фабрики – рабочим! – передавали спереди.

— Во бляха муха!.. – молодой рабочий восторженно и торжественно оглядывался.

Их зажало со всех сторон, даже пошевелить рукой стало невозможно – не то, что вытащить оружие... да и стрелять с такого расстояния из пистолета – наверняка, промахнешься! Вокруг трибуны сверкали штыки с красными бантами, лишь добравшись до них, можно было надеяться на удачный выстрел.

От тел исходил жар, глаза рядом стоящих безумно горели, будто они узрели Господа во плоти: «Земля!» «Земля!», «Мир!», «Мир!» — повторяли сотни губ как заклинания, и часть этого восторга толпы даже начала передаваться им, общий опьяняющий восторг заразителен...

«Отче наш, да святится имя твое!» — пробормотал Гайказуни, пытаясь бороться с этим чувством, и покрутил головой в поисках Федьки Дубасова – да разве тут кого увидишь! Уже более ясно слышались слова:

«... Учьедилка обманет – там одни помещики, капиталисты и офицегьё!.. Долой учьедилку!...

— Р-ра-а! – восторженно отзывалась толпа.

«... Долой! учьедилку... Ггабь бугжуев!...»

— Р-р-ра... Долой!... Гр-рабь!...

Нет, стена людских тел была непроходима!

Смена декораций на трибуне произошла мгновенно: Вождь исчез, и на его месте оказалась бабища в платке и с красным бантом на груди, истерически орущая: «Да здравствует пролетарская революция! Да здравствует Ленин!...»

— Р-ра-у-у-р-ра! – вопил народ.

Толпа стала разрыхляться.

«Уходит! – мелькнуло в голове. – Уходит!» — и Гайказуни бросился к проходным.

Маленький человек в каракулевой зимней шапке стремительно шел по проходу между станками, у которых стояли рабочие. Маленький человек как мощный магнит притягивал взгляды, в которых сквозили восторг и надежда. Полы его пальто развевались, многочисленная свита, полуинтеллигенты, рабочие и матросы, едва поспевая, тянулась за ним клином. Он улыбался, перебрасывался словами и шутками с сопровождающими.

— Владимир Ильич! Владимир Ильич! – догонял его кудрявый человек в пенсне. – Шарфик-то! Шарфик вокруг горла оберните – неровен час застудитесь, а еще выступать...

— Да, здесь нам не Мюнхен, такие ветгища! – рассмеялся Ульянов.

Маленький, почти детский сибирский валеночек с калошей ступил на подножку роскошного французского лимузина, изъятая из царского гаража.

— Ну, Владимир Ильич! Ну и завели вы их! – восторгался кудрявый в пенсне.

Ульянов насмешливо обернулся к нему:

— А вы боялись, товагищ Каменев! Все с ведегком бегали... А здесь не тушить, а газжигать надо! Газжигать, газжигать и газжигать! Чем сильнее в Госсии запыляется, тем быстрее по всему мигу пойдет!

Ни в коем газе не дать не то что погаснуть, но и чуть-чуть пгитухнуть... Все что в силах делай, чтобы костег газгогелся: можешь подкинуть шпалу – кидай! Можешь ветку или соломинку – кидай!

И в шею гнать всех мигтовгогцев! – они наши пегвейшие вгаги!

Не надо бояться, товагищи! Ггажданская война – это хогошо! — Так мы только быстрее бугжуазии и частной сбственности хьебет сломаем!

Владимир Ильич по своему обычаю сел рядом с водителем, а Каменев и обвязанный патронными лентами матрос, кряхтя, полезли в роскошный задний салон.

— В Смольный! – махнул Ульянов.

В воротах Григория задержала давка, и когда он выскочил на улицу, то увидел метрах в ста отъезжающий автомобиль. Рванулся было вслед, но был остановлен цепью красноармейцев с винтовками и красными повязками, которые перекрывали улицу.

Рядом увидел знакомое бледное от ярости лицо Дубасова. Они встретились глазами. Дубасов только махнул рукой: «Упустили!»... Молча еще немного постояли у цепи красноармейцев и с удивлением услышали какую-то странно знакомую, но непонятную извилистую речь.

— Латыши! – догадался Федька Дубасов. – Да ведь это ж латыши!...

Когда уже совсем стемнело, и на улице выл ветер, несущий редкие снежинки, они сидели в одном из погребков на Васильевском острове и молча пили водку, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Эта была дешевая и грязная харчевня, излюбленное место матросов, воров, проституток и грузчиков.

— Не кори себя, Гриша, — наконец сказал Федя. – Видно, не судьба...

— А где она проходит, судьба? – скривился Гайказуни. – Я б ее в расход...

— Ты пьян...

— Я пьян... — согласился, волком ощерившись, Гайказуни.

В этот момент неожиданно дверь с улицы с треском распахнулась. Вниз по лестнице с хохотом и воем скатилась гурьба матросов. Один из них, самый рослый и лохматый, держал за красный башлык мальчишку юнкера лет пятнадцати.

— Дяденька! Не убивайте! – безумно визжал тот, тем самым вызывая еще больший гогот матросов.

Навстречу появившимся кинулась хозяйка заведения, баба тучная, белобрысая:

— Здесь не стреляйте – на улице, пол замажете!..

— А мы и не собираемся его убивать, — прикинулся Емелей тот, который тащил жертву, — сразу убивать не будем, мы сначала в картишки на него скинемся, правда, братва? Ты ведь любил играть в куколки и солдатики, маменькин сынок, как там тебя...

— Ваня...

— Во-во, — расхохотался матрос. – и я тоже Ваня!... – И мы тоже играть любим – только в детстве не доиграли – куколок не было, по пашне ходили за мамкой. Ну не доиграли, не доиграли, сучонок, зато счас доиграем – кто шестерку вытянет, тот тебя и шлепнет! И станешь ты у нас не Ваней, а Таней!

Матросы весело загоготали.

Юнкер дико завизжал, извился так, что башлык намотался на руку матросу.

— На улице, только на улице кончать! – орала, присев, баба, тыча в сторону двери, – у меня полемойка бастует!

То, что произошло, потом многие присутствующие излагали по-разному, как это бывает с событиями дикими, невероятными, произошедшими почти моментально.

Федя и Гриша не сговаривались. Кольты одновременно очутились в их руках, и загремели стремительные, почти одновременные выстрелы.

Четверо матросов оказались на полу, кто-то из них, приподнявшись на локти, харкал кровью.

— А ну, суки, ложись! – выхватил лимонку Федя, и они рванули к лестнице. Гайказуни прихватил за башлык несчастного юнкера.

Все было бы ничего, если бы не дурная баба хозяйка, кинувшаяся вслед отступавшим. Ошалев от страха, она все тянулась за ними, закрывая обзор кабака, где могла уже очухаться всякая шантрапа.

— Ой, мавочка моя, мавочка, а замывать, замывать кто будет?...

Гайказуни видел ее белые бессмысленные глаза, сальные русые косы и полыхнула белая ярость: в этом проборе, казалось, заключалась вся пошлость человеческая, рождающая таких уродов, как те, которые убили его отца, как те, которые чуть не убили мальчишку юнкера, как тот с румяным личиком и кривым от вранья ртом, и, скрипнув зубами, он выстрелил прямо в пробор. С тупым стуком тело покатилося по лестнице вниз...

Едва они выскочили из кабака, как увидели приближающийся красноармейский патруль с красными повязками на руках.

— А ну стой! – срывали они с плеч винтовки и передергивали затворы.

Благо рядом был угол, за который они, не сговариваясь, свернули, и Дубасов швырнул в преследователей гранату.

Они долго еще крутили по дворам-колодцам и переулкам и, наконец, очутившись в темной арке, остановились.

— Ну, куда тебе? – спросил юношу Дубасов.

— К маме, — вскрикнул юнкер. — На Васильевский, Третья Линия...

— Ну, мы тебя проводим...

— Да не надо.

— Надо, не за тем вытащили, чтоб ты еще куда вляпался!

Через полчаса они пили чай в теплой петербургской комнатке. Хозяйка, пугливо оглядываясь, носила им чашку за чашкой. Сын ей все наскоро рассказал.

Трое юнкеров-товарищей договорились встретиться и идти защищать Думу. На место встречи пришел один (других, видно, родители вовремя остановили), а по дороге домой попался матросский патруль.

— Как мне вас благодарить? – ломала руки немолодая худая женщина с изможденным лицом. — Он ведь у меня единственный.

— Успокойтесь, не стоит...

И вправду, есть вещи на земле, которые слова передать бессильны.

Мать с сыном удалились на какой-то момент, и тут Дубасов, прихлебывая чай, возьми и брякни:

— А я и не знал, что армяне такие жестокие...

Гайказуни все сразу понял: баба, которой он выстрелил в голову – не по-офицерски убивать женщину! Кровь бросилась ему в голову, он вскочил, вскочил и Дубасов. В один миг они вцепились друг другу в воротники.

— Зато твои матросы добрые! – орал Гайказуни.

— Господа офицеры! Господа офицеры! – кричала появившаяся на шум женщина, ломая руки. — Что это с вами?

— Значит, считаешь меня убийцей?

— Нет...

— Врешь, Федя, врешь...

Они быстро пришли в себя и расцепились.

— Прости, — пробормотал Григорий.

— И ты меня, Гриша, прости, — сказал, доставая сигареты, Дубасов. — Просто я подумал, что весь ужас войны в том, что обычные и даже отличные люди становятся убийцами. И я стану убийцей.

— Не надо, Федя!!!!

— Что Федя? Просто такова логика войны...

Они замолчали.

Мать и сын принесли семейные альбомы, и беседа потекла в другое русло – в прошлое, из которого они все вышли, где были училища, гимназии, профессора, старые и не нужные уже совершенно, общие знакомства... Смысл оставался там и в этой комнатке, а на стекла давила тьма окружающей бессмыслицы.

Лидия Антоновна была женой полковника, погибшего при Брусиловском прорыве.

— Как это ужасно, — твердила она, ломая пальцы, — эта война, эта придуманная мужчинами война! Юрик, — твердила она, пытаясь прижимать краснеющего юнкера, — теперь ты останешься только со мной навсегда и никому не позволю тебя от меня отнять! Хватит войны!

— Он же, кажется Ваня, у вас, — удивился Дубасов.

Юнкер покраснел:

— Просто я не хотел, чтобы *потом* мама узнала... Ну, понимаете?..

— Однако ты вовсе и не такой трус! – присвистнул Гриша, и Федя кивнул.

— Вы только одежду ему смените, — заметил Гайказуни. — Вот эту шинель с башлыком на базар! – Попроще надо, чтобы не выделяться! Курточку обычную там, кепочку...

— И то верно, и то верно, — охала Лидия Антоновна. — Нечего гусей дразнить.

— Были бы гуси гусьями, а не свиньями, — закивал порядком захмелевший Дубасов.

Они лежали в отдельной комнате и от возбуждения не сразу смогли заснуть, несмотря на смертельную усталость.

— А все-таки одно доброе дело мы сегодня сделали, Гришка, — наконец сказал пускающий в темноту дым от сигары Дубасов.

— Может быть, в этом и заключалась наша сегодняшняя маленькая историческая миссия? – усмехнулся Гриша.

— Может быть... — сказал задумчиво Дубасов. — А я, Гриша, подамся на Дон, там, говорят, Алексеев силу собирает.

Гайказуни хмыкнул.

— А ты? – спросил Дубасов.

— Ничего не выйдет! – тихо сказал Гриша.

— Почему?

— Народ за землей потянулся...

— И ты поверил этому румяному демагогу?

— Не я – народ... Ты видел сегодня народ на митинге: они верят ему, как Богу! Верят в то, что крестьянин получит клочок земли... Только читать дураки не умеют. Ленин под термином «народное» понимает совсем другое, нежели какой-нибудь Иван или Петька. Иван и Петька думают: народная земля, — это значит взяли поле помещика и поделили меж собой, а Ленин думает не так, не та-ак. Народное – это значит ни Ванькино, ни Петькино, а государственное, а Ванька и Петька будут на этой земле батрачить! Только это им потом объяснят, когда они сами большевикам власть на блюдечке поднесут!...

— Но кто же управлять будет, распределять? Кто настоящий хозяин будет?

— А чиновник, который будет следить за тем, чтобы Ванька и Петька не отлынивали! Вот он-то и будет настоящий хозяин!

— Такого вранья еще в Истории не было! – охнул Дубасов.

— Не было – зато будет, и потому наше дело, Феденька, с тобой дохлое: народ большевиков поддержит!

— Все равно буду драться!

— И я... Только я на родину предков подамся! Там целый народ гибнет... А может, оттуда и спасение России начнется... Во всяком случае, нам по пути – на Дон...

Была еще одна причина, та гирька, которая склонила весы в определенную сторону, по которой Григорий не хотел ехать с Дубасовым к Алексееву, еще не осознанная: вид друга всегда теперь будет ему напоминать о бабьем проборе, в который он выстрелил, о стуке катящегося по ступенькам женского тела.

— Да у тебя хоть родственники там есть?

— Никого!

Они вновь надолго замолчали.

— Кстати, давно хотел спросить: откуда у тебя фамилия такая чудная? Я тоже в истории немного порылся.

Гайказуни был царь Великой Армении...

— Ты знаешь, Федя, за четыре тысячелетия в Армении так смешалось все, что аристократические фамилии на «уни» можно уже и у самых захудалых крестьян встретить. Одно могу тебе сказать: Гайказуни – фамилия действительно редкая, и, может, берет начало от основателя Великой Армении. Армяне с удовольствием называют многих детей Тигранами, при котором Армения на какой-то момент была и в самом деле «От моря до моря», пока ее не раздолбал Рим... но я благодарю Бога, что моему отцу не вошло в голову назвать меня Тиграном.

— Почему?

— Жуткая была личность. Властолюбивая, деспотичная... А ты знаешь, что он двух сыновей родных своих убил из-за мании преследования и страха, что они захватят власть? Ну чем не Ивашка Грозный? Хотя Тигран младший был вроде поприличнее... Но о нем не помнят.

— Вот это да!

— Я до войны был в Туркестане, в экспедиции Семенова. Ты помнишь картину Верещагина «Апофеоз войны» — пирамиды черепов. Некоторые говорили — аллегория. Хрен два! Тимур приказывал своим воинам после захвата городов отрубать всем (подчеркиваю всем – и мужчинам, и женщинам, и старикам, и детям) головы и сооружать из этих голов пирамиды. Так представь себе, в Самарканде – могила этого убийцы, к которой ходят люди со всего мусульманского света и молятся, поклоняются ему! — Ну о какой, едрени матери, «народной мудрости» можно после этого говорить!? Какие на хер «народники»?

— Ну, это – древность, Восток... — неуверенно пробормотал Дубасов. — И на всякую народную мудрость найдется столько же народной глупости...

— А мне кажется, мы сегодня видели Тимура!

— Да иди ты!...

— Ей Богу, и поклоняться к нему также будут ходить...

— Ну, это уж ты загнул... Русский человек — идолу?..

— Гайказунчик! Гайказунчи-ик! А у нас водичка в кувшине кончилась...

Гайказуни поставил на подоконник кружку, на доньшке которой еще плескалась водка, — счас, старику скажу... — Старик обычно приносил свежую воду из колодца в ведре.

Он набросил на плечо ремень с кобурой и патронником и вышел. В полутемных сенях остановился. Даже здесь слышалось с улицы «Бум-бум-бум! Бум-бум-бум!...». Остановился. Подождал. Глаза, привыкшие к сумраку, вдруг различили какое-то движение на дверном косяке. Это были тараканы. Они все двигались в одном направлении, очевидно совершая великое переселение. Где-то почуяли пищу!

«Бум-бум-бум!... Бум-бум-бум!...»

Здесь они были не рыжие, как в России – черные, огромные. Шли и шли, шевеля усами, и Гайказуни смотрел на них, как заворуженный.

Не было ни родителей, ни любимой женщины, ни детей, не было России, не стало Армении... Был один друг Федька Дубасов, да и тот потерял – сгинул где-нибудь в степях на Дону или на Кубани...

А тараканы вышагивали: «Бум-бум-бум!...»

Вдруг среди них появилась та белоглазая с торчащими в стороны сальными косичками и расколотым по пробору его выстрелом черепом. Она тоже шагала с тараканами и кричала, размахивая толстыми руками: «Мама, Мавочка, все замажуть!...»

Гайказуни тихо вытащил из кобуры кольт, ввел в барабан один патрон, крутанул его и приставил дуло к виску с трепещущей и звенящей жилкой.

Нажал курок...

Щелчок...

«Бум-бум-бум... Бум-бум-бум», — продолжали свой марш тараканы.

Гриша усмехнулся, пряча кольт в кобуру.

— Гайказунчик! — послышалось из комнаты. — Тебя только за смертью посылать!

## ОКНО (АНУШАВАН)

Светило не по-осеннему яркое солнце, будто последний праздник устроило перед наступлением ненастья. Такой глубокий синий колокол неба бывает только в предзимье. По улице вверх, напевая, шагал штабс-капитан Анушаван Мелик-Казарян.

Как соловей томилась ты,

Как роза распустилась ты,

Водой из роз омыта,

Омыта ты... \*

---

\*Здесь и далее стихи Саят-Новы.

---

Прохлада бодрила. Во всем теле он чувствовал ликование молодой здоровой плоти, пружинистость мышц, чувствовал, как подрагивают при ходьбе филейные части бедер, и это физическое ощущение тоже нравилось ему. Палочкой помахивал и постукивал по колену. Небо ликовало, ликовали его тело и душа. Будущее казалось огромным серебристым шаром, который своим ослепительным сверканием будто обещал еще много необычного, радостного, чего-то главного, что еще только должно начаться в его жизни...

В кармане шинели лежала повестка из ревкома, куда он должен был явиться сегодня к девяти утра на перерегистрацию офицеров армянской армии. Перерегистрация — это что-то новое. Что предложат ему? Роту? Батальон? Работу в штабе? — Последнее бы устроило более всего: ведь у него уже есть опыт... И вечером всегда в ресторацию можно было б заглянуть. Конечно, может, придется отказаться от погон, на которые заглядывались дамы — форма у красных гораздо проще. Ну, тут уж ничего не поделаешь... Новая власть — новые порядки! Зато, откроются возможности новой карьеры — Красная армия молодая, ей не хватает специалистов... А работу свою он будет выполнять ревностно и аккуратно, как и при прежней власти.

В садах еще кое-где догорала красным, синим, желтым листва, но повсюду явственно проступила черная кость ветвей и стволов.

Но он был полон энергии. Он любил жизнь, это так и перло из него, несмотря ни на какие окружающие трагедии, он физически не мог ее не любить, жизнь! Ведь жизнь дается раз, и это единственный его шанс так остро и полно ее прочувствовать. А то страшно, что было с другими, с народом в пятнадцатом году, он воспринимал как несчастный случай — камнепад, сход лавины... Если бы его спросили, что он больше всего любит, он, не задумываясь, ответил бы: женщин, стихи, природу, ... Он бы ни разу не упомянул в этом ряду мать — настолько это было естественным и личным — она была частью его, и любить ее было так же естественно и привычно, как себя, и настолько же было бы малоприличным выставлять это напоказ. Он с улыбкой вспомнил маленькую легкую старушку, бегущую вслед за ним из осеннего сада, звон монисто, мелко его перекрестившую и поцеловавшую (ему пришлось нагнуться) перед тем, как он вышел.

— Какой ты у меня красивый!

Он был действительно красив особой, восточной, несколько женоподобной персидской красотой: белокож, полноват, с черными жемчужинами глаз, обрамленными слегка завивающейся вверх бахромой длинных ресниц, полноватыми губами под франтоватыми тонкими усиками, с невысоким гладким лбом под козырьком фуражки.

— Да ладно, мам, — скучающе отстранился он от нее, но чтобы она не восприняла это за грубость, погладил ее маленькую седую голову с аккуратным пробором. А она, подняв лицо, восторженно им любовалась: лицо морщинистое, красное от солнца, как осенний прорезанный прожилками кленовый лист, но лист, еще крепко держащийся на веточке.

— И ты у меня красивая! — рассмеялся он.

Она еще долго стояла в воротах, смотря ему вслед, улыбалась. Он это знал и, дойдя до поворота, оглянулся, весело ей помахал и свернул за угол.

Твоя краса лютей бича,

Ах, тоньше волос твой — луча,

К лицу — с павлинами парча,

К лицу — парча.

Мурлыкал Анушаван: «Ах, тоньше волос твой — луча...» Неожиданно он вспомнил Елену с ее светло-русыми прядями. И хотя это была не любовь, а так — игра в любовь, сердце забилось чаще и радостней.

Он знал, что Гайказуни уже дома, но не испытывал какого-либо смущения. Отношения к Гайказуни и к Елене текли у него взаимно параллельными потоками, не пересекаясь. Гайказуни все так же оставался для него хорошим товарищем, хотя и занудой. Ну, а Елена? – Она ведь сама захотела! Так причем здесь он, исполнявший лишь свое мужское дело? Да и вообще все это было в какой-то иной реальности, воспоминания о которой выветриваются так же быстро, как воспоминания о снах.

Неожиданно он свернул: ему захотелось пройти мимо дома Гайказуни: возможно, она его увидит!? Сердце забилося сильнее и жарче.

Равной в мире нет, равной в мире нет,  
Равной нет, равной нет,  
Несравненной нет!

Какой там несравненной? – Блядь в чистом виде, и чем быстрее Гайказуни с ней покончит, тем для него лучше. Но все равно увидеть хочется, аж во рту пересохло! Гайказуни узнал бы – убил, конечно, вызвал бы наверное... но никогда не узнает, не узнает, не узнает, несравненная!.. Да и в чем по большому счету его вина? Они просто радовались жизни! Ощущению полной свободы! И разве минутная человеческая радость такой уж большой грех перед Богом? — А, будь что будет!..

Пришлось сделать приличную петлю. Но вот и знакомая улица. Поднимался он также бодрым шагом, поглядывая на окна, ставни которых к тому времени были уже отворены, однако что происходило за стеклами, оставалось загадкой, как для рыбака – что происходит за поверхностью отражающей воды.

Однако его удивило знакомое окно: створки были раскрыты и в его проеме сидел собственной персоной поручик Григорий Гайказуни, полуголый, несмотря на прохладу — в одних галифе: опершись спиной на одну раму и упираясь голыми ступнями полусогнутых ног в противоположную. Он курил папиросу и без всякого выражения смотрел на улицу.

Анушаван приветливо помахал ему рукой, и Гайказуни лениво махнул в ответ – значит, не знает! Не знает! А не знает – значит, и не было!.. – будто камень свалился с сердца Анушавана, и оно вспыхнуло, возликовало. В противоположность цветущему Анушавану, Гайказуни выглядел плохо: худой, бледный, с синими пятнами под глазами, а в серых глазах – равнодушие. Густые черные волосы на груди, торчащие ребра...

— Здравия желаю, господин поручик! – как можно шутливее и беззаботнее приветствовал его Анушаван.

— Здравия желаю, господин теперь еще штабс-капитан! – зевнул Григорий.

— А вы разве не получали повестку явиться в ревком? – удивился Анушаван.

— Получил... Только я того, болею, завтра зайду...

— Не бойтесь, что к завтрашнему дню все должности разберут?

— А у меня, господин штабс-капитан, назначение другое – не за должностями гоняться, а на передовой стоять... — в этом был явный намек на то, что Анушаван штабист, а Гайказуни — настоящий боевой офицер, в этом был оттенок презрения фронтовиков к штабистам. В другое время Анушаван бы возмутился, призвал бы Гайказуни, как старший по званию, к порядку, но не сейчас, когда еще неизвестно, к какой армии оба принадлежат, и он только иронически пожал плечами.

— Сейчас время другое – время научиться себя спасать, друг мой...

Гайказуни сделал затяжку.

— Значит, времена не меняются.

— Кстати, как там пани Елена?

— Спит еще...

— Ну, привет ей.

— Непременно-с...

Анушаван зашагал дальше. На душе вдруг появилось какое-то смутное неприятное чувство, будто кто-то тебе недоброжелательно смотрит вслед. Когда улица сворачивала, он резко оглянулся: однако Гайказуни сидел все в той же позе, спиной к нему, и штабс-капитан увидел лишь его голые ступни, упершиеся в раму.

— Хац!.. Хац! – услышал он тихое, почти шелестящее, хлеба молящее, и увидел протянутую из сухой травы исхудавшую руку: существо больше напоминало скелет в лохмотьях, на черепе еще грязными островками держались остатки волос, и уже было непонятно, мужчина это или женщина и сколько этому существу лет.

Анушаван открыл полевую сумку, нащупал лаваш, который перед его уходом ему всегда туда вкладывала мать, отломил небольшой кусочек и, бросив умирающему, поспешил отвернуться и зашагал дальше.

«И в самом деле, — думал он с праведным возмущением. – За два года нашей «независимости» дашнаки так и не смогли или не захотели одолеть в стране голод. Оно, конечно, с одной стороны, понятно: в стране блокада: Грузия, обиженная, что ей не удалось оттяпать у нас пару уездов, с севера не пропускает товары, с юга – Турция, с востока – мусават... но надо же было что-нибудь придумать!»

А человек, лежащий в траве, пополз к упавшему рядом куску хлеба, но наблюдавшая за всем этим с глиняного забора ворона, стремительно спикировав, схватила кусок и улетела. Протянутая к хлебу рука человека упала, и он остался лежать, не меняя положения.

Анушаван прошел по тысячелетнему мосту, глянул вверх, увидев развалины тысячелетней крепости, над которой развевался теперь красный, отсюда кажущийся маленьким флаг, улыбнулся про себя: сколько разных флагов развевалось над этой крепостью, и люди, которые ставили их, каждый раз думали, что ставят навсегда! Но приходили и уходили правители, завоеватели, а крепость оставалась.

На центральной улице нищих не было, но и хорошо одетые люди куда-то исчезли: зато было много немолодых женщин в черном, идущих на базар или с базара с сумками, корзинами, и много вооруженных красноармейцев.

Здесь Анушаван, обычно только ловящий на себе восхищенные женские взгляды, вдруг почувствовал тревогу.

— Гля! Офицер еще живой! Гы!..— разинул рот один из красноармейцев. — Может, снять?

И уже за спиной он услышал, как клацнул затвор, но ускорив шаг, быстро слился с прохожими.

Однако его дважды останавливал патруль, так грубо и нагло упирая штыки в шинель и новый френч, что раз он даже почувствовал прикосновение к коже стального жала! — однако каждый раз его спасала бумажка из ревкама, которую он вытаскивал вспотевшими пальцами и показывал красноармейцам.

«Погоны! Погоны! — на погоны реагируют!» — догадался он.

А ведь он их и собирался снять перед тем, как идти, но захотелось последний раз пофорсить, и потом, должен же быть порядок: в красной армии должны сразу видеть, какого ранга офицер к ним поступает на службу!..

Ревком находился в двухэтажном здании из черного туфа, ранее принадлежавшем винному богачу. Он бодро поднялся по лестнице, однако был сразу остановлен двумя красноармейцами с винтовками. Один из них внимательно прочитал повестку, и его пропустили.

За дверями он сразу оказался в какой-то клетушке: два здоровенных чекиста в кожанках сидели за столом напротив, улавливая каждое его движение.

Он показал им повестку.

— Моисей, прими... — сказал один из чекистов, кивнув в сторону. И тут только Анушаван увидел, что слева был тоже письменный стол с худеньким человеком — обладателем больших голубых, навещающих какой-то неземной покой глаз.

Голубоглазый просмотрел повестку, со вздохом открыл большой амбарный журнал, куда вписал имя и фамилию посетителя.

— Распишитесь, — подовинул он журнал Анушавану.

Все было так обыденно, просто...

Анушаван расписался, снял шинель, которую принял голубоглазый человек, взял номерок...

— А оружие придется сдать, — снова вздохнул голубоглазый. — Не беспокойтесь, мы потом выдаем обратно.

Такой порядок.

Это вежливое обращение на «вы» даже несколько растрогало Анушавана после тычков штыками и, нехотя, он снял кобуру с кольцом и положил на письменный стол.

— Вам в четвертый кабинет...

Не успел Анушаван сделать и пару шагов, как двое чекистов зажали его спереди и сзади и стремительно воровски обыскали.

Анушаван недоуменно обернулся к голубоглазому и тот впервые улыбнулся и развел руками:

— Такая формальность...

— А в сумке что?

Пришлось открывать сумку и показывать лаваш.

— О, армянский хлеб, можно попробовать? — спросил один из чекистов.

— Берите все... — великодушно вытащил хлеб Анушаван.

В четвертом кабинете, к его удивлению, не было никого, кроме машинистки с косынкой на голове. Машинистка курила, и глаза у нее были холодные.

— Садитесь. — сказала она сухим надтреснутым голосом, загасив папиросу. — Я вам буду задавать вопросы, а вы отвечайте.

— Такой очаровательной даме на любой вопрос... — попытался вызвать у нее улыбку штабс-капитан, однако его встретили серые глаза, такие далекие и равнодушные, что отпала всякая охота с этой комиссаршей заигрывать.

Она вставила чистый лист бумаги в машинку и ловко застучала, задавая вопросы: фамилия, имя, отчество, год и место рождения — 18... Эчмиадзин, происхождение — дворянское, подтвержденное эдиктом Александра I (отец — полковник русской армии, мать — из купеческой семьи), образование — русское реальное училище, офицерская школа в Пятигорске. Участвовал ли в боевых действиях против Красной армии? — Нет. — Чины и армии, в которых состоял? — Поручик русской армии, с 1914 до 1917 года — при штабе Кавказского фронта. С 1918 по 1920 — Штабс-капитан армянской армии при штабе армянской армии... Участие в партиях — не состоял...

Через полчаса опрос был закончен, и женщина в косынке вытащила лист и аккуратно вклеила его в заранее помеченную папку.

— В седьмой кабинет, — жестко сказала женщина.

Он встал, поклонился, однако она уже даже не смотрела на него, а зажигала новую папиросу.

— До свидания... — сказал он, улыбаясь и пятясь, и слегка поклонился.

— Идите, идите! — резко махнула она рукой, будто муху отгоняла.

Какая невежливая женщина, — подумал он, оказавшись в коридоре, однако тут же переключился на поиски седьмой комнаты. Номера комнат располагались в каком-то непонятном порядке, не одна за другой, а как попало.

Мимо прошла пара людей в кожанках: один с бородой лопатой, с эмалированными глазами и огромным кинжалом на поясе.

Двое чекистов тащили куда-то человека с таким разбитым и опухшим лицом, когда индивидуальные черты уже перестают существовать. Кровь отвесно лилась из его разбитого носа на пол, оставляя на паркете извилистую дорожку пятен и капель. Человек хрипел и булькал, белели полоски склер меж сине-красных отекавших век. Очевидно, он был в полубессознательном состоянии, ноги бессильно волочились, глаза у тащивших его под мышки чекистов были истерически напряженные, неподвижные.

— Быстрее! Быстрее! – грубо поторопил их вдруг развернувшийся бородатый с кинжалом.

Кабинет номер семь оказался довольно просторной комнатой с лепниной на потолке, хрустальной люстрой и широким выходящим в сад окном, в которое меж сплетений черных ветвей и россыпей предсмертно веселой желтой листвы светило синее небо.

Удивительно, но мебели здесь почти не было (то ли бывшие хозяева успели вывезти, то ли чекисты, то ли красноармейцы пустили на дрова).

Лишь в глубине кабинета находился большой письменный стол, за которым сидел человек в кожанке, да, уродуя помещение, высились за его спиной два громадных коричневых сейфа и грубо сколоченные стеллажи, заполненные бумагами и папками. Над столом потрет бородатого господина. Карл Маркс – Анушаван безошибочно узнал его по карикатурам, виденным в деникинских газетах и журналах, изредка попадавших в Армению.

Человек что-то писал.

— Подойдите, — сказал он, не поднимая головы и продолжая расписываться на каких-то бумагах и сразу откладывая их в сторону.

Весь еще под впечатлением от вида избитого человека, которого волокли по коридору (кто он был? В чем его вина?), Анушаван подошел к столу, помялся, как школьник, и, так и не дождавшись приглашения, робко присел на край стула, отгоняя ненужные случайные вопросы. Он вдруг почувствовал в происходящем сейчас с ним огромное значение любой мелочи, любого слова, поворота головы, вдоха... необходимость максимально сосредоточиться. Почему-то вдруг мелькнул образ Гайказуни в окне: «Завтра пойду...», его посиневшие от холода ступни...

Наконец человек за столом закончил писать и, отодвинув стопку бумаг, прямо взглянул на него. Это был явно армянин! – носатый, со сросшимися бровями, бледной незагорающей кожей, которая так часто встречается у выходцев из Персии, иссиня черной бородкой, черными, будто льющими плавленное олово глазами – и это несколько успокоило.

— Барэв дзэс! – робко поздоровался Анушаван, пытаясь нащупать почву для общения.

— Барэв... — кивнул человек, продолжая смотреть на Анушавана с каким-то исследовательским интересом и ничего больше не говоря.

Скрипнула дверь.

— Товарищ комиссар!

В комнату вошел красноармеец с красной тонкой папочкой и положил ее на стол.

«Мое дело принесли!» — догадался Анушаван, чувствуя, как по шее начинает течь пот, однако почему-то боясь достать платок и стереть его.

Армянин за столом неожиданно широко зевнул и скучающе раскрыл папку.

— ...Так... — сказал он, начав читать.

Длилось это несколько минут, затем он, подняв глаза, сложил руки замком, опираясь локтями на стол, уперся взглядом кобры в Анушавана.

— Значит, вы утверждаете, что не участвовали в боях с Красной армией?

— Да это любой подтвердит! – воскликнул, облегченно улыбаясь, Анушаван.

— Тем не менее, Вам не может быть неизвестно, что между армянской Армией и генералом Деникиным было подписано союзническое соглашение...

— Я к этому отношения никакого не имею – я человек маленький, всего лишь штабс-капитан...

— Хорошо, — кивнул сидящий за столом комиссар. – Потом вдруг потянулся всем телом, хрустнув позвонками. Глаза у него были красноватые.

— Много работы, — вдруг чисто по-человечески улыбнулся он, вставая, – так мало спать приходится!..

Он подошел к окну, приоткрыл створку, глубоко вдохнув изливающуюся из него осеннюю свежесть, с улыбкой оглянулся на офицера и вдруг процитировал по-армянски:

— «Наш мир – окно, но улиц вид меня гнетет, мне стал

Не мил

Кто взглянет, ранен. Язвы жар, что душу жжет, мне стал

Не мил»...

Комиссар запнулся, потирая пальцами лоб.

«Сегодня хуже, чем вчера, — подхватил Анушаван, — зари приход мне стал не мил.

Нельзя резвиться каждый день. Забав черед мне стал не мил», — закончили строфу они уже вместе.

— Любите Саят-Нову? – спросил Анушаван.

— Скорее, любил... Сейчас он мне кажется иногда слишком слащавым... Впрочем – классик, а классиков не судят... Они всегда правы, так что смотрите на это окно внимательней, никто не знает, удастся ли взглянуть еще! – он загадочно улыбнулся, и Анушаван, почувствовав было симпатию к комиссару, несколько растерялся (шутит он или всерьез?), перевел взгляд то на окно, то на комиссара.

Комиссар вновь уселся за письменный стол, улыбка слетела с его лица. Теперь это был другой человек.

— К делу!

Он пододвинул к себе какие-то бумаги, вытащил лист и палец заскользил по нему в поисках чего-то в тексте.

— Ага! – наконец кивнул он головой, видимо, найдя то, что искал.

— Так... Вы ведь участвовали в торжественном приеме представителя деникинского штаба полковника Зинкевича? Командовали парадной ротой? Не так ли?..

— Ну-у, — протянул, слегка холодея, Анушаван. — Я человек военный: обязан делать что прикажут. Но уверяю вас...

Комиссар предупреждающе поднял руку, остановив готовые было излиться оправдания.

Воцарилось молчание. Комиссар не спеша встал, снова подошел к окну и обернулся.

— Хм.. делать, что прикажут...

Господин Анушаван, а если бы вам приказали стрелять в рабочих или большевиков, вы стали бы стрелять?

Анушаван опешил от такого поворота разговора, лишь приоткрыв рот.

— Но я же не стрелял... — наконец произнес он. — Ей Богу не стрелял, и в мыслях у меня такого не было... Мы с турками воевали...

Комиссар отмахнулся, будто от назойливой мухи, снова прошел через кабинет и сел за стол.

Неожиданно дверь распахнулась, через комнату медведем протопал бородач с огромным кинжалом, которого Анушаван видел в коридоре. Не обращая внимания на Анушавана, он протянул лапу комиссару:

— Здорово, Петрос, червь бумажный, еще не засох?

— Здравствуй, товарищ Азадбеков, рад тебя видеть. А что б ты делал без бумаг? Пройдет время, я, может, еще о твоих подвигах и книгу напишу!

«И этот армянин!» — мелькнуло у Анушавана, но уже без всякой надежды.

— Ну-ну... Мы не для книг стараемся... А это что? — кивнул он на Анушавана.

— Это? — Это господин штабс капитан Анушаван Мелик-Казарян. Происхождение дворянско-купеческое, командовал парадной ротой при встрече представителя Деникина полковника Зинкевича... В общем вполне можно вносить в список деникинских офицеров...

— Я офицер армянской армии, — попытался было возразить Анушаван.

— Заткнись! — рявкнул бородач.

— Вот, думаем, что делать, — комиссар Петрос, потеряв подбородок, задумчиво взглянул на окно.

— А что тут думать, — прорычал Азадбеков, — тут одних погон достаточно, чтобы к стенке поставить... — полоснув ненавидящим взглядом сидящего.

Анушаван еще более побледнел.

— Направляй его к нашим! — распорядился Азадбеков и зашагал вон из комнаты.

— Кстати, — вдруг остановился он на полпути и обернулся, взглянув на Анушавана. — А ты сюда так и приперся через весь город, в погонах, и никто тебя не остановил?

— Почему же — патруль, — тихо вымолвил Анушаван, опустив голову. — Но у меня ведь была повестка...

— А, ну-ну, — покачал головой, ухмыльнувшись, Азадбеков и вышел.

Комиссар сделал в его деле какую-то пометку, расписался и закрыл папку. В этих простых движениях Анушавану почудилось что-то ужасное — ЗАКРЫВАЛИ ЕГО ЖИЗНЬ!

— Но в чем моя вина! — вскричал Анушаван. — Разве можно судить за несодянное?

— Вина? — искренне удивился Аршаруни, подняв глаза на штабс капитана.

— Гражданин, э-э, Мелик-Казарян, у революционного правосудия совсем иные принципы, нежели у вашего буржуазного... Это вашему суду нужны какие-то доказательства, алиби, факты и прочие неживые вещи. Мы исходим из совершенно иных принципов. Нам важно не просто раскрыть уже совершенное преступление, тягчайшим из которых является преступление против революции, а предотвратить его, так сказать, на уровне намерений!

— Но у меня нет никаких намерений против революции! Слово чести! Иначе зачем бы я к вам пришел! У меня намерение — служить в революционной армии...

Комиссар снова поднял руку, останавливая его:

— Сейчас намерений, может, и нет... Но ваше происхождение, воспитание, идеология, которую вам прививали с детства, ваше окружение, друзья... образ жизни, наконец, — все это делает из вас потенциального противника новой власти... Классовое происхождение, знаете ли, это не шутка, в один миг не сменишь, как шляпу, — комиссар покачал головой.

— Что со мной будет? — прошептал пересохшими губами Анушаван. — Ведь есть договор, что армянская армия соединяется с Красной!

— Вот видите, — усмехнулся Аршаруни, глаза его заблестели кошачьим блеском — Вы все знаете лучше меня... И не стоит так волноваться. А что вы так испугались: в конце концов нас всех ждет одно и то же... Я обрисовал вам теорию. Для вас сделаем исключение — дадим испытательный срок, а дальше — посмотрим... А пока вам необходимо пройти некоторые формальности. — Он протянул руку, взял бронзовый колокольчик и зазвонил.

Тотчас появился огромный, как циклоп, красноармеец с винтовкой. Он подошел к столу и вытянулся по стойке смирно во весь свой рост.

— Проводите э-э... гражданина Мелик-Казаряна в кабинет номер тридцать три, — сказал Аршаруни, протягивая какой-то лист красноармейцу. Анушаван попытался было разобрать, что там написано, но красноармеец живо сложил лист в несколько раз и сунул за ремень.

Красноармеец повернулся к Анушавану. Это был здоровенный бородатый мужик, судя по скулам — откуда-то из Чувашии. Черные широко посаженные глаза его ничего не выражали.

— Пройдите вперед, гражданин, — прогудел красноармеец таким тоном, каким говорят с арестованным.

И подчиняясь этому тону, Анушаван покорно встал, пошел к двери, заложив руки за спину.

Они вышли из кабинета.

— Вперед, вперед, — нетерпеливо командовал конвоир, — напра-о, нале-о...

Они проходили по коридорам, мимо пронумерованных дверей, мимо шныряющих людей с синими нарукавниками, солдат, чекистов.

— Вниз! – наконец грубо скомандовал конвоир.

«Спускаемся в ад...» — мелькнула опережающая события страшная догадка, как вспышка на краю вечной тьмы. Вниз вели цементные ступени – в подвалы, где бывшие хозяева хранили вино.

— Куда вы меня ведете?..

— Вам все объяснят, — прогудел сопровождающий.

Они оказались перед толстой дубовой дверью, которую красноармеец раскрыл, пропуская вперед Анушавана.

Анушаван зашел. Здесь их ожидали два безмолвных красноармейца с винтовками, вставшие сразу справа и слева от Анушавана. Здесь же находился стол, за которым сидел маленький человек с невыразительным усталым лицом. За ним высились груды сложенного белья – кители, галифе, рубахи, подштанники, в ряд стояли сапоги.

Человечек принял бумагу из рук чуваша, и тот сразу исчез.

Мелькнув на Анушавана безразличным взглядом, человек раскрыл грессбух, подобный тому, что Анушаван видел при входе.

«Неужели все? Неужели ВСЕ? – бился в висок жуткий вопрос. – Неужели это кара за мои грехи? Но Боже, почему такая тяжкая? Да и какие там грехи — всего лишь женщины, всего лишь забавы... Боже, дай мне возможность исправиться, если что не так, я уйду в монастырь, стану делать любую грязную работу... Дай мне возможность исправиться, если что не так!»

— Номерок! – протянул руку сидящий.

— Ах, да, — Анушаван вытащил номерок из галифе, и его номерок пополнил кучку таких же на столе и, заведя ее, почувствовал, как на лбу выступает пот.

— Раздевайтесь, — неожиданно негромко сказал человек за столом.

— Что?! – вскричал потрясенно Анушаван. – Что вы хотите?..

— Я же вам сказал – раздевайтесь, — раздраженно повторил человек за столом, поднимаясь из-за стола. – Вас отведут в банное отделение и выдадут новую форму. Такое правило.

— Ах, вот что! – облегченно вздохнул Анушаван: словно гора с плеч свалилась, и он почувствовал себя почти счастливым и влюбленным в этого невзрачного человека. Он стал торопливо раздеваться: сапоги, носки, китель... Краем глаза вдруг заметил на одной из сложенных в кипы рубашек бурое пятно, но постарался быстро отвести глаза: конечно, чего бояться, это вовсе не обязательно должна быть кровь!

Человечек аккуратно и умело складывал каждую вещь и помещал в соответствующую стопку за своей спиной.

— Пожалуйста... Пожалуйста... — передавал ему Анушаван снятое с себя — нижнюю рубаху, носки, подштанники...

Наконец он остался совершенно нагим, как Адам, совсем неудобный вид для штабс-капитана, и стыдливо прикрыл свои половые органы.

Оставался лишь золотой крестик на груди среди черных курчавых волос, висящий на тонкой золотой цепочке.

— Это тоже снимите...

— Это же подарок мамы, я с детства его...

Он не понял, кто из двоих стоящих по сторонам красноармейцев ударил его так, что в голове на миг почернело, и он упал вперед, носом ударившись прямо в плоскость письменного стола, услышал легкий краткий хруст и, почувствовав, как выливается в горло кровь, закашлялся. Ловкие пальцы содрали с шеи золотую цепочку с крестиком и отправили в выдвинутый ящик письменного стола, где уже лежала кучка обручальных колец, перстней, золотых и серебряных крестиков.

Не успел он опомниться, как двое громил схватили его под мышки и, распахнув дверь в следующую комнату, кинули его туда, загремев за ним засовом.

А человек за столом брезгливо оттер платком кровь со стола и пробурчал на солдат:

— Нельзя ли поаккуратнее?

— А как еще? – огрызнулся один из них.

— В живот бить надо, в живот или по почкам прикладом, мне что ль, вас учить?!..

## КАМЕРА-ОБСКУРА

Он скатился по ступенькам и встал на четвереньки, некоторое время тупо глядя, как на цементном полу перед глазами все шире растекается алая лужица крови, и не сразу сообразил, что это его кровь. Потом поднял глаза и попробовал встать, зажимая ноздри, и тут же закашлялся – кровь пошла в горло. Он высоко запрокинул голову, стараясь приостановить кровотечение, и, скосив глаза, пытался рассмотреть место, где оказался.

Это было узкое высокое помещение с некрашеными кирпичными стенами, сходящимися кверху куполом. Слева в стене была глубокая ниша, тянущаяся до потолка и заканчивающаяся аркой, из вершины которой струился бледно-белый, пасмурный, раздробленный решеткой свет.

Он опустил голову и увидел в глубине арки деревянную скамью и сидящих на ней абсолютно голых людей, человек пять, один из которых выставил вперед прямую, как палка, ногу.

Незащищенные голые ступни почувствовали холод цементного пола, который беспрепятственно поднимался до сердца.

Неожиданно он услышал скрипучий смех.

— Никак и господин штабс-капитан в нашу компанию пожаловали!

Анушаван пригляделся и в полумраке увидел лицо того деникинца, который сцепился с ними, молодыми, в штабе перед приходом красных. Даже фамилию вспомнил – Тер-Гукасов, кажется. Это его негнушающаяся нога торчала вперед, только палки с черным драконом у него уже, конечно, не было.

— Ну, подходите, присаживайтесь, места как раз на вас и хватит, господин штабс-капитан! – расширенные зрачки деникинца лихорадочно блестели: очевидно, с утра каким-то образом он успел получить свой морфий.

Сделав несколько шагов, Анушаван присел на край деревянной лавки и поджал ноги, оторвав ступни от ледяного пола.

— Что они с нами сделают?..

— Расстреляют, — мрачно усмехнулся деникинец, — разве непонятно?

— Не может быть, — прошептал Анушаван. — Может, просто арестуют?

— Вряд ли, — деникинец сухо рассмеялся. — Я эту сволочь знаю...

— Но я ни в чем не виноват...

— Вы? – деникинец поглядел на него и расхохотался. А в чем виновен вон тот старик, вы знаете? – он указал на тощего седобородого старца, по всему виду крестьянина. – В том, что его козла звали Троцкий!

Услышавший это старик возмущенно замахал длинными и худыми, как плети, руками с крупными крестьянскими кистями:

— Я, что ли, его так назвал? Мне уже продали его с таким именем и он только на него отзывался! А сосед, Иусик проклятый, донес! Теперь он его и заполучил!

— Слышали? – снова обернулся деникинец к Анушавану. – Ну мне-то не так жалко помирать, я хоть за дело! Лично стрелял в них, двух в бою подстрелил, двух, прости Господи, пленных... Да, да, пленных! А что было делать? Наступление под Севском стремительное, пленных больше, чем нас, раз в пять! А что делать? Куда их девать? Отпустишь – завтра возьмут винтовки и снова... Приказ был. Все офицеры расстреливали тогда, одни артиллеристы выкрутились – угнали подальше батарею, подлещы... Да и колено совсем замучило. Морфий уже не помогает. Доктор сказал – кость гноится. А эти – сразу вылечат! Я-то за дело, а вы за что? – А за то, что под эту власть подстелиться решили!

— Молчите! Молчите! – закричал, раскачиваясь, Анушаван. – Так больно!

— Почему же молчать? – беспощадно продолжал деникинец. – А если я в последний раз в жизни говорю?!

Скажите, в чем виновен вот этот человек? – он указал на сидящего рядом светлоглазого рыжеусого человека, явно русского. — Матвей Ильич Сапрыкин, прапорщик, собственной персоной, перед вами... С 14-го года на Кавказском фронте, успел обзавестись ранением, двумя Георгиевскими крестами, женой-армянкой и двумя детишками... в Россию после революции не поехал, следовательно, в Белом движении участвовать не мог... Что скажете, Матвей Ильич?

Рыжий растерянно и равнодушно махнул рукой:

— Ах, чему быть – того не миновать... скорей бы уж...

Коренастый с грубыми чертами лица человек, сидящий за Матвеем Ильичом, прорычал:

— Они кровью у меня умоются! Они еще не знают, кого тронули – я личный телохранитель Дро! Дро уже наверняка узнал, только бы успел меня отсюда вытащить: уж тогда этим чекистам не поздоровится!

— Ха-ха ха! – рассмеялся деникинец. – Он надеется, что они какого-то Дро испугаются – да они его следующим после тебя шлепнут!

— Не трожь Дро! – заорал дашнак. – Я за него глотку перегрызу! Дро – всенародный вождь! Они его не посмеют и пальцем тронуть!

— Ой-ой-ой! – заорудствовал деникинец. – Как все испугались!

Дашнак, вцепившись мускулистыми ручищами в лавку, зло сплюнул.

— Вот посмотрим... посмотрим еще! Дро меня выручит, я ему жизнь спас!

На самом конце лавки сидел необыкновенно волосатый мужчина с толстыми надбровьями и маленькими глазками. Свисающее брюхо с огромной воронкой пупка фартуком прикрывало его половые органы. Он молчал и лишь тупо смотрел перед собой, ни с кем не разговаривая, на вопросы не отвечая. Это была одна из тех душонок, которым порой внешность человека дается по какому-то высочайшему недосмотру.

Еще на беженских дорогах он отведал человечины, убивая своих соплеменников и забирая последнее, и с тех пор это стало для него обычным делом. Последний год промышлял ночью, выбирая наиболее слабых — детей, женщин, стариков, одиноких путников на сельских дорогах или на безлюдных улочках окраин города. Награбленное продавал на следующий день на базаре знакомому осторожному скупщику.

«Засыпался» он при попытке ограбить дом, где жила вдова с двумя детьми. Вдову и детей зарезал, но на шум выскочил из-за занавески молодой красноармеец с винтовкой, оказавшийся у вдовы на постое... А на выстрелы и патруль подоспел.

— А ведь я знаю, где сейчас Дро! – будто вспомнил, хлопнув себя по лбу, деникинец, вновь обращаясь к дашнаку, — он сейчас с Лениным и Троцким чай пьет! Так что ему сейчас не до тебя...

— Я тебя все-таки придушу! – сорвался с места дашнак, кинулся на Тер-Гукасова, и они вцепились друг другу в глотки.

## ПРИГОВОР

Неожиданно загремел засов, и дверь открылась.

Дашнак и деникинец вмиг прекратили возню и, не отпуская один другого, обернулись к двери, куда устремили глаза и прочие, сидящие на лавке.

В помещение, стуча лакированными сапогами, быстро один за одним спустились трое в кожаных куртках и кожаных кепках. У двоих в руках были маузеры.

Последовала резкая команда: «Встать! Именем революции!»...

Невольно подчиняясь ей, сидящие поспешно встали, дерущиеся вмиг разлепились и, чтобы не упасть, деникинец с негнушейся ногой ухватился за плечо дашнака и тот не обратил на это никакого внимания.

У третьего из вошедших в руках был не маузер, а бумага. Лицо у него было крайне невыразительным, неподвижным. Не глядя на голых людей, он поднес листок к глазам и однотонной скучной скороговоркой зачитал:

— Именем революции, постановлением революционного трибунала от ... ноября 1920 года:

Прапорщик Сапрыкин Матвей Ильич, штабс-капитан Мелик-Казарян, поручик Ованес Тер-Гукасов за участие в белогвардейском движении и контрреволюционную деятельность приговариваются к высшей мере наказания через расстреляние.

Хачатур Бабаянц за участие в дашнакской партии и подавлении майского восстания рабочих приговаривается к высшей мере наказания через расстреляние.

Месроп Гурунц за анитсоветскую агитацию и призывы свергнуть советскую власть, а также за сочувствие к контрреволюционному дашнакскому движению и подготовку антибольшевистского заговора приговаривается к высшей мере наказания через расстреляние.

Старик при этих словах лишь взмахнул тонкими высохшими руками с непропорционально огромными коричневыми кистями, будто от чего-то отмахиваясь, а читающий закончил:

— Лазарь Хачатурян – за разбойную деятельность, многочисленные убийства и покушение на жизнь красноармейца Правдина приговаривается к высшей мере наказания через расстреляние.

Не успели приговоренные опомниться, как тотчас последовала команда: «Взять троих!», и двое чекистов с маузерами выхватили из ряда кто к ним ближе оказался: рыжего прапорщика, старика и дашнака.

Как в каком-то сомнабулическом сосотоянии, они бессловесно подчинялись приказам и выстроились гуськом затылок в зтылок. Один конвоир оказался впереди, другой замыкал.

— Вперед!..

Они направились к входу в подвал. Человек же, зачитавший приговор, быстро выскочил в верхнюю дверь и загремел засовом. А ведущий конвоир, дойдя до нижней двери в винный подвал, приостановился и громко в нее постучал условленным стуком.

Дверь сразу, будто сама собой, открылась, все пятеро исчезли в темном проеме, и дверь сразу захлопнулась.

Анушаван почувствовал, как по бедрам и голеним струится теплая влага. Теперь деникинец держался за его плечо:

— Сядем, — простонал он. Он больше не иронизировал, зрачки сузились, кожа на лице сморщилась – видимо, перестал действовать морфий.

Они сели рядом и несколько в стороне людоед: его била крупная дрожь, из приоткрытого рта стекала слюна.

За дверью что-то трижды, почти одновременно торкнуло, но это не был стук в дверь, и приговоренные сразу поняли его значение.

Тупая апатия и безразличие ко всему окружающему, которые так облегчают работу палачам, охватили их уже сразу после зачтения приговора.

Дверь снова отворилась, и появились двое с маузерами.

— Встать! Выстроиться один за одним!.. Пошел!

— Я не могу идти без опоры, — вяло возразил деникинец, – нога...

— Ты! – кивнул чекист на Анушавана, — поддержи...

— Быстрее! Быстрее!.. – казалось, они сами чего-то боятся – оттого и торопят.

Анушаван и деникинец двинулись вперед, людоед покорно последовал за ними.

Скрипнули дверные петли, и в нос ударил слабый запах мочи, экскрементов и еще чего-то кислого.

Снова ступени.

«Вниз! Вниз! Быстрее! Направо!»...

Голые электрические лампочки освещали помещение. Бочек с вином здесь уже не было. Подвал был длинным и сворачивал куда-то, а здесь стояли трое в кожанках со стеклянными глазами и клочками белой ваты в ушах.

— Так... Так... Сюда... — подвели и прилаживали, будто собираясь фотографировать, конвоиры каждого к очередному палачу. Анушаван оказался в центре, и в затылок ему сразу уперлось теплое дуло маузера. Справа оказался людоед, слева Тер-Гукасов, которого чекист заботливо придерживал левой рукой, уперев ствол оружия в голову деникинца.

Почти сразу загремели выстрелы, ударяя в барабанные перепонки, упали людоед и Тер-Гукасов, вмиг превращенные из живых существ в восковые куклы.

В последний момент Анушаван немного качнулся, и пуля прошла сквозь правое ухо. Резкая боль вывела его из тупого оцепенения, и в душу хлынул неведанный ранее, ничем не управляемый ужас. Он вдруг в один миг понял, как ужасно и несправедливо все то, что с ним происходит: его, молодого, красивого, у которого все самое лучшее только должно быть впереди, в этот миг лишают этого, лишают всего, и он дико закричал и рухнул на колени. Обернувшись к

эксекютору, он плотно обхватил его ноги и прокричал самые глупые и самые главные слова: «Не убивайте! Не убивайте!»..

От неожиданности чекист растерялся и, забыв, что может легко пристрелить жертву, ударил ее по голове рукояткой маузера. Анушаван упал и завыл.

Подоспевшие чекисты начали охаживать его, воющего и катающегося по полу, сапогами во что попало. Наконец он затах, палачи перестали бить, утирая пот со лбов.

— Ну, гад!..

Но тут Анушаван поднялся на четвереньки, обратив к ним неузнаваемо опухшее, окровавленное лицо, разбитые губы что-то шептали. Чекисты некоторое время стояли изумленные и растерянные, будто забыв, что им надо дальше делать, и тут все услышали рыдающее: «Мама, прости!.. Мама!..»

Неожиданно хлопнула дверь, громко стуча по ступеням, в подвал вбежал сам Азадбеков.

— Что это? Что это? – заорал он, выпучив эмалированные глаза. – Мои герои испугались какого-то контрика?!

Тогда смотри, как это делается! – он выхватил свой кинжал из ножен, твердым шагом подошел к Анушавану, встал так, что Анушаван оказался между его ног, ухватил его за волосы...

Блеснул и исчез кинжал под подбородком жертвы. Послышались бульканье и хрип...

Даже в неверном свете электрических лампочек было видно, что присутствующие чекисты побледнели, а один из них, тот, который стрелял в Анушавана, вдруг согнулся в рвотных конвульсиях, бросил маузер и с воем кинулся к лестнице. Товарищи поймали его за руки, а он бился, как в судорогах, мыча что-то невнятное. Его отвели в верхнюю комнату, где недавно сидели приговоренные, уложили на лавку, дали выпить стакан водки. А он все порывался вскочить и куда-то бежать.

— Свяжите его! – приказал Азадбеков. – Товарищ Копылов заболел, вызовите врача. Ну что ж, придется поработать за него.

До самого вечера в подвале гремели выстрелы, падали куклы, мгновение назад бывшие людьми, а появляющийся из-за поворота подвала служащий ловко подцеплял их крюком, оттаскивал в дальний конец, откуда их должны были ночью забрать и вывезти за город, другой служащий подтирал и смывал кровь шваброй, окуная тряпку в ведро с водой, и посыпал пол песочком.

— Надя! Смастери-ка чайку, да покрепче. — Это товарищ Петрос сунулся в соседний кабинет к машинистке.

— Устал, товарищ? – не вынимая изо рта папиросы и продолжая стучать по клавишам, равнодушно спросила машинистка Надя, выцветшая женщина в красной косынке, в ведении которой находился самовар.

— Спать хочется, а еще столько работы... — скромно улыбнулся товарищ Петрос.

Огромная волосатая лапа легла ему на плечо:

— Здесь не чай нужен, а кое-что покрепче, зайдем-ка к тебе... — Это был Азадбеков.

В кабинете Петроса Азадбеков вытащил из-за пазухи бутылку, появились стаканы. Азадбеков разлил — грамм по сто, глаза его, как и у Петроса, от постоянной бессонницы были красны.

— Пей, это местная чача...

— Твое здоровье, Гевор!

— Твое здоровье, Петрос!

Они выпили залпом, продышались, глаза заслезились...

— Ну как? Все бумажки пишем, товарищ Петрос? – усмехнулся, закуривая, Азадбеков и протянул спичку к папиросе Аршаруни.

— И бумажки революции нужны, товарищ Гевор!

— Ну, я предпочитаю живую работу, — проворчал Азадбеков.

Попыхивая папиросами, они подошли к окну, за которым стремительно скатывалось к волнистым горам багровое солнце.

— Сколько сегодня? – спросил Петрос.

— Сорок три или сорок четыре... — поморщился, припоминая, Азадбеков, — а еще ночью работать... Заболел у нас товарищ, пришлось подменить...

— Сорок четыре! – задумчиво выпуская дым, произнес Аршаруни. – Это значит, на сорок четыре шага ты, товарищ Азадбеков, приблизил светлое будущее!

— Ну что уж там! – скромно отмахнулся Азадбеков.

— Нет, ты герой революции – сам товарищ Троцкий тебя хвалил... Оценят ли наш труд потомки?

— Ну, мы не для себя стараемся, товарищ Петрос.

— Об одном прошу тебя, товарищ: когда попадетсЯ мой брат, этот чертов дашнакский прихвостень Гурген, не убивай его сам, оставь мне!

— Так и быть! Сделаем для тебя исключение, — расхохотался Азадбеков.

Петрос постучал ногтем по стеклу:

— Хочу до конца быть чистым перед Партией, как это стекло...

— Будешь, будешь, никуда не денется твой братец – рано или поздно – попадетсЯ! – отмахнулся Азадбеков. – А меня вот товарищ Копылов беспокоит – совсем заболел парень, доктор сказал: нервы — покой нужен. Но им тоже, докторам, верить нельзя – они ведь еще из тех, бывших. Нервная у нас, конечно, работа, вот Копылов и заболел. Думаю,

надо его на недельку в Дилижан послать, водичкой полечиться. Карла Маркса почитать. Там водичка хорошая: все как рукой снимет!

— Да, много еще работы предстоит, — сказал один.

— Да, много! — подтвердил другой.

Некоторое время они молча курили, смотря в окно. Солнце уже закатилось, и полоса заката алела вдоль волнистого края гор, как свежий надрез.

## КЛЯКСА

В начале зимы Гайказуни ждал ареста чуть ли не ежедневно. Но по каким-то ему непонятным причинам за ним никто не приходил: в течение месяца исчезли почти все знакомые офицеры: кто был выслан, кто убит в подвале чека, как Анушаван (ему шепотом рассказали о страшной участи штабс-капитана — вообще, люди вокруг научились разговаривать шепотом). А за ним не приходили! Было ли это чудом Божьим или гримасой Провидения? Он устал ждать и гадать, решил: пусть будет так, как будет, и научился жить одним днем, одним часом, не задумываясь наперед, научился ставить блок перед мыслями, готовыми устремиться в будущее. Но заряженный револьвер постоянно держал при себе, решив живым не сдаваться. Однажды к ним постучали красноармейцы. Он уже держал в руках наган, собираясь выстрелить себе в рот, как только они зайдут в комнату, но оказалось — просились на постой, а старая Алмаст сказала им, что в доме находится тифозный больной, и они ушли.

Вначале, сразу после того, как в город вошла красная армия, у Гайказуни возник отчаянный план: переодеться в одежду армянских крестьян и бежать в Тифлис, однако Елена уперлась:

— А мои наряды? Без чемоданов не поеду!

— Дура! — орал он. — Ты не понимаешь? Нас здесь убьют!

Елена тупо смотрела на него и повторяла:

— Без багажа с места не сдвинусь!

Размахнувшись, он влепил ей звонкую, не слишком сильную пощечину — впервые ударил женщину!

Она рухнула лицом на кровать, рыдая:

— Сатрап! Тиран! Пьяница! Бить женщину! Ты еще об этом пожалеешь, погоди! У-у, погоди... Я в ревком на тебя доложу!

Захлестнувшая было его волна раскаянья после последних ее слов моментально испарилась.

— Ну что ж, доложи! — горько усмехнулся он. — А то я и так устал ждать ареста со дня на день!

Она уткнулась в подушку и испуганно затихла, затаилась.

Наступила зима. Ледяной ветер с гор метал острый снег и пыль по улицам, свистел, шептал, уныло завывал в щелях дома. Чернели ветви в садах, сокрушенно покачивались. Она так никуда и не пошла: она боялась выходить на улицу, даже в саду появлялась все реже. Все большую и большую часть дня проводила у зеркала в одном из своих бесчисленных платьев, шевеля губами, будто с кем-то беседуя, раскладывала пасьянс, о чем-то задумывалась. Чаше прикладывалась к кружке с виноградной водкой, привыкла пить залпом, не закусывая. В лице появилось что-то тупое, упрямое.

— Матка Бозка! — шептала она. — Сделай так, чтобы все оказалось сном!

Но однажды она почувствовала голод.

— Гайказунчик! — необычайно ласково позвала она его. — Твоя девочка хочет кушать!

— Сегодня у нас, дорогая, нечего есть, — усмехнулся поручик.

— Как так?

— Так, — пожал плечами Гайказуни.

— И мы что, будем умирать с голоду, как те... — она вдруг представила себя среди тех, кого бесчисленное количество раз видела на улице, стараясь не обращать на них внимания — лишенных крова, погибающих от голода, и озноб прошел по спине, а глаза стали расширяться от ужаса.

— Но ты же должен сделать что-нибудь!

— Что?

— Я не знаю — ты мужчина...

— Я ничего не могу сделать.

Она вгрызлась в подушку, тело ее сотряслось от рыданий.

— Будь проклят тот день, когда я тебя увидела! Ты ничего, ничего не можешь!

— Что ж мне, — хмыкнул Григорий, — людей, что ли, на улицах резать?

— Я не знаю! Не знаю! Не знаю! — завопила она.

— Ну, разве что, — снова усмехнулся Григорий, — продавать твои платья...

— Никогда!

— Тогда будем голодать!

Вечером она долго, вздыхая и плача, перебирала содержимое одного из чемоданов. Наконец выбрала платье и отдала ему со слезами на глазах:

— В нем я танцевала на балу у князя Мещорского!

На следующий день Гайказуни унес платье на рынок и вернулся с припасами еды.

Кучка на столе выглядела совсем небольшой, однако здесь были и бастурма, и лаваш, брынза, большой пирог ката и бутылка виноградного вина.

— И это все? – возмущенно выкрикнула она, побелев.

— Да, все, — спокойно ответил он.

— Ты совсем не умеешь торговаться!

— Наверное, — усмехнулся он.

— Тогда пусть ходит старая ведьма. Я уверена, что у нее получится лучше...

Он был не против.

Тогда, однако, они впервые за много дней наелись. Крепкие зубы Елены рвали бастурму и она, позабыв о светских приличиях, громко и жадно чавкала.

Однако, некоторое время спустя, поручик объявил, что продавать платье больше необязательно и время от времени стал приносить в перекинутом через плечо хурджине продукты.

— Откуда это у тебя!? – спросила Елена, когда это случилось в первый раз, но Гайказуни не ответил, а лишь усмехнулся. А Елена, опасаясь узнать что-то страшное, опасное, могущее еще более потревожить ее душевный покой, больше его не спрашивала.

Теперь он днями где-то подолгу пропадал, куда-то уходил и поздно вечером, и именно тогда, уже глубокой ночью приносил продукты.

А однажды среди бела дня к дому подъехала телега, и мрачный бессловесный мужик в папахе внес на веранду целых два мешка продуктов: картофель, мука, фляги с молоком, мясо, сыр, сало, бутылочки винца... Продукты бывали свежие – от них пахло достатком и деревней, в вине плавали виноградные шкурки. Потом телега приезжала с дровами и хворостом.

Угроза голода и холода, казалось, отступила.

Дни шли, а за Гайказуни не приходили: оставалось только вновь недоумевать и поминать Господа, решившего, видимо, что *час* еще не настал.

А дело было так. В один прекрасный день очередной список офицеров оказался на столе товарища Петроса Аршаруни.

Товарищ Петрос торопливо пил чай, рассыпая на столе крошки хлеба, как вдруг увидел бегущего по его краю непонятного паука. Резко и испуганно он взмахнул рукой, пытаясь смести незваного пришельца, и сбил чернильницу. Чернила вылились на стол. Жирная клякса пересекла лист. Аршаруни вскочил, схватив лист, согнул его надвое, чтобы клякса не растекалась. Он дул на пятно, приплясывая, ругаясь матом, сливал чернила на пол, сушил лист у лампы. Но полоса в центре оставалась такой жирной, что как ни старался Аршаруни, как ни напрягал глаза, подставляя лист то на солнце, то к зажженной лампе, он так и не смог разглядеть под кляксой нескольких фамилий, среди которых и была фамилия поручика Гайказуни.

Так маленький паучок спас жизнь поручика Гайказуни.

## ПОДАРОК ИЛЬИЧУ

В большой комнате штаба с висящей во всю стену картой Кавказа проходило секретное совещание.

Присутствовали командиры и комиссары дивизий. Председательствовали командарм Миронов, комиссар армии Зусман, чекист Азадбеков и товарищ Серго, ближайший соратник Ленина, что заменяло ему все чины и должности в армии.

Председательствующие сидели за двумя сдвинутыми, накрытыми красной скатертью письменными столами под самой картой. От них, образуя букву Т, исходила еще пара столов, за которыми сидело начальство рангом ниже – командиры, чекисты, комиссары, среди которых находился и товарищ Петрос.

Совещание носило доверительно дружеский характер.

Первым взял слово товарищ Серго. Оглаживая свои толстые черные усы, он рассказал присутствующим, что в Тифлисской губернии есть силы, готовые по его приказу немедленно поднять восстание.

— Товарищи! Неужто мы будем отсюда спокойно наблюдать, как капиталисты, князья и помещики угнетают и душат наших братьев трудящихся на севере?

— Товарищи! – подержал его Миронов. — Все готово к военной операции! Мы одним мощным ударом всю эту меньшевистскую сволочь сбросим в море! Сил достаточно...

— А вот Владимир Ильич сомневается, — вмешался Зусман. – Владимир Ильич, кхм, насколько я помню, как бы уже признал независимую Грузинскую республику?

— Вот именно «как бы!» – рассмеялся товарищ Серго. – Вы же старый большевик, товарищ Зусман, и сами знаете, чему нас Ильич учил: все договоры с буржуазными правительствами — не более чем пустые бумажки, с помощью которых мы их водим за нос! Главное — выбрать удобный момент...

— Так вот такой момент настал! – грохнул по столу кулаком Миронов.

— Владимир Ильич в Москве, — продолжил товарищ Серго, — и ему издалека не совсем ясен здешний расклад сил, потому осторожничает, нас бережет, но если бы он знал обстановку на месте, он бы первым нас благословил!.. А мы сделаем, товарищи, нашему Ильичу подарок!

— Сделаем! Сделаем! – загудели голоса.

— Но крепок ли у нас тыл? – спросил Зусман. – Кто останется здесь, когда уйдет армия?

— Здесь остается усиленный армянский полк и товарищ Азадбеков, который целой армии стоит! – успокоил его командарм. – Товарищ Азадбеков, доложите обстановку.

Брякнув кинжалом, встал Азадбеков, грозно вращая эмалированными глазами.

— Мы здесь время даром не теряем, — сказал он хриплым басом. – С первых дней работаем. День и ночь! Теперь никто из этих гадов даже головы не поднимет! Ни одна сволочь не пикнет! – он внушительно похлопал ладонью по кинжалу. – А кто остался – как тар-ракань по щелям разбежались!

Было заметно, что герой революции явно пьян, но никто этого вслух не высказал.

— А как с царскими и белогвардейскими офицерами? – спросил Зусман.

— Офицеры больше в гор-роде практически нет! – торжественно провозгласил Азадбеков. – Большая часть, согласно указаниям, отправлена в Рязань, в лагерь, особо злостные контрреволюционеры и их приспешники – в р-расход! Оставлены лишь три-четыре особо популярных среди темной массы фамилии. Пирумовы всякие, якобы герои... мелкобуржуазные националисты! Глаз с них не спускаем. Но, думаю, и они долго не проходят: время тревожное – много несчастных случаев бывает...

Присутствующие засмеялись.

— Дашнаков прижали так, что теперь их не слышно и не видно, — продолжал хвалиться Азадбеков. – Дро бежал!.. Армия двинется на север, значит, мы усилим работу по профилактике всякой контрреволюционной деятельности: будем больше вывешивать, арестовывать. Расстреливать будем беспощадно! Не из маузеров, а из пулеметов – это тэхнически эффективнее и проще, из маузера – слишком хлопотно, и у некоторых товарищей нервы сдают, а кадры беречь надо...

— Хорошо, хорошо! – остановил Азадбекова Миронов. – Какие еще у нас есть вопросы?

— Что там спрашивать, — загудели присутствующие, – действовать надо!

— Ставлю на голосование! – объявил Миронов. – Кто за то, чтобы красная армия двинулась на север для освобождения от помещичье-капиталистического ига наших братьев трудящихся?

Потянулись вверх руки.

Миронов окинул присутствующих взглядом.

— Единогласно!

## ХУДОЖНИК

По извилистой тропинке Гайказуни поднимался к развалинам древней крепости. Никто не обратил особого внимания на его фигуру в старой потертой шинели, густой овечьей папахе, с крестьянским пустым полосатым хурджином, перекинутым через плечо – таких много было в городе, бывших солдат, крестьян...

Григорий поднялся под самые полуразрушенные стены. День был ясный и отсюда открывался весь город – улицы, дома, сады: и богатая центральная часть, и бедные кварталы – прилепившиеся на склонах халупы. Внизу змеилась незамерзающая река, которую пересекал мост. Казалось, отсюда можно было заглянуть в каждый двор, каждый сад. Небо было синим с редкими бегущими белыми облачками, с севера дул холодный ветер, и Гайказуни, чтобы укрыться от него, встал за уступом крепости. Крыши и улицы были белы от снега, деревья чернели, как после пожарища. Вдали, над долиной, огромная Вечная Гора белела, как замерзшее облако.

Размяв и растерев оковеневшие пальцы, подышав на них, Гайказуни вытащил из хурджина офицерский планшет, раскрыл его, извлек бумагу и карандаш. Умелыми штрихами стал набрасывать план города – улицы, кварталы, отдельные дома, церкви, кладбище, особыми значками обозначая могущие иметь стратегическое значение высоты, черное здание ревкома, казармы, складские помещения, оружейные парки, места постоянных постов, надписывал названия объектов, улиц...

Но неожиданно серые глаза поручика устремились вдаль, он о чем-то задумался... рука съехала с листа, открыв новый, чистый, белый, и невольно стала чертить контуры волшебной, доминирующей над всем пространством, далекой горы. Рука имитировала Творение, сочиняла – вот гора, крыши домов, церкви, свечи тополей, вот домик крестьянина, вот сам крестьянин ведет нагруженного ослика...

Нанося на лист очертания этой горы с горбатым западным склоном, он вспомнил, что, согласно Библии, где-то на тех склонах должны еще находиться остатки Ковчега. Гора... Вот он, Пуп Земли, с которого пошел нынешний род человечий... Просвещенные люди давно объявили все сказкой. Возможно. Но возможно, что параллельно с реальной, видимой историей, вершится и некая мистическая, невидимая, которая, в свою очередь, оказывает влияние и на нашу реальность? И лишь до времени *здесь* человечеству позволено копить преступления и блудодейство, ложь и лень. И когда *там* уже не могут выдержать, *здесь* наступает нечто: извержения, ледниковый период, Потоп... с тем, чтобы дать человечеству возможность начать Историю с белого листа...

Какой-то шум послышался сзади. Гайказуни резко обернулся. Из пролома в старой стене за ним внимательно следили три пары черных детских глаз. Он слышал не раз, что в этих развалинах ночуют беспризорники.

— Эй! Кто там прячется? А ну, выходи, — скомадовал, улыбаясь.

Они вышли один за другим, кутаясь в рваные драные одеяла, осторожно, готовые сразу броситься наутек. Мальчик и девочка, лет одиннадцати и один маленький мальчик, лет пяти.

— Кто вы? – спросил Гайказуни.

— Я Сурен, — сказал тот, который, был из них самым старшим.

— А я Каринэ, а это Рубик, — сказала девочка, которая вела за руку малыша, — он еще совсем маленький. Мы живем здесь... Мы и тетя Рузанна, она шалаш нам сделала... Здесь еще и другие дети есть, а тетя Рузанна всем помогает...

— Братья с сестрой?

— Каринэ и Рубик, — сказал Сурен, — я потом пришел к ним, охранять!... А вы кто?..

— Я? — Гайказуни на мгновение задумался. — Я — художник! Вот видите — рисую... — Он показал подошедшим детишкам лист бумаги с Горой, домиком и крестьянином с осликом.

— Ух ты! — удивился Сурен, но как-то вяло. — Как настоящие!

— Хотите — возьмите...

— Дяденька, — тихо сказала девочка, — а у вас кусочка хлеба нет? Совсем маленького?

Гайказуни, не раздумывая, достал из хурджина круглую большую лепешку.

Глаза у детей загорелись жутким мучительным блеском.

— Только при мне! — объявил Гайказуни. — Чтоб всем поровну!

Он разломил лепешку на три равные части:

— Тебе... Тебе... И тебе.

Старший мальчик, Сурен, задержал лепешку, не сразу отправив в рот.

— А вам?

— Спасибо, я уже поел... — печально усмехнулся Гайказуни.

Дети жевали, постанывая и побряхывая от удовольствия.

— Не ешьте слишком быстро, — советовал Сурен, — а то снова сразу есть захочешь.

— А как? — спросила Каринэ.

— Надо просто во рту держать — само растает...

— Как же вы здесь не замерзаете? — удивился поручик.

— Еще как замерзаем! — воскликнула девочка. — Но тетя Рузанна печку достала железную и топит, а мы собираем мусор в городе.

Гайказуни спускался вниз в глубокой задумчивости. Тяжелое чувство вины охватило его: вот он, взрослый, сильный, считающий себя в глубине души чуть ли не героем, вернется сейчас домой в тепло, сытость, а эти дети останутся здесь. И кто больший «герой» — он или та незнакомая Рузанна, тихо творящая свое спасительное дело? И что труднее — иногда идти под пули или вот так упорно, ежеминутно, незаметно миру, творить добро?

Вдруг послышался грубый мужской окрик:

— Стой!

Красноармеец на посту у знамени передернул затвор, направляя на него винтовку. — Кто такой?

— Художник я...

— Чего-о? — глаза у красноармейца округлились.

— Художник, вот горы рисовал, посмотри, — Гайказуни достал из-за пазухи лист.

Красноармеец внимательно и с интересом некоторое время разглядывал рисунок.

— Похоже... — наконец важно заключил он. — А не брешь? Может, кто другой рисовал?

— Что мне брехать? Вот, хочешь, тебя нарисую?

— Да ты чо, сможешь? А ну, давай! — обрадовался солдат.

Гайказуни вытащил из планшета чистый лист, карандаш, подточил его ножичком и устроился на камне напротив красноармейца, подложив под себя хурджин.

Красноармеец приосанился, выпятил грудь, одной рукой взялся за древко флага, другой придерживал стоящую прикладом на земле трехлинейку со штыком.

— Рисуй!

Карандаш заскользил по бумаге, изображая коренастую фигуру в обмотках, длинной шинели, в буденовке со звездой, усы... Через несколько минут произведение было готово.

— На!

— Ух ты! — воскликнул красноармеец. — И впрямь так! Главное, знам дело — звезда видна! И усы... а винтарь, как живой... — Ну ты и впрямь художник! Зовут-то как?

— Григорий.

— Мать честна! Так ведь и я Гришка! — глаза, однако, хитро прищурились. — А ты из каких будешь? Не из буржуев ли?

— С чего ты взял? Художник я.

— Говоришь, эт, красиво больно... Ну я эту штуку домой в деревню пошлю: пускай женушка, да маменька полюбуются! Только вот, Гриш, дело какое... Ну ты ближе-то подойди...

Григорий, подняв хурджин, подошел.

— Присаживайся, земляк, закурим?

— Ну, ежели табачком угостишь... — Григорий снова расстелил на камне хурджин.

Они присели. Солдат достал кисет, Григорий отодрал от листов куски. Некоторое время они молчали, возились с самокрутками. Гайказуни вытащил из кармана спички. Задымили, глядя вниз на дорогу, на мост, по которому двигались фигурки людей, игрушечные фэтоны.

— Русский? Армян?

— Армянин.

— А говоришь – чисто барин...

— Да художник я, сколько тебе талдычить? А художник обязан говорить красиво. Скажем, барышню какую рисуешь — ведь надо по-барски и говорить!

— Слышь, а приходилось? – толкнул Григория в бок его тезка.

— Что?

— Барынек-то рисовать?

— Приходилось...

— А шуры-амуры с ними были?

— Были.

— Эх, везет! А я только в мечтах... чистенькие, беленькие, да на роялях... эх! Чуть не свезло раз. Екатириндар брали, в госпиталь беляковский прорвались. Я там одну молоденькую – хватать, да комиссар отобрал, к себе потащил...

— Госпиталь, говоришь? Ну, а с госпиталем-то что сделали, с ранеными?

— И-и, мил человек, всех, как один, перекололи! И раненых, и врачей ихних! А как, по-твоему, товарищ? –

Классовая битва!

Красноармеец затянулся самокруткой и мечтательно выдул дым.

— А все ж хороша барынька была из беляковского госпиталя!

— Ну, у тебя ж жена?..

— Марфа не то — жилы, понежнее мясца хочца! Но тоже хороша... была... А я ведь ее четыре года не видал... Может, и старуха уже вовсе. Письма приходят: грамотная она у меня, но по письму не увидишь... Только так, расскажет про детишек, сродственничков, чего в деревне...

— Ну и как?

— Хорошо сразу после революции стало: барина с его семьей в город Париж выгнали, а землю его, знам дело, поделили... Только вдругорядь письмо прислали: реквизиция! Голодають... Я к комиссару — он мне все объяснил: это пока для революции надо, пушай потерпят, зато потом — свобода!..

Вот добьем контру, вернусь — ох, знамдело, и счастливая жизнь настанет! — Григорий аж закатил глаза.

— Слышь! А ты грамотный?

— Ну, грамотный...

— А письмо мне сможешь написать? Спросить на предмет как там, чего?

— Отчего б не написать? Давай картинку, на обороте и напишу.

Гайказуни взял лист, подточил карандаш, и принялся записывать слова красноармейца, слегка редактируя, опуская повторы и бесконечные «знамдело»:

«Здравствуй, любезная моя Марфа Ивановна, здравствуйте, папенька и маменька, детушки родные, Васька и Агашка!

Пишет вам геройский солдат Красной армии Григорий Малинин. Бьем проклятую контру, скоро совсем добьем. Освободили уж армянов от их буржуинов. Поля и фабрики народу отдали. Но штык в землю — еще рано, как говорил товарищ Ленин. Тут я познакомился с художником армяном. Вот он меня срисовал. Пишите, как вы там? Как с хлебушком, здоровы ли?

Вот армянов освободили — очередь за грузинцами, а там видать войне конец!

Целую всех крепчайше.

Григорий.»

Поставив точку, Гайказуни протянул лист красноармейцу.

— А что, и впрямь собираетесь на Грузию?

-Баюг, дело решено, со дня на дни приказ ждем.

В развалинах раздался шорох.

Малинин обернулся и, широко взмахнув рукой, позвал:

— Эй, пацаны, а ну сюда!

Двое оборвышей, но уже других, не тех, которых видел Гайказуни, подошли быстро, без страха, как давние знакомые.

— Обедать будем!

— Дядя Гриша! Дядя Гриша! — восторженно заверещали они.

Из лежащего рядом вещмешка красноармеец вытащил узелок с продуктами и стал развязывать.

— Эва как! Родителей их турка сгубил, — сочувственно кивнул красноармеец. — Взял на подкормку. Будешь с нами?

Последнее было спрошено из вежливости — русский человек всегда предложит разделить трапезу на всех, хоть и получится каждому на полглотка. Зная это, Гайказуни вежливо отказался.

— Пойду я, товарищ Малинин.

— Доброго здоровьяца, товарищ художник, — козырнул ему Малинин, выкладывая из мешочка лепешку, сыр, кусочек сала на расстеленный платок.

— Часто вы здесь? — поинтересовался Гайказуни.

— А через день.

— Так я еще зайду, Гриша, мне Гору дорисовать надо.

— Заходи, мил человек. Знамдело, вместе веселее.

## БЕЛЫЙ АНГЕЛ

Когда Гайказуни вернулся, Елена, как обычно, сидела у зеркала. На туалетном столике стояла пустая бутылка, а в ее руке был наполненный бокал, которым она легонько чокалась с отражением в зеркале.

— Твое здоровье, дорогая! – говорила она и отхлебывала.

В последнее время он все чаще видел ее пьяной, когда приходил домой. Догадаться, откуда она берет вино, было нетрудно: очевидно, тайком от него отдавала какие-то свои вещи на продажу Алмаст, и та приносила купленное на вырученные деньги вино.

Гайказуни подошел и внушительно покашлял.

Елена обернулась, и он увидел шальные глаза. Она неуклюже встала и, пошатнувшись, подняла бокал.

— А мы, мы здесь пр-разднуем! — захихикала Елена. – Го-господин поручик, дама хочет танцевать!... Дама хочет... — она покрутила рукой с бокалом и вновь захихикала. Ее качнуло, и она полетела на пол. Гайказуни попытался ее ухватить, но слишком поздно, розовое муаровое деколье треснуло по швам. Звякнул разлетевшийся на осколки бокал. Елена оказалась на ковре.

— Господин пору-учик! Господин пору-учик! – застонала она, страдальчески вытягивая вверх руку. – Я прощаюсь с вами. Я умира-аю...

— Да-да, — раздраженно согласился Гайказуни, подняв ее на руки, и понес к кровати.

Он раздел ее, аккуратно уложил и прикрыл одеялом.

Она еще некоторое время бормотала что-то нечленораздельное, чему-то улыбалась, чему-то кривилась, будто готовая вот-вот заплакать, но, наконец, успокоилась, забылась. Спала глубоким алкогольным сном, слегка посапывая.

В дверь постучали. Это была Алмаст. Она принесла, как он и просил, чай и хлеб с сыром. Молча поставила поднос на стол и, бросив взгляд в сторону кровати, осуждающе покачала головой.

— Послушайте! – разлился Гайказуни. — Я же просил вас больше ей не доставать вина!

Старушка широко раскрыла глаза:

— Господин офицер, но как я могу? Она такое вытворяет, что я вынуждена... Такой скандал бывает! Такой скандал! Вы бы уж как-то сами с ней разобрались...

— А если я запрещаю?

— Так она сама выскочит, прямо совсем голая вырвется! Что я могу поделать?

— Ладно, — нахмурился Гайказуни. – Разберемся...

Старушка убрала с пола осколки и, сокрушенно кивая головой, тихо удалилась.

Григорий мрачно жевал, прихлебывал чай.

«Вот напасть какая! И что с этой бабой делать?»

Закончив есть, он встал и отправился в соседнюю комнату, заполненную старой дорогой мебелью, достал томик Пушкина из своего чемоданчика, прилег на диван отдохнуть. Размеренно тикали ходики. Он открыл заломленную страницу и прочел:

Печален я: со мною друга нет,  
С кем долгую запил бы я разлуку,  
Кому бы мог пожать от сердца руку  
И пожелать веселых много лет.  
Я пью один; вотще воображенье  
Вокруг меня товарищей зовет...

Глаза сами собой закрылись, руки ослабли, и томик опустился на грудь. Он спал, и ему снилось море. Огромная, движущаяся к берегу волна, прекрасная и страшная, изгибалась голубым языком, и было одновременно и жутко, и интересно: достигнет ли его – сшибет, убьет или только пощекочет пеной ступни?..

Проснулся как от резкого толчка вбок, сразу осознав себя и предстоящее дело. Мерно тикали ходики: за стеклами густела синева, перед тем как превратиться в сплошную черноту.

Встал, подошел к стулу с кобурой и ремнем, проверил наган, разломил — все семь патронов в обойме — сложил со щелчком, сунул оружие в кобуру и застегнул ремень на пояс: будет, конечно, сбоку шинель оттопыриваться, но ничего, он прикроет это место хурджином.

Вышел из дома, стараясь не шуметь, но старик все-таки его заметил. Старик стоял в саду с топором в руке и будто думал.

— Зачем топор, дедушка?

— Вот тополь свалить, и дров до конца зимы хватит...

— Не темно ли? Лучше завтра... — Помахал ему рукой и открыл калитку.

По всему городу брехали во дворах собаки. Темная фигура скользила по улицам и переулкам, далеко обходя перекрестки с пылающими кострами красных патрулей, кралась в тени, где становилась невидимой. А луна, похожая на белое лицо в синячищах, то показывалась, то скрывалась за стремительно бегущими тучами. И эти моменты темноты поручик использовал, чтобы пересекать открытые пространства.

Вот и показалась арка кладбищенских ворот без створок с каменной совой на вершине. Свистел ветер, мел острые, обжигающие щеки снежинки, раскачивал деревья. Битая луна светила белесым пятном сквозь жидкое облако. Мрачное было место: сюда даже красный патруль без особой нужды избегал заглядывать.

Гайказуни медленно шел по центральной аллее среди хачкаров, плит, простых крестов. Правую руку он засунул под шинель и сжимал рукоять револьвера. Он дошел до темной часовни и свернул на тропинку вправо. Через минуту в темноте забелело. Это была фигура мраморного белого ангела. Надпись была на армянском, но буквы были еле видны.

Раздался шорох. Из темноты выделилась фигура в высоком капюшоне священника. Человек подошел и встал рядом, перекрестился:

— Не могилу ли своей безвременно почившей дочери Гаянэ ищет господин? – раздался грубый хриплый голос.

— Нет, я ищу могилу священника Тер-Гатевоса.

Человек в облачении священника рассмеялся, откинул капюшон. Это был хмбапет Гурген. В свете луны зрачки мерцали свинцом, волосы на голове и в бороде серебрились.

— Барэв дзес, господин поручик!

— Барэв дзес, господин Аршаруни.

— Что в городе?

— Скоро, возможно на днях, армия должна выйти из города. Поход на Грузию. Очевидно, остается гарнизон, скорее всего усиленный.

— Когда армия выходит из города?

— Дня точно не знаю.

— Ну, ничего, — хохотнул Аршаруни, — у нас везде свои глаза и уши.

— Что вы собираетесь делать?

— Ударим!

— А сил хватит?

— Увидишь! – хохотнул собеседник.

— Вот, у меня план города со стратегическими объектами. Могут быть изменения после ухода основных сил. Я принесу новый. Читать план сможете?

— Хорошо, — Аршаруни взял бумажку. – У нас тоже грамотные есть, не думай, и по-русски читают. Да вот тебе еще...- Аршаруни отошел в сторону, поднял лежащий у ближней могильной плиты моток. – Это тебе.

— Шноракалутюн\*, — пробормотал Гайказуни, отправляя моток с продуктами себе в хурджин.

---

\* Спасибо

---

Условившись о будущей встрече, они быстро расстались.

— Осторожно от патрулей, поручик.

— Тебе того же, хмбапет...

Гурген исчез, растворился среди хачкаров, а поручик направился назад по тому же пути, что и пришел.

У ворот ему пришлось задержаться в тени и переждать, пока пройдет красный патруль. Трое молодых солдат громко говорили на армянском и хохотали. Он только смог разобрать то и дело выкрикиваемое среди смеха: «Ахчик!.. Ахчик!..»\*

---

\* Девочка

---

Шел по переулку, как вдруг из-за угла появились фигуры в высоких буденовках с винтовками:

— Стой, кто идет? – щелкнули затворы.

— Продукты от родни несу... — ответил Гайказуни.

— А вот мы сейчас посмотрим.

Гайказуни не хотел, чтобы его арестовывали, а еще меньше хотел отдавать хурджин с едой. Они были шагах в десяти. Вытащив револьвер, он выстрелил и бросился бежать, уже за спиной услышав стон и выстрелы. Левую руку обожгло, и хурджин упал на землю, поручик перескочил через ближайший глиняный забор, пробежал через чей-то сад, где на него бросился огромный лохматый пес, вцепившись в сапог. Пришлось потратить еще одну пулю, и поручик скоро очутился на другой улице. Вновь где-то послышались голоса и затрещали выстрелы. Он бежал, придерживая мокнущую от крови руку, прижимаясь к стенам и дувалам, где его скрывала тень. Вновь свернул. На этой улице было пусто, но он продолжал бежать, стараясь как можно дальше оторваться от преследователей.

Наскоро перетянув руку платком, пропетляв по переулкам, он, наконец, достиг дома. Старая Алмаст, не задавая лишних вопросов, промыла глубокую царапину на предплечье каким-то отваром и обернула чистым платком. Царапина была неопасная, но крови он потерял многовато, и в голове звенело. Гайказуни прошел к себе в комнату и лег на диван. В комнате Елены послышались легкие шаги, дверь приоткрылась, и на пороге оказалась Елена в ночной рубашке, с керосиновой лампой в руке.

— Поручик? Поручик? Вы здесь?

— Здесь я...

— Мне послышались выстрелы в городе.

— Не знаю, я сплю, — пробормотал Гайказуни, глаза у него, и в самом деле, слипались. Елена еще постояла некоторое время и ушла, тихо прикрыв за собой дверь.

«Завтра у нас обеда не будет» — мрачно подумал поручик.

Через двое суток после описанных событий Гайказуни проснулся среди ночи из-за непонятного шума за ставнями, прислушался: как будто шаги, много шагов, смех, голоса, ругань, ржанье коней, скрип тележных колес...

Не зажигая света, он, придерживая еще ноющую от раны руку, осторожно приоткрыл ставень окна. В свете полной луны он увидел движущуюся ошестинившуюся штыками солдатскую массу, двигались пушки, всхрапывали кони. Только теперь эта масса двигалась не к центру города, а в противоположную сторону.

## ТЫ ОПОЗДАЛ, ПЕТРОС!

Они появились из предрассветного зимнего тумана, из самой ночи, вначале как тени, как призраки, но с каждым мгновением рассвета, с каждым мгновением приближения приобретали плоть и черты: всадники в высоких папах с шашками наголо и маузерами, пешие крестьяне в длинных архалуках с трехлинейками и берданками, и даже с косами. И откуда они взялись в таком количестве? Эскадроны и эскадроны, отряды и толпы: десятки, сотни, тысячи, – они вливались в улицы города, сметая и обращая в бегство красноармейские посты...

А ведь накануне все было так тихо: тихо было в погружающихся в сон деревнях и селениях вокруг Города: лишь в некоторых домах жгли лучины и там слабо мерцали огни... Но никаких тревожных сигналов не поступало. И в ревком шла, как обычно, своя работа: допоздна светились окна, бегали по коридорам, натываясь друг на друга, осоловелые люди с какими-то бумагами, в подвале стучали выстрелы – последний расстрел был произведен около двух ночи... Но под утро и там как будто все притихло, стали гаснуть окна. Многие чекисты и сотрудники никуда не уходили, а, раскладывая матрацы, ночевали прямо в своих кабинетах.

В комнате машинистки Нади было темно, но в ней не спали: слышался ритмичный скрип металлических пружин кровати (Надя была одной из тех счастливиц, у которых в кабинете была кровать). Железная витая спинка (наследие буржуазии) с каждым скрипом ударялась в стенку невысокого сейфа, на котором стоял небольшой белый бюстик Карла Маркса. Спинка ударялась в сейф, и Карл Маркс каждый раз вздрагивал, колебался.

Наконец раздался мужской рык и вслед за ним томный женский стон.

Иссякший Азадбеков с хрипом свалился с женского тела и лежал, ощущая легкое блаженство. Луна слабо осветила комнату, он взглянул на Надю, и ему вдруг показалось, что она улыбается. Странно, он ни разу не видел, как она улыбается днем, будто она стеснялась улыбаться при людях!

А в это время товарищ Петрос мучился бессонницей, лежа на своем клоповном матраце, расстеленном в кабинете, и думал о Наде. Вели они себя друг с другом как равные, как партийные товарищи, как друзья, и он думал, как же теперь показать, что она для него не только товарищ и друг, но и женщина... Это казалось невероятно трудным. Это значило положить конец прежним простым светлым отношениям честной дружбы и перейти на что-то иное, подземно-темное, но так влекущее!.. Им часто приходилось сидеть вместе за чаем, делясь самым сокровенным: она поведала ему, как, в сущности, она одинока и о том, что в затруднительные минуты жизни обращается к бюсту Карла Маркса, который всегда с собой возит, просит у него совета, и решение каким-то чудесным образом появляется! Они часто старались представить себе счастливое будущее человечества и иногда по этому поводу даже спорили. «Это будут совершенно другие люди, другой человеческий вид – сознательные! И тюрем не будет!» — говорила Надя убежденно. «Ну, хотя бы одну тюрьму надо будет оставить!» — возражал Петрос. «Зачем?» — удивлялась она. «На всякий случай!» — хитро прищурился он. «Нет, ты ничего не понимаешь!» — возражала она. А однажды, совсем недавно, с холодной усмешкой поведала ему, как казаки насиловали ее на допросах в деникинской контрразведке.

Да, они были духовно близки, но она совершенно не видела в нем мужчину! От этой мысли Петрос даже взмок и, присев на матраце, схватился рукой за лоб: Ну что, что бы такое сделать, чтобы она почувствовала в нем мужчину, а не просто партийного товарища?!

А что бы на его месте сделал товарищ Азадбеков? – Да он просто подошел бы к ней и прямо сказал! – Вот что надо!.. Действовать по-революционному прямо! И сейчас, немедленно!.. А то как-то не по-мужски, в самом деле, получается!

Петрос нащупал спички, зажег керосиновую лампу и стал натягивать галифе, сапоги, гимнастерку, дрожащими руками застегивать пуговицы, затянул ремень... Да! Сейчас или никогда!

В дверь Надиной комнаты раздался тихий стук.

— Кто это? – удивился Азадбеков.

— Я сама спрошу, подожди... — Надя, накинув платок на плечи, прошлепала босыми ступнями по холодному полу к двери. — Кто?

— Надя!.. – послышался неузнаваемо хриплый голос. – Это я, Петрос, пусти!

— Я не могу...

— Почему?

— Кто это? – спросил Азадбеков.

— Аршаруни, — шепнула Надя, обернувшись к Азадбекову.

— Ты не одна? – послышалось из-за двери.

Надя молчала.

— Ну, открой ему, — распорядился Азадбеков.

Надя приоткрыла дверь и ничего не увидела в темноте коридора, а услышала перед собой учащенное дыхание.

— Надя... — Петрос разглядел в свете луны темный силуэт ее головы и плеч, почувствовал близость теплого нагого тела – от Нади пахло спиртом и еще чем-то влекущим, сладковато-порочным.

— Я не одна...

И неожиданно в глубине комнаты раздался мужской добродушно-сытый смех и знакомый голос Азадбекова:

— Ты опоздал, Петрос!

Ни слова больше не вымолвив, Надя закрыла дверь, и Аршаруни поплелся к себе в кабинет, ощущая пустоту и звон в голове.

Вернувшись к себе, он взял с полки Карла Маркса и открыл «Манифест»: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма!» — прочел он обычно заряжающие его строчки, но на сей раз ничего не почувствовал.

Он отложил книгу, достал из сейфа бутылку чачи, открыв ее, отпил прямо из горлышка и устался в законную темь.

Странные и противоречивые чувства бушевали в нем. С одной стороны, его душила жестокая мужская ревность. С другой стороны, он не мог не чувствовать невольного восхищения революционным героем Азадбековым, который и царскую ссылку прошел, и лично знает Троцкого и Ленина, за что Надя, очевидно, его и полюбила! И это рождало в нем что-то отвратительно-содомитское, расслаблено-тошнотворное, будто он отчасти разделял интимные чувства Нади к Азадбекову и Азадбеков будто им овладевал!

«Конечно, — горько усмехался он, отпив еще глоток, — кто такой я, а кто такой Азадбеков!»

Он рядовой, хотя далеко не самый последний, сотрудник чека, тихо плел подпольную сеть в Закавказье, без особого шума, (но эффективно и почти без провалов!), а слава Азадбекова гремела уже в России, где шла вовсю гражданская война – сам Лев Троцкий восхищался решительностью Азадбекова и написал о нем хвалебную статью!.. И что же тогда? Отступить?.. – Ну, уж нет! Борьба с империалистическим злом не закончена и есть еще возможность показать, на что он способен! Надо просто совершить то, что может возвысить его в глазах Надежды! Какой-нибудь революционный подвиг! Но какой?.. – Он думал об этом неотступно, ворочался на своем матрасе, на который лег, не раздеваясь, и таращился в темноту за окном.

«А вот если брата родного Гургена подвести к стенке и лично спустить курок!..» Что-то противилось в нем этой мысли, но он ощущал совсем рядом огромную силу в виде прямо стоящей суровой дамы, в простом длинном коричневом со складками платье до пола, с будто из камня высеченным лицом, с гладкой прической, забранными на затылке волосами, испытывающе смотрящую на него со стороны бесстрастным, готовым осудить за любую слабость, взглядом – Мировую Революцию! И эта сила говорила – да! Да! — ни один истинно святой поступок не может свершиться без усилий и жертв! И тогда, когда он освободится от ветхих предрассудков родства, имя его воссияет среди имен партийцев не менее ярко, чем имя самого Азадбекова, и он войдет в новое братство – братство будущего! И Надя посмотрит на него уже другими глазами!

Он так и не мог заснуть, представляя, как это может случиться, как сделать так, чтобы не упустить Гургена. За стеклами начало светлеть и обозначились оконные рамы. Вдруг он услышал далекую трескотню выстрелов и торопливо застучавшие по коридорам сапоги многочисленных людей. Он приоткрыл дверь, свет в коридоре уже горел, и сразу увидел бегущего с маузером в руке чекиста Нещадова.

— Дашнаки! Дашнаки в город прорвались! – орал он. — Где Азадбеков?!

В предрассветных сумерках засветились окна на всех этажах ревкома. В доме царила суматоха. Едва пробудившиеся полуодетые чекисты с оружием в руках бегали по коридорам, натываясь друг на друга и поднимая заспавшихся.

Над лестницей, ведущей на второй этаж, стоял Азадбеков, уже полностью одетый, с маузером в руке и орал:

— Нещадов! Багиров! Балабян! Ко мне!.. А, вот и ты, Петрос, слава богу!.. А где Моисей? Моисей где?

Зазвенели окна – атакующие вышли на улицу перед ревкомом и начали его обстрел.

— Копылов, пулемет к окну! Бей по улице, не подпускай!

Большинство чекистов столпились вокруг Азадбекова и на лестнице.

— Товарищи! – прорычал Азадбеков, размахивая маузером. – Пользуясь покровом ночи, проклятые дашнаки совершили вероломное нападение на город... Из казарм сообщили: полк отступает!

— Не отступают, а бегут, суки! – завопил кто-то под лестницей.

— Слушай мой приказ! Занять позиции у окон, держаться до последнего! Не подпускать к дому! Копылов!

Пулемет.. Что с пулеметом? А где Моисей?

— Уже заводит машину!

— Хорошо: Нещадов, Багиров, Балабян, Аршаруни – ко мне! Быстро выносим документы — вниз, в автомобиль!.. Бумаги! Бумаги не должны достаться им – там секретные сведения! Что не унесем – сожжем! Надя, в машину!

— Товарищ Азадбеков, я не пойду, у нас равенство полов – я так же, как они, могу носить бумаги!

Рядом, наконец застучал пулемет.

— Давай! Давай, Копылов!..

Моисей с подпольным псевдонимом Ленский, так накрепко прилепившимся к нему, что уже никто и не помнил его настоящей фамилии, насвистывал, проверяя машину: достаточно ли масла, полны ли баки... разогревал мотор и, усевшись на водительское сиденье, спокойно ждал, наблюдая, как чекисты сваливают в багажник пачки бумаг и папок.

Бывший часовой мастер, эсер-бомбист, он обожал технические устройства, быстро разобрался в механизме автомобиля после того, как этот форд был реквизирован у прежнего правительства, и теперь мог бы с закрытыми глазами собрать и разобрать двигатель. Вся революция будто произошла для выявления его технических способностей.

— Хватит! Хватит! – наконец закричал он, когда багажник перестал вмещать бумажные пачки, и они полетели в салон. – Здесь для людей места!

— Вай, что делать? Что делать? – растерянно забормотал бывший поэт и нынешний чекист Балабян, и бумаги упали из его дрожащих рук прямо в грязь. Бывший поэт успел зарекомендовать себя чекистом решительным, потому как не раз сам вызывался в расстрельную команду.

С тех пор как надел кожанку, он входил в духан к Мамикону совсем в ином качестве. Теперь ему ничего не приходилось просить: сам хозяин, сломя голову, бежал навстречу. А он только грозно хмурил брови, и Мамикон кланялся и угощал его всем, чем только мог, и не брал за это ни гроша! А бывшие благодетели, гробовщик, кассир и парикмахер, так и вились перед новоиспеченным чекистом, заглядывали в глаза, предупреждая любое желание, льстили. А Балабян только еще грознее хмурил брови. И ни у кого язык не повернулся напомнить, что когда-то он здесь читал свои вирши за тарелку похлебки! Теперь, чтобы получить почет и угощение, и пальцем не надо было шевелить, — теперь то, что он не делал, было гораздо важнее любого делания — он им позволял жить! И это новое ощущение власти кружило ему голову похлеще вина, стихов и даже обладания женщиной!

Да, расстреливать Балабян не раз вызывался сам, но из любопытства: ему казалось, что верша лично переход человека от бытия к небытию, должен уловить какую-то Тайну. Он убивал, человек превращался в труп, в куклу, но Тайна так и не открывалась ему, пролетая где-то мимо, и он испытывал легкое разочарование и недоумение. Поэт повторял эти эксперименты и повторял, но Тайна не уловлялась. А теперь он вдруг почувствовал ее приближение! – и до чего страшна она была! Потому что заплатить за это познание можно было только ценой собственной жизни!

И Балабян бросился прочь, в темноту, в переулки, сдирая звездочку с фуражки и не разбирая дороги...

Аршаруни швырял бумаги в кучу посреди комнаты.

Появился Азадбеков с канистрой керосина и, открыв ее, принялся поливать бумаги. Затем он стал плескать на полки, на которых еще оставались пачки и папки, на стены.

— Зажигай! – орал он Петросу. – Зажигай, и уходим!

Петрос чиркнул спичкой, швырнул ее в кучу, и взвилось пламя.

— Уходим! – кричал Азадбеков. Они выскочили из кабинета и Азадбеков, пятась, лил вслед за собой керосиновую дорожку вдоль коридора.

— Зажигай, — скомандовал он, когда канистра опустела.

Пламя вспыхнуло и побежало по коридору.

Неожиданно в здании установилась какая-то странная тишина, прерываемая лишь редкими выстрелами снаружи. Коридоры были пустынные, у разбитых окон никого не было.

— Сбежали! Сбежали, суки! – оскалился Азадбеков. – Ну, я с ними еще разберусь!

Он осторожно выглянул в окно: с правой стороны улицы быстро приближались к дому какие-то фигурки. Он выстрелил в их сторону, выстрелил и Петрос. Фигурки приостановились, съезжились, вспыхивая злыми огоньками.

Внизу у проходной лежал Нещадов, стонал, держась за живот, из которого бесчисленными белыми пузырями неудержимо вываливался кишечник.

— Товарищи! Товарищи! Не оставляйте! – умолял он.

— Не оставим, — сказал Азадбеков, приставив маузер к голове товарища, и в следующий миг на полу возникла кровавая каша, в которую упала лишенная затылка голова Нещадова.

— Все равно не жилец! – пояснил Азадбеков Петросу. – В машину!

Копылов уже установил пулемет на задах. Рядом с ним сидела Надежда с кольцом в руке. Мотор равномерно стучал, и Моисей только ждал команды. Ворота были открыты.

Азадбеков и Аршаруни запрыгнули в машину.

— Все успели? – крикнула Надя.

— Все, все, — прогудел Азадбеков. Окна ревкома все ярче светились от разгорающегося пламени.

— Жаль только моего Карла Маркса! – грустно усмехнулась Надя. – Я так к нему уже за войну привыкла!..

— Стой! – вдруг вскричал Петрос. Его внезапно осенило: так вот тот подвиг, который он должен совершить!

Возможность показать себя в глазах Нади, не задевая авторитета Азадбекова!

— Подождите! Всего минутку! Я мигом! – Петрос выскочил из машины и бросился в здание.

— Куда? Куда? – кричали ему вслед. – Но Петрос мчался, как на крыльях, не обращая уже ни на что внимания. Сияла лишь впереди счастливая картинка. Он вручает бюстик Наде, и та с каким-то необычным интересом смотрит на него, на Петроса.

Прикрывая рукавом лицо от дыма и кашля, он добежал до Надиного кабинета. Дверь была не заперта. Кинулся в комнату, увидел бюстик на сейфе и схватил его. Бюст оказался тяжеловат и, боясь разбить его, Петрос побежал назад, держа его в обеих руках.

— Куда его понесло? – ругался Копылов, и тут неожиданно раздался хрип: у товарища Азадбекова выкатились багровые глаза, он заскрипел зубами, изо рта пошла пена.

— Приступ! Приступ начинается! – закричала Надя в ужасе. – Товарищ Копылов, возьмите его, я не удержу!

— А пулемет?

— Я за пулемет сяду! Ну, быстрее, платочек вот – между зубов суньте!

Азадбеков забился в судорогах, глаза его закатились и, казалось, состояли из одних белков, а навалившийся Копылов еле его сдерживал. А Надя села за пулемет – и эта машинка была ей знакома. Выстрелы на улице резко участились.

— Едем, Моисей! – резко скомандовала Надя.

— А как же Петрос?

— Он был хороший товарищ! – сурово сказала Надя, нащупывая указательным пальцем гашетку, и в уголках ее сжатого в нитку рта обозначились морщинки. – Едем!

Моисей дал газ, машина рванулась с места, вылетела на улицу и сразу повернула влево от надвигающихся фигур всадников.

Надя нажала на гашетку: одна из лошадей высоко вздыбилась, другая сразу рухнула. От неожиданности всадники приостановились. Однако за ними бежали пешие, то здесь, то там вспыхивая огоньками выстрелов.

Снова ударил пулемет. Фигурки становились все меньше, Моисей гнал, но откуда-то из переулков появлялись новые и новые, пешие и конные, и пытались их преследовать, и Надя, поправив ленту, снова и снова давила на гашетку.

— Вот тебе! Вот тебе! – злорадно шептала она, когда очередная лошадь вставала на дыбы и валилась с всадником. Ей казалось, что она бьет по тем навсегда отпечатавшимся в памяти наглым смеющимся глазам изнасиловавшего ее в камере казака.

— Вот тебе за все! За все!.. И за «кривые ноги», гад!..

Петрос выскочил из горящего ревкома с бюстом в руках и застыл: машины не было! Не успел он еще хоть что-нибудь подумать, как почувствовал, что ему в затылок уперся ствол револьвера.

— Не двигайся, Петрос! Так и стой!

Чья-то рука ловко выдернула из его кобуры оружие.

— Так и стой! Так и держи своего бога! – вновь послышался голос. – Не то пристрелю!..

А теперь на улицу! Медленно!.. Пошел!

Голос был совсем незнакомый. Петрос повиновался, как в кошмарном сне. Он боялся обернуться. Он вышел на улицу, все так же чувствуя на затылке твердость металлического рыльца.

Улица была заполнена всадниками в папахах, в архалуках, перевязанными патронными лентами. Завидев Петроса, многие всадники останавливались. Разворачивали коней.

Неизвестный конвоир довел его до стены ревкома и потребовал повернуться к улице лицом. Теперь краем глаза Петрос, наконец, увидел конвоира: это был самый незаметный в чека человек – садовый сторож, который убирал опавшую листву и отвозил трупы на кладбище: маленький немолодой человек... Он и голоса-то его раньше не слышал, слышал только, как утром скребет его деревянная лопата мерзлую землю.

Теперь Петрос стоял, опустив голову, спиной к ревкому, лицом к улице, брусчатка которой белела от утреннего инея.

Он поднял глаза от громового хохота. Перед ним в ряд стояли полукругом кони с всадниками в папахах и, глядя на него, всадники хохотали, указывая друг другу руками на него и на бюст, который он держал – меж черных бород хищно сверкали белые зубы, скалились белыми зубами кони с бессмысленными мордами...

— Держи! Держи своего бога!

— И это и есть тот самый знаменитый комиссар Петрос?..

— Да, да, армяне, это и есть комиссар Петрос, который отправил на смерть сотни и тысячи наших соотечественников! – кричал его сопровождающий. – Я, садовник Ваню Гурунц, взял его в плен и передаю народу на суд!

— А кто скажет, что это и есть тот самый Петрос?

— Я скажу! – внезапно раздался хриплый голос, от которого у Петроса свело холодом спину. Вперед выехал всадник, помахивающий витой кожаной плеточкой.

— Армяне! Это и есть мой кровный брат Петрос Аршаруни!

Смех и гогот прекратились. Наступила напряженная тишина, в которой стали слышны дальние выстрелы, всхрап коня, нетерпеливый стук подковы о брусчатку.

— Эй, Гурген, — послышалось из рядов всадников. – Мы все тебя уважаем... Ты смелый воин, патриот, не чета этому... но если это твой брат – решай сам...

Гурген и Петрос встретились глазами.

— Ну, барэв, Петрос...

— Здравствуй, Гурген, — прохрипел Петрос.

— Ну, помнишь нашу последнюю встречу, помнишь уговор: еще раз встретимся – только один из нас живой уйдет?

— Так убей меня, Гурген! – прохрипел Петрос.

— Нет, Петрос, хватит с меня родной крови! Мой грех – армяне не должны проливать кровь своих родичей, ты знаешь, а я уже убил сестру за то, что она спала с турком...

— Что же ты хочешь со мной сделать, брат Гурген?

— Я? – Ничего! Пусть за меня решит народ!

— Брат! Не отдавай меня им! Ты же знаешь, они не дадут мне легко умереть! Брат, молю, если ты мне брат, убей меня здесь же, сразу, не отдавай им! Я молю!..

— Что же ты не молишь своего бога?

Петрос опустил руки, бюст упал на мостовую, разлетевшись на мелкие кусочки.

Вороной Гургена подступил к нему совсем близко, и Петрос видел бессмысленно-напряженный, в красных прожилках, глаз животного, не стремящегося ничего понять.

— Брат! Убей меня! Последняя просьба...

— Нет, Петрос, пусть народ решит, что с тобой делать! Ты сам себе давно выбрал свой путь и пройди его до конца!  
— Гурген неожиданно хлестнул плеточкой своего вороного, он взвился и понес всадника прочь...

Каким-то образом Петрос оказался посреди улицы, а вокруг него, свистя и гикая, хлопая плетками, хороводом мчались всадники.

Наконец, ход их замедлился. Они смеялись и перекликались.

Один из всадников запел-затянул, резко свистнув, блеснув в воздухе шашкой, песню крестьянина-косаря:

— Ты свисти, коса, свисти!

Выше травам не расти.

Хыше джик-джик,

Хыше джик-джик!

И другие подхватили:

— Хыше джик-джик,

Хыше джик-джик!..

Хоровод шел и шел вокруг, а за всадниками Петрос увидел фигурки людей. Это были те, кто пришел к нему за долгом, неизмеримым невыплатным долгом, и их становилось все больше и больше. И они ждали.

— Хыше джик-джик,

Хыше джик-джик!..

Уже всю пылал ревком: с воем и треском вырывались рваные оранжевые языки из окон, с громом лопались балки перекрытий.

Стало почти светло, но хмурое небо и дым закрывали солнце, и с неба летел снег и пепел.

-Хыше джик-джик!

Хыше джик-джик!..

Улица с всадниками зашаталась, и Петрос упал на четвереньки, бессмысленно таращась перед собою. В городе всю звенели колокола, а ему казалось, что они звонят в его голове.

Всадники исчезли, Петроса оттащили к ближайшему фонарному столбу и прикрутили к нему веревками.

— Люди! — кричал кто-то зычным голосом сверху. — Не убивайте его сразу, пусть каждый сможет задать ему свой вопрос... Напомните ему о тех безвинных, ваших близких, кого он посылал на смерть! Армяне, не все сразу! — В очередь, в очередь!..

Несколько солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками, охраняли и оттесняли его от разъяренной толпы родственников сгнувших в подвале ревкома. Большую часть толпы составляли женщины в черном: матери погибших, сестры, жены... Многих поддерживали мужчины с горящими глазами — братья, отцы... Петрос слышал истошные вопли, проклятья, две пожилые женщины упали в обморок на руки стоящих рядом хмурых мужчин.

Охрана пропускала родственников по очереди: один-два человека. И все они спрашивали у Петроса одно и то же: где мой сын, где муж, где отец? Все святцы армянских имен, накопленных народом за четыре тысячелетия, которых хватило бы на несколько народов, — от языческих до библейских — Ваган, Хачатур, Ной, Абрам, Амаяк, Аветик, Вазген, Сурен, Месроп, Гевор, Петрос, Левон, Тигран, Минас, Манук, Гарегин, Григор, Анастас, Влас... фамилии на ян, янц, уни, унц, без приставок и с приставками «Тер», «Мелик»... Встречались среди имен и фамилий и русские, и грузинские... Они кричали, требовали — где? Где? Отдай обратно!..

— Не знаю... не знаю... — мычал он и получал удар в лицо или в грудь. А ведь среди этих имен попадались и женские — были у них с Атарбековым и женские дни! — и тогда удары были особенно сильными, лопались ребра, с хрустом ломались зубы.

— Не бейте сильно! — кричали охранники. — Оставьте и для других! Не бейте сильно — его надо продержать до вечера!

Когда ему называли очередные имя и фамилию сгнувшего в подвале ревкома, он и в самом деле не мог вспомнить за нею ни одного конкретного лица, человека: их были сотни и сотни, их были тысячи!..

Его проклинали, в него плевали, ему расцарапали лицо, сломали ребра, нос... Даже маленькие, почти бесплотные старушки старались ткнуть его своими острыми костяшками, выдрать хоть несколько волосков... Многих женщин вводили отсюда в бесчувствии, а некоторые мужчины занимали очередь вторично.

К нему подошла маленькая старушка в черном. В отличие от большинства она была одна, ее не сопровождали родственники. Лицо ее было красным и сморщенным, в голубых глазах дрожали слезы. Она долго и покорно ожидала своей очереди.

— Скажите, где мой сын Анушаван Мелик-Казарян, штабс-капитан? Где хотя бы его могила? Очнитесь, умоляю, скажите!..

На нее тупо смотрело разодранное ногтями, разбитое окровавленное лицо и молчало. Из груди привязанного лишь вырывались хрипы и на губах лопались алые пузыри.

А сзади напирала, торопила, требовали: «Проходите же!», «Чего вы ждете?», «Еще много народу за вами!».

Закрыв лицо платком, старушка еще более сторбилась и, вздрагивая, маленькими шажками пошла прочь.

И горел ревком, рухнула крыша, взметнув сонмы искр, и повалил к небу густой черный дым.

А колокола все звонили и звонили.

К вечеру охрана отвязала от фонаря бесчувственное тело, и оно было подвешено на фонаре.

Никто не узнал бы в этом окровавленном трупe, покрытом драными лохмотьями, комиссара Петроса, тонкого ценителя Саят-Новы и страстного мечтателя о светлом счастливом будущем человечества, в котором останется всего лишь одна тюрьма...

Когда стемнело, впервые за долгое время на улице засветились электрические фонари (при большевиках электричество для фонарей подавалось в расстрельный подвал). Ревком догорал. Из обугленных окон тянуло дымом. Окоченевший труп Петроса слегка покачивался на зимнем ветру. Подлетела ворона и села ему на голову.  
— Карр! — сказала она важно и клонула Петроса в темя. — Карр!

## ЯЗЫК, КОТОРЫЙ ДОВЕДЕТ...

Через день после изгнания из Города красных по центральной улице шел офицер с золотыми погонами на шинели и висящей на синей косынке левой рукой.

Все события предыдущих суток прошли мимо него: пока на улицах стреляли, рубили, душили и вешали, он лежал в жару — полученная во время последней ночной прогулки рана воспалилась, и был кризис.

Ему то и дело мнилось: снежная степь под Новочеркасском, прицел, мушка с сухой травинкой и цепь красных, идущих на позиции. И было что-то до боли общее между ним, этой травинкой и теми, которые шли на прицел. Но он превозмогал это чувство общности и нажимал курок, отдаваясь азарту боя.

Теперь он шел с лицом белым, как снег, и только черные глаза горели упрямством несдающегося человека. Тихо падали редкие снежинки.

Что-то на этой улице изменилось: несмотря на слабость, он почувствовал это: и даже не в сравнении с тем временем, когда город был под красными (при большевиках все было серо — люди боялись выделяться и говорили тихо, оглядываясь), а в сравнении с временем до прихода большевиков. Конечно, вновь появились откуда-то нарядные, богато одетые люди, дамы в дорогих шубах проезжали на свежераскрашенных фаэтонах, из которых то и дело раздавался кокетливый смех, и лошади, беря подъемы, вновь кивали султанами из цветных перьев. Нищие, немного распрямившиеся, хоть и так же несытые, при советах (как-никак почти союзники пролетариата!), вновь согнулись, втянули головы и пугливо жались к стенам. Все это было и тогда, но появилось в атмосфере что-то новое, тревожащее незнакомое: лица стали более грубыми, тяжелыми... исчезли офицеры, погоны и фуражки, которые раньше то и дело мелькали среди прохожих, исчезла почти интеллигенция и... совсем не стало слышно русской речи! — Везде властвовал рокочущий и цокающий, громогласный армянский, со всеми привнесенными из разных провинций диалектами. «Да, — большевицкая прополка!» — подумал поручик, и только сейчас почувствовал, как соскучился по русскому языку.

«Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои, Пускай в душевной глубине встанут и заходят оне!» — пробормотал Гайказуни и неожиданно почувствовал необъяснимое облегчение и торжественную радость, и окружающий мир стал светлее. Кто он? Русский или армянин? По крови — армянин, родился и получил воспитание в Петербурге, тоскующий по «Северной Пальмире»... Но за пару лет успевший прикипеть и к этой суровой земле, к Горе!..

У фонаря двое румяных рослых парней молча и методично били по щекам стоящего перед ними на коленях нищего, и никто из прохожих не обращал на это внимания.

— За что бьете? — спросил, приостановившись, Гайказуни.

— А тебе какое дело? — огрызнулся один из молодых.

— Сейчас вам будет дело! — вытащил наган Гайказуни.

Парни пустились наутек.

— Спасибо, господин офицер, — закивал головой нищий с кровоточащим носом. — Я их знаю — это бездельники Хачик и Вазген. Второй раз у меня уже выручку отбирают на выпивку! Только жаль, господин офицер, что деньги-то уже не вернуть...

— Ну, я б тебе дал, дорогой, да я сам сейчас не богаче тебя, — усмехнулся поручик.

Над зданием правительства вновь развевался трехцветный армянский флаг. Напротив колоннады с лестницей ждали каких-то очевидно важных лиц фаэтоны и даже один автомобиль.

У автомобиля стоял автомобилист в кожаном шлеме со сдвинутыми на лоб очками, в комбинезоне и крагах. Вокруг него толпились фаэтонщики. Многие из них были одеты с претензией на солидность и праздничность: меховые куртки и шинели с потускневшими цветными с позолотой вышивками.

— Будущее принадлежит автомобилям! — вопил, размахивая руками в крагах, шофер.

— Что твой автомобиль? — возмущались фаэтонщики. — Он через год никому не нужен будет, как только война кончится!

— Вы не понимаете, скорость — это ну как... ну как вино!

— Ай март! \* Вот и видно, что ума у тебя, как у пьяного! А от твоего автомобиле только вонь!

\* Ай март! — Эй, человек! — в значении: «Послушай!»

— А от навоза ваших лошадок одеколоном пахнет? Не нанюхались?

— Люди! Он наших лошадок обидел! — надвинулись на него фаэтонщики, народ пожилой, но еще крепкий. Водитель тут же встал в боксерскую стойку.

— Вы можете меня побить, вас больше, но будущее – за автомобилем! Он быстрее: любого вашего лихача обставлю!

Внезапно к шоферу подскочил некто маленький и верткий.

— Вот, — закричал он, тыча на дородного старика с седой бородой. – Пусть умный человек скажет!

— Да, пусть Гарегин Согомоян скажет! Так и будет!

Старик, не спеша, оглаживал седую бороду.

— Умному человеку зачем быстро ехать, эли\*? Он едет спокойно, ду-умаает! – при этом старик многозначительно поднял вверх указательный палец. – Захотел выпить – спроси у человека, чтоб у духана остановился. Зашел в духан, принял стаканчик и снова в фаэтон – дальше думать!.. А мой внук, когда венчаться будет, неужто на железной коробке к церкви подъедет? Ц-ц-ц, да это же позор семьи! Фаэтон выберет! Фаэтон и только фаэтон! И я бы тоже сделал так!

---

\*Эли – «да, так» в функции подтверждения.

---

— А невеста выберет авто! – орал водитель, тыча в старика кожаным пальцем. – Авто! Авто!..

А неподалеку, напротив ступенек, небольшая толпа обсуждала положение дел, ждала корреспондентов газет с последними новостями. В здании происходило то, с чего всегда начинается новая власть: выбирали новое правительство, делили кресла и портфели...

Григорию сказали, что штаб находится в левом крыле особняка. Поручик вошел свободно: никто его даже не остановил и не спросил, куда он идет. В коридоре властвовала армянская речь. Ему не попалось на глаза ни одного офицера: увешанные оружием и беседующие у окон люди больше походили на абреков, чем на регулярную армию. Иногда между ними шныряли молодые люди в штатском и с папками в руках – новоспелые чиновники, одетые, в основном, в суконные, аккуратно отглаженные костюмчики, пахнущие одеколонами.

Наконец, он нашел нужный кабинет, где регистрировали вновь прибывших военных.

В комнате за двумя письменными столами сидели два штатских молодых человека, о чем-то веселом говоривших, судя по отсветам гаснущих при появлении поручика улыбок.

Они настороженно уставились на него, видимо, удивленные, что в городе остался еще живой офицер бывшей армии. Как и большинство офицеров русской царской армии, Гайказуни недолюбливал штатских умников. «Да к тому же еще, наверняка, и социалисты!» — подумал он.

Григорий подошел к ближайшему столу, представился.

Молодой человек вальжным движением выложил на стол анкету:

— Заполняйте, — и придвинул чернильницу с ручкой.

Гайказуни поднес листок к глазам и увидел, что анкета отпечатана на армянском. Но если за последние два года он научился вполне сносно объясняться по-армянски и даже читать деловую документацию, то овладеть навыком рукописной графики этих витых древних букв все как-то не хватало времени.

— А можно взять с собой? Мне надо подумать...

Молодые парни насмешливо переглянулись.

— Пожалуйста.

И уже выходя, Гайказуни услышал за спиной:

— Шуртвац гай!

Но ему некогда было оборачиваться и выяснять отношения с этими штатскими молокососами, имевшими бронь от службы в армии и нашедшими здесь теплое местечко — наверняка по протекции каких-нибудь родственничков.

Он вышел из кабинета с анкетой в руках и огляделся: ни одного знакомого лица и вдруг... Ба! Да это же прапорщик... фамилию забыл. Прапорщик был из молокан\* и нрава неумного. Устав от замкнутого молоканского мира, он, несмотря на данное молоканам освобождение от воинской службы, бежал добровольцем в армию еще в 1914 году, да так и прилепился к армейской жизни. Знакомы они были шапочно, а тут он вот тоже заметил его, огромный, под два метра медведь, раскинув руки, шел к нему, как к родному.

---

\*Молокане – род секты русских раскольников, поселившихся в Закавказье, не признающих икон и священников. Вследствие воинских поборов, к армянской Республике относились, в массе, отрицательно.

---

— Поручик Гайказуни!

— Прапорщик Утесов! – он вспомнил фамилию в самый момент произнесения.

Они обнялись, как старые знакомые: прапорщик загреб его двумя ручищами, а поручик охватил его одной здоровой.

— Вот уж не думал, господин поручик: как офицеров-то эти изверги извели! А это чего? – показал на перевязанную руку Григория Утесов.

— Большевички!

— Понятно... Серьезно?

— Ерунда! – теперь он чувствовал, с каким наслаждением говорит с этим человеком на русском языке. – А ты откуда свалился, Утесов?

— С печи! – рассмеялся прапорщик. — С самой настоящей русской печи! Как только большевички заявили, я в деревню, к своим. Так два месяца на печке и пролежал. Наши, хоть и плохонького блудного сына, но не выдадут, хоть всю деревню к оврагу ставь!

— Слушай, Утесов, — неожиданно в глазах Гайказуни блеснула догадка, — а ты, случаем, по-армянски не пишешь?

— Случаем, еще каким случаем. Тятка гонял в соседнюю деревню, в армянскую школу, говорил – пригодится!

— Пригодится, ох как пригодится! Сделай милость, друг, заполни на меня анкету? – протянул ему бумажку Гайказуни.

— А вы не?.. – удивленно выпучил глаза Утесов.

Гайказуни только смущенно пожал плечами.

Утесов взял анкету и, пробежав глазами, усмехнулся.

— Да, вот ирония, — согласился Гайказуни, — ты русский, знаешь армянский лучше, чем я, армянин! Зато в русском я тебе фору дам, поверь...

Утесов только махнул лапой, что могло обозначать все что угодно.

Они нашли стоящий в сторонке у окна стол для посетителей с чернильницей, ручкой и железными перьями.

Поручик диктовал, а Утесов ловко, уверенным, мелким, но четким почерком заполнил анкету минут за десять.

— Ну вот, — протянул он анкету поручику, подув на еще не высохшие чернила.

— Ну, спасибо, брат! Слушай, я по русскому языку так соскучился!..

— А я у себя в деревне по армянскому!

Они расхохотались.

— Господин поручик, как оформитесь в роту, ко мне заходите – Н-ский батальон, вторая рота, прямо в казармах!

— Спасибо. Утесов, обязательно зайду...

— Ну, удачи! Надо в роту бежать... — они крепко пожали друг другу руки, и Утесов быстрым широким шагом помчался к выходу.

Гайказуни снова отправился в комнату регистрации.

— Белый ангел! – вдруг услышал он хриплый смех. – Никак сам белый ангел к нам спустился! – и обернулся.

Теперь, растопырив руки, к нему шагал хмбапет Аршаруни. На сей раз он был в своем обычном воинском виде без всякого конспиративного маскарада: каракулевая папаха, френч, кобура с маузером – совсем как тогда, когда Григорий увидел его впервые в духане.

Они обнялись, Аршаруни нечаянно задел больную руку, и Григорий чуть поморщился.

— Что за дела? Это после кладбища? Серьезное?

— Пустяки, кость не задета – так, повалиться пришлось.

— Во! – расхохотался Гурген, — пока ты валялся, мы город взяли. И тебя, между прочим, искали! Ты ведь нам здорово помог, художник!

Хмбапет слегка отсупил от поручика и взгляделся в него.

— Вай! Да ты, я вижу, совсем белый, даже зеленый! Сколько дней не кушал? Кушать надо, понял!

— Вот иду регистрироваться...

— На довольствие, на довольствие! Идем, я все устрою! – воскликнул Гурген и поволок Гайказуни за руку в кабинет.

Завидев хмбапета, вальяжные молодые люди тут же вскочили и подобострастно заулыбались.

— Вот этого моего товарища, героя восстания, оформляйте.

— А анкета?

Гайказуни, улыбаясь протянул им лист.

— Ну-ка быстро гляньте, все ли там так? – прорычал Гурген.

Один из молодых людей схватил анкету, быстро пробежал глазами и, улыбаясь, протянул назад. – Все так, на довольствие поставим, как только Вас определят в часть.

— Да не доживет он! – возмутился Аршаруни. – Видите – рука ранена, десять дней человек не ел! Смотри, какой зеленый!

Молодые люди растерянно пожимали плечами.

— Но мы ничего не можем сделать! Мы люди маленькие.

— Зато большие бюрократы! – огрызнулся Гурген.

— Ладно, — обратился он к поручику, — черт с ними, бери бумагу и пошли за мной!

Он снова схватил его за руку и поволок куда-то.

— Гурген, — со смехом спросил Гайказуни, — куда ты меня тянешь, словно маленького мальчишку?

— К министру! – буркнул Гурген.

— К кому-у?..

— К министру новому, я ж говорю!

Вскоре они наткнулись на огромную очередь военных и гражданских — пожилые мужчины, молодые и пожилые женщины в черном — очевидно, родители, хлопочущие за своих чад или вдовицы и матери, мужья и сыновья которых умерли или были убиты.

Аршаруни бесцеремонно растолкал всех и, ведя за собой поручика, вошел под возмущенный рокот очереди в дверь.

В комнате сидел пожилой секретарь во френче.

— Я к Давиду! – небрежно кивнул секретарю Гурген и толкнул следующую дверь, за которой и был собственно кабинет министра обороны.

Они вошли в кабинет и, к своему удивлению, за столом Гайказуни увидел совсем молодого человека с бородкой и приятной наружности.

При виде посетителей он улыбнулся и встал.

Они с Аршаруни пожали друг другу руки.

— Здравствуй, Давид!

— Здравствуй, Гурген!

— А я вот привел к тебе поручика Гайказуни, о котором рассказывал: он нам помог – когда мы с Дро город брали, по его планам шли, ранение получил. Воевал под Сардарабатом, на Саракамыше...

Молодой человек доброжелательно протянул руку поручику. Лицо у него было правильным, красивым и умным.

— А это наш новый министр обороны! – торжественно объявил Гурген.

— Ну, во-первых не министр, а замминистра, пока Дро занят в правительстве, а во-вторых, я отсюда в любой миг могу полететь!

— Вот! – обернулся Гурген к Гайказуни, обняв за плечи Давида, — самый честный министр в нашем правительстве! Никаких родственных связей не признает, никаких протекций от влиятельных лиц! Всем, кто теплые местечки ищет – отказ! На него уже целый мешок жалоб!

— Потому долго и не продержусь, — рассмеялся молодой человек.

— Брось, Давид! Брось! Ты на своем и должен стоять! Такие как ты нужны Республике!

— Слушаю вас, — глаза Давида обратились к Гайказуни – они были внимательные и спокойные.

— Господин министр, я пришел за припиской в часть, — Гайказуни протянул анкету Давиду.

— Это хорошо, — кивнул Давид, — после большевических репрессий офицеров у нас катастрофически не хватает.

Что вы хотели бы – батальон, а может, полк?..

— Я бы роту взял, как раньше...

— Ай март! – хлопнул в сердцах себя по колену Аршаруни. – С таким вопросом и к министру! Я из него генерала хочу сделать, а он только роту просит!

— Дайте мне роту, — уперся Гайказуни, — в штабах я не привык...

— Хорошо, — несколько удивленно кивнул Давид, — пока дадим роту, а в общем-то подумайте все-таки... — достав бумагу, он начал что-то писать. Закончив, протянул Гайказуни. – Завтра же направляйтесь в казармы к полковнику N... , он вас определит.

— Давид, дорогой! – воскликнул Аршаруни. – Он хоть и ангел белый, но кушать ему надо, чтобы рана заросла!

Давид кивнул и, выгасив очередной лист, снова принялся писать.

— Вот, можете получить жалованье или ассигнациями, или в виде пайка на месяц, только быстрее в кассу, а то там мигом все расхватают! И печати не забудьте у секретаря поставить...

— Слушай, Давид! – со смехом сообщил министру, обнимая поручика за плечи, Аршаруни, — А ведь я его чуть не застрелил, когда мы впервые увиделись!

Гайказуни махнул рукой.

— В России говорят: «Кто старое помянет, тому – глаз вон!»

— Ай, хороший министр! – покачал головой хмбапет, как только они вышли из здания. – Жалко, скоро снимут!..

## ПОСЛЕДНИЙ БАЛ КНЯГИНИ АБАМЕЛЕК

«В здании бывшего губернского правления вечером ... февраля американской миссией проводится благотворительный бал в честь освобождения от русско-большевического ига. Принимаются все участники героического штурма. Запись проводится предварительно по тому же адресу...»

Гайказуни стоял и перечитывал только что перед ним наклеенное на тумбу объявление, чувствуя раздражение: «Ну, большевическое иго – понятно, а «русское» почему?»

Вдруг, будто со стороны, увидел: сочная зелень Летнего сада в Петербурге, мама, молодая и самая красивая под легким ажурным зонтиком, ведет его, одетого в матроску, по песчаной аллее. Сколько ему было тогда? – Года четыре, кажется. Среди зелени тут и там белеют статуи. И предстала перед ним совершенно обнаженная мраморная женщина! В легкой грациозной позе она прямо смотрела на него, совершенно не смущаясь своей наготы.

— Мам, а почему она такая голая?

— Это богиня любви Венера, Гришенька. А обнаженность – чтобы показать всю ее красоту.

— А зачем мы все одеты?

— А чтоб некрасивым обидно не было, Гришенька...

— Но ты у меня самая красивая! Только я не хочу, чтобы ты так стояла. Но ты богиня, хоть и одетая!

Где-то вверху рассыпался мелодичный смех...

«М-мда! Хорошенькое «иго!» — хмыкнул поручик и, развернувшись, зашагал домой.

Елена будто с цепи сорвалась, как только услышала про бал, и сразу погнала его записаться.

— Гайказунчик, ты просто чудо! – необычно искренне и крепко поцеловала она его, как только он, вернувшись, сообщил о выполненном поручении.

Она носилась по комнатам с шальным блеском в глазах, перебирая то и дело, переодевая свои бесчисленные платья, кулоны, броши, бусы, колье, серьги, крутилась у зеркала, перед поручиком, требуя его мнения и мешая читать.

— Да тебя хоть в рогожу одень – все хорошо будет, — бурчал он.

— Тебе просто все равно, в чем я буду! – упрекала она его, все более раздражаясь односложными ответами.

Потом, сосредоточившись, взяла ножницы, иголку, нитки, наперсток и, вздыхая, что-то подшивала и перешивала, то и дело сокрушаясь, что портной (они все-таки нашли хорошего дамского портного!) только вчера снял мерку и не успеет приготовить к балу новое платье.

Когда ей казалось, наконец, что платью выбрано подходящее, она восторженно, как девочка, кружилась по комнате, а Гайказуни, оставив книгу, сидел у окна, курил трубку и смотрел на нищую улицу.

— Гайказунчик, ну почему ты такой бука? – игриво подбежала она, присаживаясь к нему на колени. – Тебе так плохо, когда твоей девочке хорошо? О чем ты думаешь, дорогой?

— О долгах, дорогая...

— Ой, какой ты зануда! Умей же радоваться, хоть минуту! Хоть сегодня не думай о плохом. В конце концов, все человечество живет в долг до Страшного Суда!

А он не мог не думать: за каких-то два дня они не только совершенно истратили его месячное пособие, но и наделали кучу долгов: чем расплачиваться с тем же портным, что они завтра будут есть – он не представлял. Да и рана гноилась тихонько, побаливала. Ему советовали сходить к доктору, но ведь это тоже деньги! И он решил – само заживет. А организм отказывался лечить сам себя: ему не нравилось, что его не кормят нормально, травят дешевой водкой и табаком, не дают выспаться, и он таким образом выражал свой протест.

Но подлинные муки Елена почувствовала, когда надо было выбирать из нескольких отобранных платьев одно. Она разложила их на ковре и ходила вокруг, придирчиво оглядывая с разных сторон.

— Что же мне выбрать? – вопрошала она. – Я ведь не знаю, какое будет там освещение, какого цвета стены, будут ли там цветы...

— Что ж, — решила она наконец, — мне и не надо знать, какое там будет освещение – я сама буду Солнцем!

Затем она стала раскладывать пасьянс и, закончив его, торжественно сообщила Гайказуни, что карты сулят в сегодняшний вечер большие изменения в их жизни.

Будто какой-то тяжелый ком упал в сердце Гайказуни.

— И какие? Хорошие или плохие?

— Хорошие, конечно хорошие! – рассмеялась она, присев ему на колени, вороша его черные вьющиеся волосы и смотря в глаза ласково, но как-то по-особенному, испытующе.

Когда они подъехали к особняку бывшего губернского правления, там уже стоял ряд фэтонов, карет и несколько автомашин.

Расплатившись с фэтонщиком, Гайказуни вышел первым и подал здоровую руку ступающей на мостовую Елене. Они резко контрастировали: на Елене была недешевая шубка, из-под которой выступали кружевные оборки платья, глаза ее возбужденно блестели из-под элегантной меховой шапочки с темной вуалькой, Гайказуни же был одет в легкую потертую шинель, хоть и с золотыми погонами, левая рука висела на синей косынке, на голове, несмотря на ветер, легкая офицерская фуражка вместо надоевшей папахи, а светлые глаза его казались черными и ничего не выражающими провалами.

Они поднялись по ступеням, Гайказуни потянул за кольцо, протетое сквозь ноздри бронзового льва, высокая дверь открылась, и они вошли: сначала Елена, затем поручик. В фойе два охранника в перетянутых португеей френчах и маузерными кобурами на поясах внимательно проверили их пригласительные.

Лакей, седой и сгорбленный, будто от профессиональной угодливости, старичок в бывшей когда-то роскошной старой ливрее принял шубу, шинель, головные уборы.

— А вот оружие, уважаемый господин офицер, придется отдать, – кивнул он на кобуру поручика, — такие у нас правила. Да вы не беспокойтесь, все будет в полной целостности и сохранности, ничего не пропадет, все отдадим на выходе!

Гайказуни вытащил наган, предварительно еще раз проверив предохранитель, и протянул старичку.

— Как ваша фамилия? – старичок записал на бумажке его фамилию, и оружие исчезло под стойкой. Там, на полках для шляп и поклажи, уже был разложен целый арсенал, которым старичку ни разу в жизни не приходилось обладать: наганы, маузеры, смит-венсоны, кольца, бульдоги, кинжалы и даже три шашки.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, клянусь, все будет в целостности и сохранности, — успокаивал старичок, встретив вопросительный взгляд поручика.

Уже поднимаясь вверх по мраморной лестнице, устланной ковровой дорожкой, они слышали шум вспыхнувшего у раздевалки скандала.

— Я князь Нашелидзе! – кричал молодой статный красавец в красной чохе с золотыми газырями. – Кинжал не отдам! Да это вовсе и не оружие – это часть национальной одежды! Что за грузин без кинжала? Это... это то же, что русский без штанов!

Растерянные охранники и лакей начали о чем-то спорить между собой.

— Долго мне так стоять? Да я лучше тотчас уйду! – бушевал Кикола Нашелидзе (Кика среди своих), но вдруг, увидев поднимающееся по лестнице золотое облако волос Елены, замолчал, да так и остался стоять, и в вишневых его глазах загорелись искорки любопытства.

С утра у князя было плохое настроение. Прослышав об успехе восставших в Армении, он уже вчера появился здесь, сразу выехав из Батума, поближе к захваченной большевиками Кахетиини, куда, как он надеялся, восстание распространится: чрезвычайный английский посланник, полковник Кроуфт, любезно предложил ему свободное место в своем автомобиле. Автомобиль был крытый, но отовсюду сквозило, и на левой стороне носа Нашелидзе вскочил

небольшой, с булавочную головку, красный прыщик. Друзья посоветовали прижечь его на ночь уксусом. Но наутро прыщик показался ему еще больше, что окончательно испортило ему настроение. В течение дня он то и дело всматривался в ручное зеркальце, которое всегда было с ним, не растет ли этот злосчастный прыщик, и к вечеру ни о чем другом, как об этом прыщике, уже думать не мог. Конечно, скорее всего, просто продуло, ну, а если сифилис? – От этой мысли у впечатлительного Нашелидзе вмиг холодели руки и ноги.

Но при виде торжественно поднимающихся вверх золотых волос над узким, обтянутым синей тканью станом, перехваченным пушистым боа, любопытство пересилило все остальное, и он сегодня впервые на миг даже забыл о проклятом прыщике.

Его вежливо попросили задержаться, и он милостиво согласился. Тем временем один из охранников бегал куда-то наверх, что-то выяснял и, наконец, примчался вниз, сообщив, что в виде исключения князю позволено пройти на бал «с частью национальной одежды».

Нашелидзе кивнул и, гордо вскинув голову, стал быстро подниматься по лестнице. «Вот так, – думал он радостно, — вот так!» Пусть все и отдадут оружие, а он не все, – он грузин, а значит – особенный! Все грузины – особенные, самые-самые, и весь мир это должен знать!

Он быстро поднимался, горя от нетерпения увидеть лицо женщины, которой принадлежали такие роскошные и так ценимые на Кавказе золотые волосы!

Там, где лестница заканчивалась, всех встречала восьмидесятилетняя княгиня Като Абамелек. Несмотря на свой почтенный возраст, она была еще какая боевая!

Ее занесло сюда по каким-то наследным делам своей обширной родни из Тифлиса, куда она в 17 году бежала из Петербурга. Здесь она жила в небольшом уютном домике и собиралась уже отбывать в Тифлис, как довольно серьезно прихворнула, а когда ей стало лучше, в город уже вошли красные, и чекисты лютовали. Нагрянули и к ней с обыском. Целый отряд в кожанках, вооруженных до зубов чекистов. Увидели почти лысую старуху в простой рогожке.

— Кто здесь княгиня Абамелек?

— Я, — ответствовала, странно улыбаясь, старушка.

Чекисты потребовали «именем революции» отдать все имеющееся у нее золото и драгоценности.

— Золото? – удивилась старуха и стала странно хохотать. – Вы знаете, у меня очень много золота! Берите все, все золото. Она высыпала чекистам металлические ложки, вилки, ножи, сковородки, уверяя, что они золотые.

Когда ей пригрозили наганом, она еще пуще захохотала.

— Золото! Золото! Так берите же его! У меня все золотое! Эти тарелки, миски, эти стены, потолок – они же из золота, разве вы, о слепцы, не видите? А стекла у меня из алмазов!

Она плюхнулась в кресло и хохотала, пока разозленные чекисты переворачивали все вверх дном.

А когда разъяренный командир отряда поднес кольт к самому ее носу, грозя немедленно расстрелять, вдруг как-то по особенному заурчала, достала лорнет и принялась всматриваться, разглядывать ствол с каким-то неестественным порочным любопытством. Затем сконфуженно захихикала, словно увидела во всей красе срамной орган и ей сделали ужасно неприличествующее ее возрасту подзабытое, но не лишнее приятности, предложение. Она хихикала, жеманно смеялась, бесстыдно хохотала, смех ее был настолько безобразен, что каждый из присутствующих почувствовал, помимо воли, будто входит с этой старухой в какую-то противоестественную связь, и чекисты, ругаясь, ушли, даже не закончив обыска.

— Видать, эта ведьма и впрямь сумасшедшая! – выругался, сплюнув, командир отряда, когда все выскочили на свежий воздух. – Черт с ней!

После красных в городе почти не осталось аристократов, княгиню нашли почти случайно и пригласили как единственную особу, кто помнил и понимал толк в таких делах, быть распорядительницей бала; и теперь она встречала всех поднимающихся по лестнице, в широком старомодном платье, напудренная и нарумьяненная, с роскошной башней парика на черепахе, во всем блеске своих бриллиантов и золотых украшений, так и не доставшихся чекистам.

Справа от нее стоял довольно плотный молодой человек в костюме – представитель американской благотворительной миссии, слева — совсем молоденький армянин от партии дашнакцутюн, с листом и карандашом в руках. В функции американского молодца, не понимающего ни слова ни по-русски, ни по-армянски, входило широко улыбаться вновь прибывшим белозубой улыбкой, крепко жать руки мужчинам и кланяться женщинам, приложив руку к сердцу, молоденький же обязан был немедленно исполнять все распоряжения княгини.

Поднявшись по лестнице, Елена и поручик задержались, ожидая, пока шедший впереди высокий стройный мужчина в сером твидовом костюме и с проседью в черной курчавой шевелюре представлялся княгине.

— Сос Тадевосянц! – отрекомендовался он.

Имя этого поэта знала почти вся Республика, и он не нуждался ни в каких дополнительных рекомендациях. Лет ему было под пятьдесят, и преждевременные морщины не только не портили его тонкого одухотворенного лица, но дополняли ответом какой-то мягкой умудренности.

— Княгиня Абамелек! – подсказал молодой человек с карандашом и списком приглашенных.

Княгиня милостиво улыбнулась, протягивая поэту свою унизанную кольцами птичьей лапкой, которую Сос поцеловал.

— Милости просим!

— Простите, — обратился к ней Тадевосянц. – А не имеете ли вы отношение к той Абамелек, о красоте которой писал сам Пушкин?

— Я ее внучатая племянница! – проскрипела старуха, улыбаясь.

— О-о! – округлил глаза Сос и продекламировал:

Когда-то (помню с умилением)

Я смел вас нянчить с восхищеньем,  
Вы были дивное дитя.  
Вы расцвели – с благоговеньем  
Вам ныне поклоняюсь я.  
За вами сердцем и глазами  
С невольным трепетом ношусь,  
И вашей славою и вами,  
Как нянька старая, горжусь.

Присутствующие невольно заплодировали, а старая княжна, достав кружевной платок, на миг приложила его к глазам:

— Проходите, проходите, дорогой Тадевоянц, будьте как дома, мы с вами еще обязательно побеседуем.

— Поставь плюстик, дорогой Рафаэль, — попросила княжна негромко молодого армянина, как только поэт отошел, и напротив фамилии Тадевоянц возник крестик. Княгиня заранее отмечала тех, кто смог бы вальсировать, ставя крестик напротив фамилии мужчины и минус напротив фамилии женщины, и заранее, во избежание непредвиденных эксцессов, зная бешеную ревнивость народа, от которого происходила, уже намечала пары. Напротив же имен тех, кто в вальсах разбирался не лучше медведя, в основном, командиров отрядов, вчерашних крестьян, собственно тех, кто и брал Город и в честь которых и был устроен бал, — по большей части, появлялись нолики.

— Графиня Елена Вербицкая-Голенищева и поручик Григорий Гайказуни. — Поручик, вытянулся в струнку и слегка щелкнул каблуками.

— Вербицкая-Голенищева... Как же, как же, сударыня, я помню, как вы блистали в Петербурге, немало наслышана, — улыбнулась старушка, пристально глядя на Елену. — Сочувствую утере такого замечательного мужа...

В ее словах и взгляде таился только им обоим понятный намек на небезукоризненное прошлое Вербицкой, имевшей немало любовников при пожилом муже-генерале, и прямая издевка.

Однако Елена смотрела на княгиню прямо и с вызовом, и Абамелек перевела взгляд на поручика:

— А вы не из Санкт-Петербурга ли?

— Так точно, мадам, мой отец полковник, преподавал математику в Михайловском артиллерийском училище.

— Гм-м... Гайказуни – знакомая фамилия. Хотя батюшку вашего не знавала, видно, не очень был охоч до светской жизни, а вот дедушку-генерала помню прекрасно: ох, и развеселый был человек, душа любой компании!.. И большой любитель женщин!

А вы не ревнивы ли?

— Не ревнив! – с вызовом ответила вместо поручика Елена. – Очень даже не ревнив, – рассмеялась она, и Гайказуни слегка нахмурился.

— У вас что-то с рукой, господин поручик?

— Пустяки, мадам, уже заживает.

— Как жаль, что это вам помешает принять участие в танцах, так не хватает кавалеров.

— Что поделать? – Гайказуни пожал плечами.

— Ну что ж, ну что ж, я надеюсь, что вам все-таки не будет скучно! Проходите, милости просим!

В это время за ними жарко дышал, ожидая своей очереди, князь Кика Нашелидзе.

— О, дорогая княгиня! – воскликнул он, целуя лапку старушке, которую знал по Тифлису.

— О, дорогой князь, какими судьбами вы здесь?

— Я должен возглавить восстание в Грузии, но это между нами...

— О-о! Вы просто герой, князь!

Нашелидзе глянул вслед отходящим Елене и поручику.

Он уже успел прекрасно разглядеть Елену, держась к ней так, чтобы она не смогла, повернувшись, увидеть его прыщик. А в том, что она обернется, он был почти уверен. И угадал: она повернулась, как бы невзначай, скользнув по нему спокойными голубыми глазами, будто охотник, оценивающий обстановку окрест.

— Послушайте, княгиня, — горячо зашептал он, — кто эта женщина? Скажите, Бога ради!

— А-А! – лукаво погрозила сухим пальчиком княгиня. — Это Елена Вербицкая, вдова генерала Голенищева — очень опасная женщина!

— Я люблю опасность! – гордо вскинулся Нашелидзе. – А кто это с нею?

— Ее любовник, поручик.

— Дворянин?

— Из новеньких! – небрежно махнула рукой княгиня. – Его дед начинал простым солдатом. К тому же, мне кажется, этот молодой человек с ней – подкаблучник... Кроме того, он не сможет танцевать из-за руки, так что ваше приглашение на танец будет выглядеть вполне естественным. Так что дерзайте, но я надеюсь, все, что здесь произойдет, будет в рамках...

— О, клянусь честью! Клянусь честью! Я ваш должник навек, княгиня! — князь еще раз схватил лапку, чмокнул ее и помчался в зал так, что широкие рукава его красной чохи всплеснули, словно крылья.

— Рафаэль, поставь напротив Вербицкой минус, а напротив Нашелидзе плюс.

Главной заботой ее было составить пары для вальса, без которого немислим никакой бал, а их получалось не так уж много. Надежда была на небольшое количество молодежи из приличных семей.

Мужественная старушка простояла почти час на своих ревматических ногах, принимая гостей, и, наконец, передав дела Рафаэлю, двинулась в зал, где нашла удобный диванчик, откуда было удобно обозревать помещение, и плюхнулась в него, достав лорнет. Особо выдающихся, запоздавших гостей подводили уже к ней.

В зале сверкали люстры и звучала музыка — величавый полонез. Музыканты находились в самой глубине зала на небольшой площадке, левую половину занимали столы с закусками и бутылками шампанского, в центре блестел паркет, а вдоль правой стены, увешанной копиями картин известных художников, располагался ряд удобных диванчиков для тех, кто, устав во время танца, захочет передохнуть и присмотреть себе поближе очередного партнера или просто вскользь с кем-то побеседовать.

За небольшим зимним садом, состоящим из нескольких кадок с фикусами, лимонами и пальмами, находились распахнутые двери в другой зал, поменьше — для игроков в нарды, шашки, бильярд и карты.

Поручик и Елена расположились за одним из столов, откуда был хорошо виден центр зала и площадка с музыкантами. За соседний стол уселся красавец в красной чохе с золотыми газырями, то и дело бросающий взгляды на Елену, будто удостоверяясь — на месте ли она.

Неожиданно внимание присутствующих приковали три фигуры, появившиеся в дверях: два огромных живописных сикха, бородатые красавцы в чалмах, что повыше — в золотых эполетах, и лысый человечек неприметной внешности и небольшого роста между ними в английском френче с погонами и в американских брюках-галифе. В первый миг можно было подумать, что главный среди них — красавец в эполетах, однако индусы были лишь телохранителями. На некоторое время троица остановилась, и человек во френче сощурился, присматриваясь к залу.

— Полковник Кроуфт! Полковник Кроуфт! Пожалуйста сюда! Please! — приподнявшись со стула, замахал ему рукой красавец в красной чохе. Завидев князя, полковник Кроуфт дружелюбно помахал рукой и двинулся к его столику. При этом один из сикхов (без эполет) остался стоять у двери — очевидно, младший по званию телохранитель. Он застыл, как изваянье, положив правую руку на рукоять кинжала (исключение пришлось сделать не только для Нашелидзе).

В зале оказалось немало не нюхавших пороха юнцов в аккуратных костюмчиках и милых черноглазых девиц с бдительными мамашами. Собственно, настоящих освободителей города от красных в этом зале почти не было. Настоящие солдаты, мрачно оценив обстановку не в свою пользу, в основном сразу шли в соседний зал и занимали места за досками для игры в нарды и шашки. Это и были те, напротив фамилий которых стояли нолики.

Музыка прервалась, на сцену вышел пожилой человек, известный член дашнакской партии, и по бумажке зачитал приветствие правительства по случаю освобождения Города и предложил в честь этого события поднять первый тост. Тут уж и хмбапеты из игрового зала сбежались, и среди них Гайказуни заметил Гургена.

Оторвав взгляд от бумажки и окинув усталым взглядом присутствующих, пожилой человек добавил: «Эта земля видела слишком много горя — так пусть же сегодня будет день радости и веселья! Да здравствует свободная Армения!»

Захлопали бутылки с шампанским, присутствующие поднимали вверх играющие золотым напитком и хрустальным блеском бокалы.

— Да здравствует свободная Армения! Да здравствует свободная Армения! — загремело.

— Да здравствует Великая Армения! — возгласил бас — это был Гурген.

— Да здравствует Великая Армения! — подхватили другие командиры.

Испив до дна, они били бокалы об пол.

Собственно, на этом официальная часть и закончилась, и снова зазвучал полонез, командиры стали опять перемещаться в зал для игр, а официанты убирали осколки.

Гайказуни присмотрелся к сцене и, к своему удивлению, увидел нечто знакомое: маленький, почти как ребенок, дирижер размахивал короткими ручками — только теперь на нем не было буденовки и гимнастерки: вместо них мешковатый, видимо, на пару размеров больший, с чужого плеча, фрак, и вместо барабанных палок в его руках были легкие дирижерские палочки.

Красные музыканты бежать не успели (отступающие попросту о них забыли) и были объявлены военнопленными. Собственно, положение их мало изменилось: им было позволено остаться в тех же казармах, охраняли их крайне небрежно, несколько раз покормили, но потом объявили, что хлеб они могут и сами себе заработать в городских духанах и проверять их будут лишь утром и вечером. Правда, пригрозили: хоть один сбежит — расстреляют всех. Нынешний бал был для них просто подарком: их хорошо накормили, выдали напрокат штатское, и играли они с подлинным вдохновением.

По другую сторону зала поручик увидел Соса Тадевосянца. Поэт, сидя на одном из диванчиков под копией Клода Лоррена «Похищение Европы» в тяжелой золотой раме, вдохновенно не то рассказывал, не то декламировал что-то сидящим рядом трем юным девицам, взирающим на него, как на икону.

Среди столов сновали официанты в белых пиджаках. Едва гости под звуки полонеза успели слегка утолить голод, послышались звонкие хлопки в ладоши и женские голоса: «Вальс!.. Вальс!..»

## НА РАЗРЫВЕ

— Кажется, вас, поручик, опять что-то не устраивает? — она всегда переходила на *вы* перед тем, как разыграть новый скандал.

— Нет-нет, мне все нравится.

— Можете меня не обманывать, поручик, я же вижу... Скажите уж прямо, что вам не нравится?

— Пока мы здесь обедаем и веселимся, большая часть народа пухнет и гибнет с голоду, прямо за этими стенами!

— Боже мой, Боже мой! – страдальчески горько рассмеялась Елена. — Впервые за сто лет захотелось почувствовать себя хоть немножечко счастливой – и этот миг вы умудряетесь отравить! Поручик, вы стали просто невыносимы. Вы бы хотя бы пожалели людей, которые рядом с вами находятся, вы мизантроп, и от этого у вас рука плохо заживает!

Он промолчал, он знал: что ни скажи, это не изменит того, чему суждено произойти.

Зазвучали звуки вальса Шопена.

Красавец в красной чохе подошел к их столу.

— Князь Нашелидзе! – представился он, глядя на Елену и поручика, прижав руку к сердцу и слегка склонив голову.

— Разрешите пригласить даму?

— Дама разрешает! – рассмеялась Елена и, вставая, протянула князю руку. – Не скучайте, поручик — я скоро вернусь.

Все больше пар кружилось над сверкающим паркетом.

С невольным трепетом Нашелидзе обхватил стан Елены, пальцами почувствовал тепло ее тела сквозь тонкую ткань, и ноздри его затрепетали.

— О, Королева!..

И они закружились, не отводя друг от друга зрачков, в которых мелькали и летели огни. Он вел ее, летел к ней и летел, а она поддавалась и ускользала, ускользала...

Они и вправду были самым ярким и колоритным пятном этого бала, его эпицентром, и сами хорошо это чувствовали, и это придавало им еще больше неутомимости. Глядя на таких, невольно говорят: «Созданы друг для друга!»

Лишь одна пара могла хоть как-то конкурировать с ними. Статный и легкий Сос Тадевосянец так же легко и самозабвенно кружился с маленькой молоденькой девушкой в белоснежном платье, белокожей брюнеткой с необыкновенно живыми темными глазами. Но вел он себя корректно, соблюдая строгую дистанцию с партнершей под бдительным взглядом благосклонно улыбающейся мамыши. Он говорил что-то девушке, но она, в отличие от прочих, не взирала на него восторженно, а лишь милостиво улыбалась.

Гайказуни смотрел на Елену и князя, и тяжелое, как свинец, чувство росло в нем. Нет, это была не ревность – он давно понял, что им суждено расстаться, и даже втайне этого желал. Можно сказать, все и шло по его сценарию, — это была зависть к чужому счастью и еще что-то, но что – он так и не мог понять. «Чужому?» — значит, они уже чужие? Да почему уже? Они и были всегда чужими друг для друга, и все-таки чего-то нестерпимо жаль... Чего?..

Он налил себе шампанского и залпом выпил. Что за дурманящая и расслабляющая дрянь? Ему страшно захотелось чего-то серьезного, обжигающего нервы, ударяющего в сердце, мобилизующего чувства и мысли – коньяку или, на худой конец, водки...

— Официант!.. Нет ли чего покрепче?

— За отдельную цену, господин офицер.

— Можете быть свободны! – махнул рукой Гайказуни: в его карманах не было ни гроша!

— Елена! Я в вас влюблен с первого взгляда!

— Ах!.. – смеялась Елена.

— Я готов повторять и повторять ваше имя!

— И только это?

— Прикажите, что пожелаете – я исполню!

— Хочу шампанского!

— Будет исполнено! Но обещайте следующий танец мне!

— Но сначала шампанское!

Вальс закончился, и Нашелидзе проводил Елену к ее столику.

— Официант! – помахал он рукой. – Шампанского сюда, неоткупоренную бутылку!

— Я вас угощаю, от всего сердца! – обратился он к Елене и, как бы заодно, к поручику.

— Да у нас еще есть, — вяло возразил Гайказуни.

— Ну, а моя бутылка будет подарком в честь знакомства с такими замечательными людьми!

— Да вы присаживайтесь к нам, — пригласила князя Елена.

На столе появилась новая бутылка. Князь отобрал ее у официанта, лихо откупорил, пальнув пробкой и, при этом сохранив весь напиток, стал разливать по бокалам: Елене, поручику и себе...

— За Елену прекрасную! – встал Нашелидзе. – Я уверен, именно из-за такой Елены и началась Троянская война! И возник Эпос, Гомер, поэзия! Не было бы таких женщин – не было бы искусства, песен, стихов, радости!..

— И войны! – съязвил Гайказуни, но все сделали вид, что не расслышали.

— За знакомство, — добавила Елена.

Бокалы зазвенели. Нашелидзе выпил до дна, поручик и Елена пригубили.

Неожиданно у их столика возник невысокий лысый человек во френче и в американских галифе.

— Знакомьтесь! – объявил Нашелидзе. – Это мой друг полковник Кроуфт. Настоящий английский джентльмен!

Гайказуни и полковник пожали друг другу руки: ладонь у полковника была теплая и вялая.

— Настоящий джентльмен! – с удовольствием повторил Нашелидзе.  
— О-о, — отмахнулся Кроуфт. – К сожалению, я плохо говорю по русски...  
— Но мы чуть-чуть говорим по-английски, — рассмеялась Елена.  
— Я хотел пригласить дама. Танец! – протянул руку Елене Кроуфт.  
— Вы опоздали, полковник, — рассмеялся Нашелидзе. – Второй танец она уже обещала мне!  
— Right, — кивнул полковник. — That's mean – I will third!  
— Прекрасно! – воскликнула Елена. – Присаживайтесь, господин полковник, заодно мой друг поручик Гайказуни не будет сильно скучать – надеюсь, вам найдется о чем поговорить. — А Нашелидзе уже тащил ее от стола танцевать.  
Нашелидзе и Елена снова крутились в вальсе, а полковник светлыми честными глазами посмотрел на поручика и улыбнулся.  
— Drink?  
— Конечно, — пожал плечами Гайказуни и взялся было за бутылку шампанского.  
— О, No, no! – поморщился полковник и, подмигнув, достал из кармана галифе плоскую металлическую фляжку.  
— Original scotch whisky! Right?  
— Конечно, конечно! – согласился Гайказуни.  
Полковник щелкнул сикху, остававшемуся за его столом, и скоро на скатерти, как по волшебству, появились две стопки.  
Кроуфт аккуратно наполнил их коричневой жидкостью.  
— Your health! – вежливо сказал полковник.  
— And your health! – ответил Гайказуни.  
Они выпили.  
— Когда вы появились здесь? – спросил поручик. – И в каком качестве?  
— Oh! – воскликнул полковник. – Yesterday! Mission of good will!  
— Понятно – миссия доброй воли... Разведка?  
— Oh! No, no! I'm no spy! – рассмеялся отмахиваясь Кроуфт. – Mission of good will! Helping! Red Cross and so on...  
But we must know situation. Are you Armenian officer?  
— Да.  
— And what do you think?  
— What about?  
— About possibility of bolshevic's offensive?  
— У них достаточно сил, к тому же бронепоезд, совсем недалеко. Я думаю, они сейчас приходят в себя, перегруппировываются и скоро попытаются вновь завладеть городом... Soon!  
Полковник понимающе кивнул головой, светлые глаза смотрели на поручика трезво и пристально.  
— Chances?  
— Думаю, сможем отбиться. А дальнейшее зависит от того, удастся ли грузинам сковать у себя части Красной армии...  
Полковник кивнул.  
Звуки вальса закончились. Музыканты взяли паузу.  
Елена и Нашелидзе возвращались к столу. При этом князь, наклонившись к ее плечу, что-то ей убежденно говорил, а она смеялась.  
— Ах, оставьте, несносный мальчишка! – шутливо отмахивалась она, присаживаясь и обмахиваясь веером. Глаза ее возбужденно блестели, губы смеялись. – Где мое боа?  
Музыканты брали ноты, маленький дирижер взмахнул палочкой, и вновь зазвучала музыка.  
— My gound! My gound! – подхватился было полковник Кроуфт.  
— Конечно! Конечно! – замахала веером Елена. — Но умоляю вас, Бога ради, только дайте мне немножко передохнуть – с непривычки голова закружилась! Приятно закружилась! – благосклонно глянула она на Нашелидзе.  
— Of course! Of course! – кивал полковник. – But promise me!  
— Обещаю, обещаю, — рассмеялась Елена. – Кстати, князь, а почему вы все время коситесь налево?  
Нашелидзе вспыхнул. Он и вправду слегка поворачивал голову во время танца и после, чтобы Елена не увидела прыщик на носу.  
— Присматриваете себе еще какую-нибудь пассию? – погрозила пальчиком Елена.  
— О, кроме вас для меня здесь уже никаких женщин не существует! – выпалил князь, будто на миг забыв о присутствии поручика, но тут же попытался сгладить свой порыв.  
— Господа, когда Грузия станет свободной от большевиков, я вас всех приглашаю к себе в родовое имение недалеко от Мцхеты! На моих виноградниках вызревает такое вино! – князь сложил три пальца и поцеловал их кончики.  
— И когда же это будет, князь? – поинтересовалась Елена.  
— Скоро! Быстрее, чем вы думаете! Стоит мне ступить на землю Грузии, мои крестьяне сразу пойдут за мной и большевики побегут!  
— А вы уверены, — усмехнулся Гайказуни, — что ваши крестьяне вас поддержат?  
— Еще бы! Еще мой отец и я каждый праздник выкатывали из своих погребов бочки с лучшим вином, и вся округа пировала, а мой народ умеет помнить добро!

— Я извиняюсь, господа, — поручик вдруг резко встал. — Я надеюсь, вы развлечете мою даму, а я пока схожу в игровой зал. — Он обратился к Елене. — Дорогая, я схожу в соседний зал, где карты. Если понадобится, там меня найдешь. Но я надеюсь, эти достойные джентльмены не оставят тебя одинокой!

— Хорошо, — кивнула она, и во взгляде появилось вновь нечто особенное, испытующее. — Желаю вам больших выигрышей, поручик!

Гайказуни кивнул.

— Надеюсь на вас, господа! Вы не заставите мою даму скучать?

— О, конечно! Конечно! — с жаром отозвались господа, явно обрадованные уходом поручика.

«А ты как хотела? — зло думал он, шагая к игровому залу, отвращение переполняло его. — Я буду развлекать между танцами твоих ухажеров и слушать их бредни?..»

## АБЦУГ, ЕЩЕ АБЦУГ!..

В игровом зале шелкали костяшки нарды, стучали бильярдные шары и гудели мужские голоса. В правом углу поручик увидел ломберный столик с сидящим за ним офицером.

— Соснин? Какими судьбами? — удивился Гайказуни.

Они никогда не были близки с прапорщиком Сосниным. Лицо у прапорщика, как всегда, было маловыразительным, светлые глаза смотрели скучающе. Соснина, кажется, ничего и никогда на свете не интересовало более карт. Увидев Гайказуни, он вяло его приветствовал, махнув рукой.

Перед Сосниным лежали в ряд карты по возрастающему достоинству от двойки до туза, две нераспечатанные колоды и горка ассигнаций и монет.

— Банкуете?

Соснин кивнул.

«Откуда у него деньги?» — подумал Гайказуни, и тут же обожгло подозрение: «Большевистский шпион?!»

Однако уточнять, как Соснин избежал репрессий в период власти в городе большевиков, Гайказуни не стал: в круговерти смертей бывали случаи самых невероятных спасений, к тому же Соснин имел полное право, в свою очередь, усомниться, что Гайказуни «просто не тронули».

— Будете понтировать? — осведомился Соснин.

Поручик вытащил из кармана платок, развернул его: блеснул черным агатовым глазом золотой бабушкин перстень, приберегаемый на самый крайний случай. Он чувствовал, как уши невольно начинают пылать от стыда, но искушение было слишком велико — ведь только так можно было добыть деньги: «Значит, или выиграю, или застрелюсь!» — отстраненно подумал поручик и, решившись, положил перстень на крестовую даму.

Соснин выставил золотую и серебряную монеты.

— Куш! — объявил поручик.

Прапорщик вскрыл колоды и начал их тасовать длинными и тонкими пальцами, и поручик, глядя на эти ловкие и даже по-своему красивые движения, подумал, что эти руки за время войны, пожалуй, несравненно чаще касались карт, чем оружия.

Гайказуни подрезал колоду, и Соснин перевернул карты, сдвинув верхнюю вправо. Ни лоб, ни сонник не совпадали с картой поручика, и прапорщик откинул карты, перейдя ко второму абцугу. Уже на четвертом абцуге выпала неожиданная нечетная дама черви, и Гайказуни молча забрал себе монеты.

Соснин не выявил при этом никаких эмоций, словно деньги, которые проиграл, и не его были.

Гайказуни убрал перстень и выложил серебряную монету на туза.

— Перстенок-то бережете! — хитро сощурился Соснин.

К столику подошли двое командиров и стали наблюдать за игрой.

На этот раз Гайказуни проиграл.

Соснин объяснил им нехитрые правила, и хмбапеты, перемигиваясь и усмехаясь, стали делать свои ставки — немаленькие: по несколько серебряных и золотых монет.

Полковник Кроуфт вел Елену уверенно, хоть и не так пылко и страстно, как Нашелидзе.

— У вас надежная рука, полковник! — улынулась Елена, перейдя на английский. После танца они задержались у картины Клода Лоррена.

Полковник прямо посмотрел на нее своими светлыми и немного грустными глазами.

— Но вам, конечно, нравится этот молодой джентльмен?..

— Самоуверенный мальчишка! — грустно усмеялась Елена. — Я знаю таких: они твердят о любви, но ничего не любят, кроме собственной прихоти... А ведь любовь — это нечто совсем другое...

— Что же? — осторожно полюбопытствовал полковник. Его все больше заинтересовывала эта женщина.

Оказывается, не так уж она проста, какой показалась в самом начале! И каким грустным стал у нее взгляд, как только ее друг так бестактно ушел! Кто знает, сколько сил стоит такой тонкой душе скрывать свои истинные чувства под маской веселости и... какая у нее длинная беззащитная шея!

— Что такое любовь? — переспросила она его и ответила. — Это когда у человека есть неодолимая потребность помогать другому человеку, а не только использовать его в свое удовольствие! — Елена уже не улыбалась. А как бы оценивающе смотрела на Кроуфта.

— А князь думает лишь о себе! — наконец рассмеялась она. — Но пошли, а то этот Отелло решит Бог знает что!

За столом снова князь был говорлив, весел, а Елена необычно печальна. Князь рассказал пару забавных историй, но, заметив ее настроение, возгласил новый тост за Елену, пообещав завтра же достать для нее яблоки с Луны, чтобы излечить ее грусть, и выразительно посмотрел на женщину... Время от времени Кроуфт и Елена переглядывались: спокойно, понимающе...

«А она ведь неглупа, и, должно быть, сильно страдала!» — думал старый солдат. Он так давно был вдовцом, что уже привык, и тут, впервые, будто наяву, представилось: он и Елена сидят у камина в его уютном фамильном домике в полусельском Норидже...

Вновь князь подхватил Елену, и они закружились. Нашелидзе временами все ближе привлекал ее к себе, но она оставалась покорно грустной и лишь иногда страдальчески улыбалась.

А полковник Кроуфт, выпив еще стопку шотландского виски, крепко задумался: а не дает ли ему сама судьба знак? «Нет! Это совершенно невероятно! Такой молодой красавец!..»

Все танцующие, большинство из которых лишь недавно обучились вальсу и танцевали довольно скованно, расступились. Выдохся и замечательный Сос Тадевосянец со своей черноглазой бесовкой, уже покорно предчувствуя, что, танцуя лишь с ней, перестарался и придется или сделать ей предложение, или не миновать крупного объяснения с ее родичами!

Теперь только одна пара поражала всех своим великолепием, кружась по залу, и только ей играл оркестр.

Когда музыка закончилась, кавалер припал на колено, целуя руку даме, и окружающие невольно заплодировали. Оркестр взял паузу. Музыканты взмокли и вытирали платками шеи, лбы и лысины.

Князь подвел Елену к столику, и они сели, а Кроуфт робко намекнул, что надеется на следующий танец, и Елена, глянув мельком на него, кивнула.

Снова князь наливал, и все пили за здоровье Елены Прекрасной, за скорейшее изгнание большевиков из Грузии, за великую Англию!.. Но Елена и Кроуфт отхлебывали, Нашелидзе же глотал бокалами, и глаза у него все более краснели — впрочем, пить он мог в количестве немереном, и голова у него была уникальная: никогда не болела с похмелья!

Празднество приближалось к концу, музыканты будто бы и не собирались играть, но вновь послышались требовательные крики: «Вальс! Вальс!» — и снова на паркет вышли пары — немного, не самые умелые, но самые стойкие.

— *My round! My round!* — поднял палец Кроуфт и повел Елену между столиками, как вдруг она взялась рукой за лоб.

— *Are you all right?* — встревожено спросил полковник.

— Послушайте, мистер Кроуфт, я должна извиниться — кажется, я не смогу доставить вам удовольствие вальсировать...

— Как жаль! — искренне расстроился старый солдат.

— Простите, голова разболелась, но если хотите, мы просто побеседуем? — Елена страдальчески и милостиво улыбнулась, и через минуту они очутились у диванчика под «Похищением Европы».

— Давайте присядем... — Елена кинула на Кроуфта молящий взгляд, и он сразу понял, как порой тяжело этой женщине носить маску веселости.

Они снова перешли на английский.

— Послушайте, я вижу, вы чем-то озабочены — возможно, я смогу помочь?

— Ах! — махнула рукой Елена. — Чем можно помочь, если тебя предают люди, которым верила?

— Печально... — покачал головой полковник. — Вы знаете, от этой страны у меня останется лишь два впечатления: Библейская Гора и Вы!..

— Я ненавижу эту страну, полковник, страну нищеты и смерти! Я бы бежала отсюда босиком, если бы была возможность.

— Это правда?..

— Да.

— А-а... ваш друг? — неуверенно спросил полковник.

— Друг! — горько усмехнулась Елена. — Друг, как вы выразились, меня и предал. Восточный сатрап, альфонс: вы знаете, мы живем на то, что я продаю свои наряды, а он вырученные деньги пропивает и проигрывает в карты! А когда я пытаюсь возразить, могу получить и затрещину!

— Боже! — поморщился полковник. — Какое варварство! А ведь с виду и не скажешь...

— У этого человека нет будущего!

— Послушайте, — нахмурился полковник, — если я вам скажу сейчас одну вещь, вы не будете надо мной смеяться? Обещаете?

— Обещаю, полковник.

— Я старый солдат и привык говорить и действовать напрямик. Вы мне нравитесь. Очень нравитесь. И мне хочется Вам помочь... И я не буду требовать за эту помощь какой-то награды... Я могу забрать вас отсюда в Европу.

— Каким образом? — качнула головой, печально усмехнувшись, Елена. — Отсюда нет выхода. Это — капкан!

— Есть! — Вы поедете со мной в составе миссии под другими именем и фамилией. Перед выездом сюда у нас заболела сотрудница, Алиса Джонсон, но ее документы со мной. Только ни слова по-русски, у нас иммунитет и от турок, и от красных. Мы через несколько дней будем в Батуме, где нас заберет английский фрегат! А дальше, как вы захотите: хотите, останетесь со мной, хотите, я вам помогу перебраться в Европу.

— Я буду навек вашей рабой...

— Нет! Только не это! Мы, англичане, свободные люди, и если любим, то таких же свободных! Я просто буду надеяться, что вы полюбите меня!

— Если бы в моей жизни появился человек, на которого можно опереться, я смогла бы его полюбить, я знаю...

— Послушайте, может быть, это кажется и поспешным, но у нас нет времени. В бою бывают такие моменты, что надо решать немедленно и от этого зависит, жить или не жить... Я предлагаю... — полковник промолчал, — похитить Вас прямо отсюда!

Елена подняла на него покорные страдальческие глаза.

— Мне страшно!

— Положитесь на меня! Слово английского офицера! Я отдаю приказ Параму Сингкху, он заранее берет наши вещи, извозчика, и мы, не задерживаясь, спускаемся вниз, пока ваш благоверный не закончил игру.

— Надеюсь, это будет нескоро, а если придет, я дам ему денег и снова отошлю.

— У меня вы будете в полной безопасности.

— А как же быть с князем? – встревожилась Елена. – Он из тех, кто может устроить шум...

— Не волнуйтесь, мои телохранители живо оттеснят его.

— Послушайте! – воскликнула Елена. – У меня идея!

Я отправлю с князем к поручику записку. Таким образом, мы получим момент...

— All right! – воскликнул старый солдат.

— Найдите мне карандаш и бумагу...

Нашелидзе сидел за столиком и красиво курил. Он всегда старался представлять себя как бы со стороны и делать все красиво и изящно. «Однако, о чем они так долго могут болтать?» – с мрачной подозрительностью подумал он.

Что Елена не стала танцевать с полковником, его не удивило – разве может этот серенький пожилой человек сравниться с ним – молодым, сильным, красивым! В том, что Елена будет принадлежать ему, он уже почти не сомневался. Он не мог ошибаться в ее обещающих глазах, когда они танцевали, он физически чувствовал исходящее от ее тела – «Да!». А уж на эти дела у него нюх был! Сейчас главное решительность, темперамент, напор — не дать опомниться!..

Наутро он снимет номер попроще, без клопов и, чего бы это ни стоило, добьется с нею свидания!.. Надо только срочно отдрать ее от этого полковника. И о чем он ей говорит? Жалуетесь на свой геморрой?.. И она смеется... Да о чем они там шушукуются? – ревность все же кольнула в сердце. – А если поручик еще вернется? Как тогда назначить? Можно попроситься проводить... В крайнем случае, запомнит извозчика и расспросит его про адрес, а завтра с каким-нибудь голодным мальчишкой вышлет ей букет цветов, если удастся найти цветы зимой в этом проклятом городе! С записочкой с признанием, мольбой о свидании, вроде: «Если не увижу вас, хоть один раз – застрелюсь!»... Различные варианты крутились в голове Нашелидзе, как крылья ветряной мельницы под бурным ветром.

Но что они не идут, что она пишет на какой-то бумажке? Вот полковник сделал знак своему телохранителю и, когда тот приблизился, что-то шепнул ему на ухо. Телохранитель, кивнув чалмой, быстро направился к выходу. Ну, слава Богу, видимо, старый крокодил собирается восвояси. Уже легче...

Наконец Елена и Кроуфт подошли к столику.

— Дорогой князь! – Могу ли я попросить Вас об одном одолжении? – обратилась к Нашелидзе с обворожительной улыбкой Елена.

— О, я к вашим услугам! – подскочил Нашелидзе и учтиво поклонился даме, поймал ее руку и поцеловал, задержавшись чуть дольше положенного приличием, вдыхая ароматный запах кожи.

— Я попрошу вас, князь, передать моему поручику записочку, а то он заигрался там, и я боюсь, как бы не проиграл свои погоны. Мне в том зале появляться не совсем удобно – там ведь одни мужчины, вы же понимаете?

— О, конечно, конечно! – воскликнул князь, схватив бумажку и быстрыми шагами направился ко входу в игровой зал.

Записка будто жгла его пальцы — так хотелось прочитать, но понятия о чести все же удержали. В конце концов, это, наверное, их сугубо личное. Скорее всего, боится, что он сильно проиграется и зовет к себе... А жаль... Ну, ничего, тогда он назначит ей во время танца...

Князь подошел к игрокам в карты. Соснин метал, командиры понтировали и проигрывали, конфузливо перемигиваясь и похохатывая, а Гайказуни на этот раз только наблюдал: он выиграл уже три раза подряд и решил взять у судьбы паузу.

— Господин поручик! – негромко сказал князь, протягивая записку. — Вам от госпожи Вербицкой.

Поручик равнодушно кивнул, взял записку и пробежал глазами:

«Дорогой! У меня страшно разболелась голова. Если хочешь, можешь еще поиграть. Господин Кроуфт любезно согласился проводить меня домой. Не задерживайся слишком долго. Буду ждать. Целую. Елена.»

Нашелидзе пристально смотрел на поручика, словно пытаясь угадать содержание записки, но лицо Гайказуни оставалось каменно невозмутимым. Григорий только молча кивнул и вновь обратил все свое внимание к картам.

Нашелидзе слегка растерялся.

— Что ответить?

Гайказуни пожал плечами, не отрывая взгляд от рук Соснина, мечущего банк.

— Пусть едет...

— Едет? – невольно воскликнул Нашелидзе. – Куда?

— Как куда? Домой. Вы что думаете, у нее дома нет?

Князь вспыхнул, но сдержался. Молча кивнув, зашагал из игровой залы. Несколько быстрее, чем подобало бы – неприятное предчувствие уже охватило его.

Окинув несколько раз взглядом бальную залу, он так и не нашел Елены ни среди танцующих, ни за столиками. Отсутствие Елены почти сразу связалось в его сознании с отсутствием полковника и его индусов, а также странной беседой Елены и Кроуфта на диванчике под картиной.

— Ах! – воскликнул Нашелидзе, пораженный догадкой. – Обманула!

Кровь ударила в голову: ему, молодому, красивому предпочли какого-то старого коротышку! Не может быть! А как же обещающие взгляды, нежные знаки и интонации, в которых он не мог ошибиться! О, коварная! Но она еще не знает, с кем имеет дело! Он никому не позволит делать из себя мальчишку!

Нашелидзе бросился из зала. И, как он и ожидал, внизу у подножья мраморной лестницы, у гардероба, один из сикхов, который пониже, одевал шубу на Елену. Там же стоял другой сикх и полковник Кроуфт, который говорил Елене что-то веселое.

— Елена! Елена! – зычно воззвал Нашелидзе, и все лица обратились к нему. Как горный орел, падающий на добычу, князь быстро слетел по лестнице, и рукава его красной чохи развевались, как крылья.

— Елена! – воскликнул князь, очутившись перед ней. – Как это объяснить?! Клянусь честью, но без меня вы никуда не уедете!

— О, князь, — Елена ласково положила руку на его плечо, — вы такой милый, поверьте, у меня просто страшно разболелась голова, страшно! И полковник Кроуфт любезно согласился меня довезти...

— Тогда и мой долг проводить вас!

— Но авто полковника не уместит всех! – рассмеялась Елена.

— Я возьму фаэтон и буду следовать на рысях!

— Не стоит так беспокоиться, право! – Елена, послав воздушный поцелуй князю, стала удаляться в сопровождении невысокого сикха.

Нашелидзе рванулся за ней, но путь преградил высокий сикх в эполетах.

— Что? Что это такое? – возмущенно закричал князь, глаза его вмиг налились кровью, и рука ухватилась за рукоять кинжала. И молниеносно, в тот же момент, рука сикха опустилась на рукоять своего кинжала...

— Князь! – послышался спокойный голос полковника. – Не советую иметь файтинг с моим Парам! Он через двадцать шагов попадать кинжалом в монета. И nobody еще не оставаться жить после бой с ним!

Князь глянул на сикха и в черных равнодушных глазах гиганта прочитал лишь одно: смерть!

— Ну хорошо, полковник, — прошипел князь, отпуская кинжал, — ловко вы все провернули! Только я молчать не стану!

Полковник вежливо поклонился и вместе с телохранителем двинулся к выходу.

— И она все равно будет моей! – выкрикнул вслед Нашелидзе в бессильной ярости, а полковник, не оглядываясь, лишь слегка помахал рукой.

Кипя гневом, Нашелидзе взбежал по лестнице и направился в игровой зал. Рядом с поручиком стоял бокал красного вина, он понтировал, не отрывая глаз от рук банкюмета.

— Господин поручик! – шепнул ему в ухо князь. – Мадам Елена сбежала с полковником Кроуфтом!

Поручик равнодушно пожал плечами:

— На все Божья воля!

Князь ошалело посмотрел на него: что за человек, который отпускает *такую* женщину!?

Стараясь успокоиться, он заказал красное вино и залпом опорожнил бокал. Некоторое время бессмысленно смотрел на игру, потом выгреб почти все монеты из кармана, оставив лишь на извозчика, и поставил сразу все на короля.

И все проиграл!

Не глядя больше ни на кого, Нашелидзе вышел из зала, спустился по лестнице, получив револьвер, накиннул бурку, надел папаху и вышел на улицу. Положительно сегодня ему не везло: сначала этот проклятый прыщ на носу, баба сбежала, да еще в карты проиграл! Неудачный день! Фаэтоны ждали пассажиров, извозчики бежали к нему наперегонки. Он поднял лицо: из темноты летели снежинки, ласково касаясь кожи, превращались в теплые капли. Он вспомнил маленькую ножку Елены в коротком кожаном белом сапожке.

— Ка-акая билять! – не то осуждающе, не то с каким-то невольным восхищением произнес Нашелидзе.

## ВЫИГРЫШ

Гайказуни пришел домой уже за полночь. Извозчика он не взял, чтобы сэкономить деньги: ведь предстояло расплатиться по долгам Елены и прожить еще месяц. На улочках слабо мерцал снег, тускло светила из-за туч луна.

Он постучал в ворота, и скоро за ними послышался стариковский кашель и хрип:

— Кто?

— Дедушка Гевор, это я, Григорий, открывай!

Заскрипел засов.

Гайказуни зашел во двор. На его веранде и в окне стариков мерцал свет. Из-за темной фигуры старика выступила кутающаяся в платок Алмаст.

— Елена не приехала? – как можно более равнодушно, спросил он.

— Ой, что тут было! Что было! — запричитала старушка. — Вы нас простите, господин офицер, но мы их не могли остановить!

— Что случилось?

— Пани Елена приезжала на авто, а с ней два огромных индуса в чалмах да еще какой-то пожилой господин — европеец... Я их не хотела пускать, но пани Елена приказала... Я просила хоть вас дождаться — так как закричит, как закричит!.. МАТОМ! Забрала свои вещи и уехала! Совсем недавно... Не могла удержать я, вы уж простите...

— А что ж прощать? — усмехнулся Гайказуни. — Захотела уехать — и Бог с ней...

— Я боялась, чего бы вашего не прихватили...

— А что у меня, кроме бритвы и смены белья!?

— А эти индусы — до чего черные и страшные! А она торопила их, ругалась, а один чемодан в машину так и не влез — оставили...

Сообщение вовсе не удивило поручика, но сердце застучало громко и часто. И как он ни убеждал себя, что все идет, как суждено тому быть, сердце предательски барабанило, и во рту стало сухо.

— Да вы не волнуйтесь, тетушка Алмаст — уехала — и пусть катится!

— Ох, господин поручик, хорошо сказали, правильно сказали! Дай вам Бог здоровья! Хороший вы человек, и нечего о такой жалеть! Я раньше молчала, а сейчас скажу: тут один все к ней ходил по ночам, пока вы с турками воевали!..

— Женщина! — грозно окрикнул ее Гевор. — Язык подрежь!

— А что, разве не так? Разве не так? Ишь, храбрый Назар нашелся... Только перед женой и можешь себя показать!

Старик в бессильном гневе только тряхнул в воздухе сухими кулаками.

Больше не говоря ни слова, поручик направился к своему крыльцу.

Сняв шинель в прихожей, прошел в комнату, где на ощупь нашел спички и подсвечник со свечой на столе, и зажег огонь. Прямо у двери лежал баул, который, очевидно, и не удалось втиснуть в автомобиль. На столе стояла недопитая им бутылка чаи и рюмка. Сразу налил рюмку и выпил залпом. Высыпал на стол выигранные монеты. Потом сел на стул, наполнил рюмку остатком водки вновь и уставился в озаряемый свечой желтый полукруг стены — желтая свеча и горка золотых и серебряных монет. «Большого вам выигрыша, поручик!» — ее последние слова жгли проявившейся издевкой.

Ощущение омерзения переполняло, будто его перекормили отравой. Тошнило, но не было способа избавиться от этого ощущения, отрыгнуть, выbleвать... — слишком глубоко отравы уже проникла, до каждой клеточки! И каждая минута теперь казалась пыткой.

Он попробовал вести себя так, будто ничего не произошло. Разделся, лег в постель и закрыл глаза, но сон никак не шел, и перед глазами маячил круг пустой желтой стены. Сердце бессмысленно лупило, и его барабанный бой не давал заснуть, отключиться от этого омерзительного ощущения.

Но почему? Почему же так плохо? Он ведь и хотел этого, хотел, чтобы она ушла к кому-нибудь!.. Тогда почему так плохо? Ревность? Уязвленное самолюбие? Зависть к чужому счастью?..

И ведь он прекрасно понимает, что никакого будущего у них не могло получиться, как ни крути, — в последнее время они даже спать вместе перестали!

Вскочив с кровати и надев сапоги, он зажег свечу и, пытаясь отвлечься, принялся ходить взад и вперед по комнате, но в горле появился ком тошноты, и он только нарастал. Поручик посмотрел на часы: казалось, эта проклятая ночь никогда не закончится!

И все же посмотреть бы ей в глаза, один раз, последний раз взглянуть в эти лживые глаза!

Потрескивала свеча, поблескивала горка монет, во дворах брехали и завывали собаки — невыносимое ощущение омерзения не проходило. Поручик вытащил из кобуры наган и положил рядом с подсвечником и монетами. Может, разом покончить с этим ощущением? С ощущением пошлости всего мира? И пусть думают, что из-за женщины — он-то знает, что это не так, да и ему будет уже все равно!

Он оделся, вышел во двор на мороз, набросив шинель, и застучал старику:

— Дядя Гевор, еще водка есть?

— Нету, нет... — отвечал, приоткрыв дверь, Гевор.

— Возьми золотой, где хочешь достань!

Старик, кряхтя, надел полушубок и вышел на улицу. Постучал одним соседям, другим. Забрехали бешено псы, окна засветились. «Теперь вся улица узнает — от поручика ушла женщина» — равнодушно подумал Гайказуни.

Примерно через час старик постучал к поручику.

Григорий открыл. За его спиной тускло светила свеча. Он взял бутылку из рук старика и сразу закрыл дверь.

Налил полный стакан и выпил залпом. Содрав сапоги, упал на кровать. Все стало погружаться в сладкий вневременной туман. Все, что он пил накануне, и то, что выпил сейчас, действовало, и он не заснул, а забылся.

.....

Всего через несколько часов сердце непрошено ударило в голову и вмиг разбудило его, разом ввергнув в невыносимую реальность. Анемичный утренний свет проникал сквозь ставни, во рту стоял отвратительный железисто-кислый привкус, голову хотелось оторвать и отбросить подальше...

Он взглянул на стол: огарок свечи в подсвечнике, тускло поблескивающая горка монет, странно притягивающий к себе взгляд наган...

Все-таки кое-какие дела надо еще уладить. Что делать с выигрышем? Отдать старикам... А это делает их счастливее?

И вдруг будто ударило: он вспомнил детские глаза, которые видел в старой крепости. Как звали этих нищих детей? Он уже точно и не помнил. Господи! До чего же жалки его переживания! А он об этих несчастных почти и не вспоминал,

погрузившись в этот водоворот похотей! Брат и сестра, и старший мальчик – Сурен, кажется! А девочку звали Каринэ, точно, а маленького – он так и не мог вспомнить. Зато вспомнил имя – Рузанна – та женщина, которая помогала им. И они в этих жутких условиях, где каждая минута существования – пытка, в какой-то самодельной хижине прожили уже почти всю зиму... Прожили ли? Господи! А он в это время добывал куртизанке портного, продукты, пил вино, играл в карты!..

Господи! Господи, прости! – Он вскочил, перекрестился на икону в углу, оделся, стал натягивать шинель, отбросив синюю повязку, которая теперь больше мешала, запихнул деньги в карманы, револьвер вложил в кобуру. – Только бы живы остались! Туда!.. Только бы продержались! Только бы выжили! И бессмысленный выигрыш вдруг стал обретать смысл!

Неожиданно на улице послышался гул мотора. Машина остановилась рядом с окном, и в ворота застучали.

— Елена? – удивленно подумал он, и что-то болезненно дернулось в нем — не то слепая надежда, не то страх все ей простить, едва ее увидит. Он слышал, как старик открыл дверь и по ступенькам застучали шаги — мужские.

В дверь постучали. Он открыл. На пороге стоял старик, а за ним два рослых индуса в чалмах.

— Они к вам! – сказал Геворк, отступая.

Индусы поклонились, каждый положил руку на сердце. Затем один из них так же молча протянул Гайказуни бумажку. Григорий раскрыл ее и сразу узнал четкий, слегка растянутый почерк Елены:

«Господин поручик! Между нами все кончено. Я встретила человека, на плечо которого можно опереться.

Надеюсь, я недолго буду оставаться в этой несчастной стране, с которой вы фанатично связали свою судьбу! Надеюсь на вашу порядочность (читая эти слова, Гайказуни ухмыльнулся), прошу исполнить мою последнюю просьбу – отдать предьявителям сей записки баул с моими вещами. Желаю вам удачи. Надеюсь, время излечит все.

Елена Вербицкая»

Гайказуни, не говоря ни слова, молча шагнул назад и кивнул индусам на баул у двери.

Один, что пониже, схватил его и потащил, другой молча наклонил голову и вновь приложил руку к сердцу.

Однако поручик отступил назад, поманив за собой высокого индуса с золотыми эполетами. Они вошли в комнату Елены. Гайказуни откинул покрывало кровати, под которой белел ночной горшок Елены.

— It's lady's property! — торжественно объявил поручик, ткнув пальцем на горшок. Горшок этот он выкупил у вороватого портъе из гостиницы «Тигранокерт», как только они приехали в город. Сам же поручик пользовался «удобствами» в деревянном скворечнике в глубине сада в любую погоду.

Огромный сикх в эполетах некоторое время стоял, будто раздумывая, затем наклонился, вытащил горшок и, сохраняя военную выправку и полную невозмутимость лица, понес его к выходу, вытянув на некоторое расстояние от себя, придерживая свободной рукой крышку, а Гайказуни предупредительно распахнул перед ним дверь шире.

Вновь на улице заурчал мотор, и звук его стал удаляться. Гайказуни спустился к старику, выпросил у него хурджин покрепче и, надев косматую папаху, быстро зашагал на базар.

## МИССИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ

Человек в шинели, сгибаясь под тяжестью полосатого хурджина и вязанки хвороста, поднимался вверх по тропе к развалинам древней крепости.

Был конец февраля. Солнце светило ярко, по-весеннему, с синего свежего неба. Снег во многих местах почернел и просел.

Переводя дух, человек остановился, поставил мешок на снег и, утерев пот со лба, оглянулся.

В прозрачном воздухе белела на юге за Городом громадная раскидистая Гора, будто спящий дракон накрыл себя с головой громадными белыми крылами.

А может, это спящий ангел?

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле – вспомнил Григорий, — и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на Земле, и восскорбел в сердце своем...»

Вздохнув, поручик снова взвалил на себя мешок и продолжил подъем.

Вот и площадка, где когда-то впервые увидел детей. От площадки к пролому в стене вела еле заметная тропиночка.

— Эй! – крикнул он. — Живой кто есть? – и сам похолодел от страшного смысла вопроса.

— Сурен! Каринэ! Тетушка Рузанна! Где вы? – он прислушался, но ничего, кроме свиста ветра, не услышал.

Тогда он двинулся по тропинке. Преодолев пролом, он оказался на более натоптанной тропинке. Тут и там торчали каменные ребра внутренних построек. Неожиданно он будто почувствовал запах дыма. Пройдя еще несколько шагов, увидел слева в углу между стенами что-то вроде хижины и двинулся туда. Крыша и стены жилища — из каких-то деревянных щитов, досок, кусков брезента, которым накрывают орудия.

Он отодвинул край брезента и сначала ничего не увидел. Потом в темноте его глаза различили темную железную печурку посреди жилища и две прижавшиеся друг к другу фигурки, испуганно на него глядящие.

— Сурен?.. Каринэ?..

Дети молчали и только смотрели на него.

Грязные, в рваной дерюге, будто нахохлившиеся птенцы, — разобрать черты их лиц сразу было невозможно.

— Живы?

— Да, — донеслось в ответ тихое.

— А ну вставайте, вставайте, а то замерзнете, ну-ка! – потребовал он и, поставив хурджин, подошел к детям, помогая им подниматься на ноги.

— Ногами шевелить, ногами! Ноги целы?

Дети, пошатываясь, встали. Теперь можно было различить курчавого мальчишку и девочку с длинными волосами. Глаза их ничего не выражали. Он заставил их ходить вокруг печки, потом проверил ноги, сняв обмотки: как ни удивительно, обморожений не было. Растерев им ноги снегом, он снова завязал их в обмотки.

— Кто вы? – спросила девочка.

— А я Дед-мороз!

Дети даже не улыбнулись. Глаза у них были серьезные, взрослые.

— Нет, — сказала девочка, — вы не Дед-мороз, вы тот офицер, который сюда приходил рисовать...

«И как они догадались, что он офицер? Ведь тогда он старался выгладеть как можно проще.» — Поручик развязал хурджин и дал детям по шоколадной конфете для начала.

— А где ваша тетушка Рузанна?

— Там, — девочка показала рукой в угол, заваленный камнями.

Поручик нахмурился и дал детям еще по конфете.

— А где маленький?

— Он умер еще раньше, — сказала девочка.

Гайказуни выложил вязанку хвороста, наломал ветви и развел огонь в печке, на которую поставил котелок, наполненный снегом.

Он следил за тем, чтобы дети не наедались сразу, но не проходило минуты, как они просили снова, и он, не в силах отказать, со словами «Нельзя! Ну, нельзя сразу много!», опять выдавал то по конфете, то по щепотке лаваша.

Наконец вода в котелке закипела. Дети поднесли чашки, он разлил в них кипяток. С каждым глотком горячего жизнь возвращалась к ним.

— Вот видишь, — сказала девочка мальчику. – Рузанна права, Бог все-таки есть!

— Тетя Рузанна умерла три дня назад, — сказал мальчик, все еще стуча зубами от холода о край кружки. – Она кашляла давно, с кровью кашляла...

— Мы поспорили: если за три дня никто за нами не придет, значит, Бога нет! – пояснила Каринэ. – Сегодня третий день! И вы пришли – значит, Бог есть! Я же говорила, Сурен!

— Почему же тогда тетя Рузанна умерла? – возразил мальчик.

— Ее Бог позвал, и теперь ей хорошо! – объяснила девочка.

— Как и Рубику?

— Как и Рубику...

Поручик подошел к куче камней у стены и стал ее разбрасывать и скоро увидел закутанное в кусок материи тело. Голова была закутана платком и завязана на шее так, что лица не было видно, и тело походило на большую куклу.

— Ну вот что! – сказал он. – Надо ее схоронить. Лопата у вас есть?

Лопата нашлась, ржавая, с коротким черенком, на котором были какие-то насечки.

— Это что?

— Мы отмечали тех, кого за зиму потеряли.

Гайказуни насчитал семь насечек. Сняв шинель, он накрыл ею детей и вышел в одном френче на воздух. Выбрав место недалеко от стены, он принялся копать могилу. Делать это было нелегко – раненая рука болела, но он сжимал зубы и, преодолевая боль, копал. Часто натыкался на камни, приходилось наклоняться и руками выдергивать и выбрасывать их, пару раз ему попались какие-то древние монеты, один раз наконечник стрелы или копья – вещи, от которых в другое время археолог пришёл бы в восторг, но поручик даже не обратил на них внимания. От работы стало жарко. Время от времени к нему подходили дети: девочка молча прикладывала рукава к глазам, а мальчик, глядя вверх, говорил торжественно, видимо, копируя кого-то из взрослых:

— Цанр!.. Цанр!..\*

---

\*Цанр – тяжело (арм.)

---

Дети оживились и теперь ловко и привычно управлялись с печуркой, кипятя новые порции снега.

Поручик сделал перерыв, и они вместе, сидя у печки, перекусили брынзой, лавашом: он боялся им давать мясо после длительной голодовки.

— Какая она была, ваша тетя Рузанна? – спросил поручик.

— Хорошая, — сказала девочка, — она всем помогала, кто сюда приходил, в город ходила работать, пока могла... Она до самого конца говорила, что нам делать, а потом просто уснула...

— Откуда она?

— Никто не знает. Она не рассказывала.

— Может, она потеряла своих детей?

— Никто не знает...

Когда яма была готова, они с Суреном подтащили к ней легкое, затвердевшее, как дерево, тело. Поручик уже сам к тому времени чувствовал страшную усталость и безразличие. Тело сорвалось из онемевших пальцев и покатило в яму, переворачиваясь, как бревнышко, и упало на дно животом и лицом к земле. И эта вещная покорность человека, который не был сломлен до последней минуты при жизни, кольнула душу какой-то особенной своей несправедливостью.

Гайказуни спустился в яму и перевернул труп на спину. Вылез из ямы и взялся за лопату.

«Так умирают истинно великие люди! — подумал он, — в безвестности и суете».

Жалко, что он даже не увидел ее лица, хотя уже поздно, даже если открыть платок: лица, из которых ушла жизнь, совсем не похожи на те, какими были – оцепенелые маски, — он знал: много раз видел это превращение, когда умирали на его глазах бойцы.

Он изгнал жалость, душа его онемела, как камень, был лишь ДОЛГ, который надлежало исполнять, и стал засыпать тело красноватой землей вперемешку с камнями. Спина и рука болели, ладони горели от натруженных мозолей, но он не останавливался, пока дело не было закончено.

— Вот! — сказал он, воткнув лопату. — Так хоть голодные псы не достанут...

— Цанр! — важно сказал мальчик.

— Цанр! — подтвердила девочка.

Был уже полдень, и солнце светило так же ярко, по-весеннему.

Надо было что-то сказать, и дети будто ждали от него этого.

— Вот, — сказал Григорий. — Святую женщину мы сегодня схоронили. Помните ее доброту всю жизнь, дети. Господи, прими ее душу на небеса!.. — Гайказуни перекрестился. Перекрестились и дети.

Девочка вдруг наклонилась, вдавила ручкой маленькую ямку там, где должна была находиться голова усопшей, вложила в нее конфету, зарыла ямку и тщательно пригладила землю ладошкой.

Внезапно в воздухе что-то просвистело, и где-то внизу раздался удар. Через мгновение снова послышался свист, и воздух встряхнулся от удара. Все разом бросились к пролому. Поручик вышел на уступ и сразу увидел дым взрывов над городом. С юга по железной дороге к вокзалу подползала, поблескивая сталью, бронированная змея.

— Бронепоезд! Бронепоезд! — закричал мальчик.

Это был бронепоезд большевиков. Он остановился, не докатившись до города, вдоль него вспыхивали огоньки, слышался свист, затем гремел удар, и то там, то здесь над крышами поднимался дым. Почти сразу из города послышалась ответная орудийная стрельба, и рядом с бронепоездом стали появляться черные фонтанчики.

— Красные идут в атаку! — почти восторженно крикнул мальчик, будто наблюдая занимательную детскую игру, которой давно был лишен.

Поручик бросился в пролом за шинелью.

— Каринэ, Сурен! — объявил он. — Мне необходимо быть там! Хурджин оставляю! Только не ешьте все сразу, а то умрете! Там еще чеснок от цинги. Когда все закончится, буду жив, вернусь и заберу вас отсюда!

Он вытащил несколько монет из кармана и отдал девочке:

— Спрячьте, закопайте, чтобы не отняли, и берите понемногу! И держитесь!

— Да поможет вам Боженька! — кричали они ему вслед, когда он сбежал по тропе вниз, спеша в казармы.

Мальчик, посасывая конфету, жадно наблюдал за боем внизу, а девочка, вернувшись к могиле, разгладила ладошкой холмик и выкладывала на нем крест из мелких камешков.

## ЦАНР

В тот день красные так и не пошли на штурм. Бронепоезд, высланный вперед, чтобы прощупать оборону дашнаков, откатил. Но в казармах была объявлена боевая готовность: разведчики то и дело доносили о большом передвижении большевиков к Городу, и части выдвинулись на рубежи обороны.

Батальон Гайказуни (из-за нехватки офицеров ему все-таки поручили командовать батальоном, а не ротой) занял позицию на кладбище, на краю города, вдоль его каменной ограды, послужившей для бойцов хорошим прикрытием. Весь следующий день шла вялая перестрелка.

Ночевал поручик с прапорщиками на полу в домике кладбищенского сторожа.

Настоящий штурм начался, едва рассвело. Бухали орудия большевиков, бухал их бронепоезд, долбя по Городу. Снаряды взрывали могилы, и на аллее кладбища тут и там падали кости и черепа, куски разбитых хачкаров, досок гробов: не было покоя армянам даже после смерти. Цепи красных шли одна за одной...

Дважды большевики в тот день ходили на город в атаку и дважды были отброшены.

Ночью поспать не пришлось: командование устроило перегруппировку с тем, чтобы зайти в тыл противнику. Батальон Гайказуни шагал куда-то в темноте по смешанной со снегом грязи. А на рассвете оказалось, что красные отступили...

Гайказуни не спал толком уже несколько суток и, вернувшись домой, рухнул на кровать, не раздеваясь, и моментально заснул.

Едва проснувшись, наскоро умылся, сбежал в полк, и, покончив с делами, сразу заторопился к старой крепости.

Он поднялся по знакомой тропинке, держа на всякий случай наган наготове. Подошел к пролому, прислушался. Развалины были безмолвны.

Поручик прошел в пролом и быстро нашел хижину. Она была полуразрушена, детей и печурки не было, зато повсюду в мокрой земле виднелись следы солдатских сапог и патронные гильзы: отсюда красные обстреливали Город.

— Сурен! Каринэ! — позвал он, но никто ему не отозвался: очевидно, дети ушли от войны, а возможно, отсюда их забрали с собой красные — такие же сердобольные солдаты, как и Калинин — хотелось думать так: все же красные не турки — нищих детей не убьют!

Могилы Рузанны он не нашел: все было затоптано.

«Вот так умирают истинно великие люди!» — вновь подумалось.

Последующие дни были тревожными: большевики снова готовили удар. Почти все время поручик проводил в казармах, проверял оружие бойцов, обучал новобранцев и добровольцев, прибывших на место погибших и дезертировавших. В этих трудах пролетели две недели.

Несколько раз поручик выходил в город: искал знакомых детей на базаре и на улицах, но так и не нашел.

Весна началась: солнце днем сияло всюду, таял снег, журчали ручьи на улицах, летом неглубокая речка, пересекающая город, превратилась в бурный мутный и громогласный поток.

А положение было сложным: мало оставалось боеприпасов, мало еды, и помощи было неоткуда ждать.

В середине марта большевики снова ударили. Это был, пожалуй, самый яростный штурм. Бой длился весь день, но к вечеру красные были вынуждены отступить или бежали...

В городе ликовали, но Гайказуни был озабочен: он знал истинное положение дел — боеприпасов почти не осталось: еще один такой штурм Город не выдержит. А к большевикам подходили все новые и новые свежие силы из России, из Баку, уже шли на выручку своим части командарма Миронова, усмирившего Грузию... В штабе поговаривали, что Город придется сдать.

Гайказуни шел с очередного совещания в штабе, когда мимо пробежал мальчишка, размахивая газетой:

— Покупайте «Голос Родины!» Последние новости! Дружба с Турцией!.. Турция нас защитит!

Поручик невольно схватил мальчишку за шиворот.

— Что ты несешь?! Какая дружба?!

— Да вот здесь все написано, дядя, почитайте сами!

Поручик дал монету мальчишке и сразу раскрыл газету. Не сходя с места, стоя посреди улицы, прямо в весенней луже, он перечитывал и перечитывал сообщение, не веря своим глазам.

«Для борьбы с большевизмом и восстановления мирной жизни мы больше всего нуждаемся в дружбе и даже поддержке нашего соседа Турции».

— И это когда кровь еще не обсохла! — громко сказал он, и случайный прохожий удивленно оглянулся на странного офицера.

Засунув газету за пазуху, Гайказуни зашагал домой, а в голове стучало лишь одно: «Конец! Конец!»..

Он пришел домой и сразу, ни слова не говоря старикам, что было необычно, прошел к себе в комнату.

Сняв шинель, выложил на стол наган и газету.

Постучала Алмаст, предложила ему нехитрый обед из каши и баланды — он отказался.

Налил себе в стакан водки, выпил махом и сел в кресло, перечитывая газету.

«У Армении есть только один путь спасения — найти общий язык со своим соседом турком. Если армянский народ желает жить и гарантировать свое государственное и физическое существование, у него должна быть не прорусская, а протурецкая ориентация».

— Позор! Позор! — шептал поручик.

Но это был не позор — это было сумасшествие, агония жертвы, которая перед самой гибелью готова поверить в самое невозможное!

В ярости поручик смял газету и бросил ее на пол.

Вечером к нему постучала старая Алмаст, но он, не открывая дверь, просил не беспокоить.

Прошла ночь. Наступило утро, а поручик не выходил. Алмаст осторожно постучала к нему в комнату, но никто не отозвался. Прибыл из полка унтер-офицер, требуя поручика немедленно в батальон.

Он бесцеремонно и громко застучал в дверь, но никто не отозвался. Унтер толкнул дверь, и она отворилась. Они с Алмаст вошли в комнату поручика.

Поручик сидел в кресле, свесив окровавленную голову набок. На полу лежал наган и залитая кровью газета. Тело успело заоченеть, кровь засохнуть: очевидно, все произошло глубокой ночью, даже выстрела никто не услышал!

Пришли хмурые солдаты, подъехала к воротам телега, запряженная клячей.

Солдаты вынесли завернутое в одеяло тело поручика.

Старик стоял в воротах, молча курил, глядя на удаляющуюся вверх по улице телегу с холмиком тела под мешковиной и топавших рядом с ней по грязи солдат, а старая Алмаст ходила по двору, всплескивая руками, причитала по-армянски и по-русски:

— О, цанр! Цанр! Ах, женщины! До чего доводят! Душа его не выдержал!

## ПОСЛЕДНЯЯ ЗАВАРУХА ГУРГЕНА

Тысячи и тысячи людей, участники восстания, со своими семьями и домашним скарбом заполнили улицы Города. Они уходили на восток, в Зангезурские горы, к Гарегину Нжде, где еще продержатся против большевиков пару месяцев.

Мрачные бородатые мужики в косматых папахах, обвязанные патронными лентами, ехали на лошадях, мулах, ослах, двигались пешим ходом. Скрипели телеги с женщинами в черном, стариками, детьми — те, кому не хватило места на телегах, у кого не было вола или хотя бы осла, шли по дороге, опустив головы. Тут и там раздавалось грубые мужские выкрики, женский и детский плач, бляенье коз и баранов, мычанье телят, которых вели с собой люди (ходячий провиант).

Здесь были не только дашнаки со своими семьями – здесь были все, кто восстал против лютого, сулящего им и их близким только гибель, комиссарства. Еще один Исход в бесконечной череде Исходов – для большинства начало Исхода из самой жизни.

А тот обыватель, который не принимал ни в чем участия, сидел дома, пугливо подглядывая в приоткрытые ставни, дрожа и надеясь, что когда придут большевики — возьмут не его, а соседа. Ведь красные – не турки – они расстреливают только глупых, неосторожных и невезучих. А неисчислимые полки большевиков уже стояли над городом, вокруг Города, образуя полукольцо, оставив отступающим единственную дорогу, по которой и тянулся человеческий поток... И кое-где, на окраинах города, уже вспыхивали и затухали перестрелки: это вступали в бой отдельные отряды прикрытия с передовыми разъездами красных.

Весеннее солнце уже припекало. Гурген сидел на корточках в кустарнике, на ветках которого появились крохотные липкие листочки, и осматривал в бинокль противоположный берег реки и мост. Внизу гудела бурная пенная река. Вчера на Совете он сам вызвался со своим отрядом в прикрытия, и теперь был сам себе полководец. Никаких дурацких приказов от всяких умников свыше больше не поступит, хотя он и раньше далеко не всегда мчался немедленно их исполнять. Рядом, укрываясь за камнями, залегли его бойцы – верный Ваче, хитрюга Або, кривой Сурен, честный Месроп... — старые товарищи... Он вспомнил погибшего при Сардарабаде отца Левона, Насима, отпущенного им недавно в свою родную езидскую деревню, запрятавшуюся в складках Горы... Вспомнил и других, кого потерял за эти годы.

Время от времени кто-то из его бойцов стрелял, если видел на другом берегу какое-то движение. Время от времени кто-то постреливал оттуда, будто прощупывая их оборону. Красные, уверенные в своей победе, не слишком торопились, ожидая, пока большая часть колонны выйдет из Города.

Перед глазами Гургена мелькнула придвинутая биноклем почти вплотную красная рожа в буденовке с красной звездой и исчезла. Медленно вел Гурген бинокль вдоль ущелья... Камни, кусты... Он понимал, что они просачиваются, хотя их пока и не видно. Стоп – дымок вьется над камнем – кто-то закурил!.. Видно, не торопятся. Снова двинулся бинокль... Вот мост, который он держит – ни души... Вдруг вспомнилось, как он катил на фэртоне по этому мосту свататься к Сатеник и как они, уже с нею и ее сыном Тиграном, по нему же возвращались. Но время было не для лирических воспоминаний: образы прошлого лишь мелькнули, он отбросил их и вновь сосредоточился. Повел бинокль вверх от моста по обрыву с торчащими из красной глины желтыми ребрами каменных пластов к развалинам древней крепости... Вот и флаг, развевающийся над развалинами, – трехцветный, армянский. Гурген хмыкнул. Флаг упал, исчез и через несколько мгновений вместо него в верховом ветре затрепыхался алый. Гурген нахмурился.

Услышав рядом шорох, он отвел глаза от бинокля. К нему подполз Або, привстал на корточки за камнем.

— Ну? – мрачно спросил Гурген.

— Гурген, не пора ли и нам?.. – глаза Або суетливо бегали.

Гурген вздохнул:

— Подождем...

— Смотри, Гурген, как бы нас не отрезали...

— Я что сказал? Подождем! – выпучил на Або бешеные глаза Гурген, и Або быстро опустил взгляд, как послушный пес, и стал отползать.

— И передай всем, — крикнул вслед Гурген, — кто без команды дернется, получит в задницу вот это, — он погрозил маузером.

Снова шорох, теперь слева. На этот раз подполз кривой Сурен.

— Командир, не пора ли? Они флаг подняли!

И этому тоже пришлось показывать маузер.

Сурен лишь быстро-быстро закивал и отполз.

Гурген ждал. Какая все-таки прекрасная позиция – мост! В жизни такой не было! Да неужели он так просто уйдет отсюда, не пролив ни капли вражьей крови?.. Дать хотя бы один залп, дать и уйти!.. Дверью хлопнуть! А они все не идут, все не идут чего-то...

А тем временем стрельба с того берега вдруг резко участилась: совсем рядом то и дело посвистывали пули, шелкали о камень, визжа, ввинчивались в грунт. Казалось, с той стороны стреляет каждый куст, каждый камень, каждая хибара...

Где-то позади, в Городе, будто раздались раскаты перестрелки.

— Гурген! – орал тут и там. — Надо уходить! Красные в тылу!

— Держать мост! – орал Гурген.

— Гурген! Ваче убит!

— Что?

— Ваче убит!...

Что-то оборвалось в груди Гургена: он так привык, что рядом верное плечо друга, невольно чувствовал Ваче как бы частью самого себя, и вот... И удивительно отчего-то было — Ваче убит, а он жив...

Кинулся к Ваче, забыв о свистящих вокруг пулях.

Ваче умер легко, без мучений, как и жил: пуля вошла в лоб, выдрал теменную кость, и из образованного провала, как из переполненной чаши, изливалась кровь.

Одна пуля щелкнула рядом: пуля прилетела не с того берега, от своих! Он резко обернулся, но маузер Або был направлен на мост.

И откуда они взялись в таком количестве? Улица над мостом моментально потемнела от солдатской массы. Застучал сверху пулемет. Все случилось за какие-то секунды. Людская масса хлынула на мост и с дикими криками и воем, не обращая внимания на падающих бойцов, выплеснулась на другой берег, и с каждой секундой их становилось все больше.

Так и получилось – их хватило всего на один залп, который наступающие в массовой горячке даже не ощутили, как бешеный кабан легких укулов, а продолжали бежать вперед со штыками наперевес, перескакивая через тела упавших...

— Р-р-а-а-а!..

— Або! Сурен! Взять Ваче! Отходим!

Несколько человек бежали, подняв над собой тяжелый труп Ваче с болтающимися беспомощно могучими руками, а остальные их прикрывали, отстреливаясь. Быстро свернули в переулок, промчались по нему к перекрестку. На перекрестке стоял беспризорник и, размахивая руками, то ли в ужасе, то ли с восторгом орал: «Красные! Красные!»

— Где красные? – поймал его за руку Гурген.

Беспризорник только махнул рукой вперед.

— Я же говорил – нас отрежут! – завизжал Або из-под тела Ваче.

— Что делать, командир? – Месроп смотрел на него своими прямыми и честными голубыми глазами.

Гурген оглянулся: здесь он каждый закоулок знал. Шагах в пятнадцати, вниз по улице — духан «Ковчег».

— Туда! – махнул он рукой. – К Мамикону! Только тихо, отсидимся до вечера и уйдем садами.

Толпа ворвалась в духан, втащив труп Ваче.

— Тихо! – скомандовал Гурген.

Зал был пуст: только за стойкой стоял бледный Мамикон и протирал полотенцем стаканы.

— Здравствуй, Мамикон! — кивнул Гурген. - Мы погостим у тебя до вечера и уйдем...

Труп Ваче положили рядом со стойкой и накрыли скатертями.

— А пока угости нас лучшим вином из твоего подвала! – скомандовал Гурген.

Ни слова не говоря, Мамикон пошел вперед, вниз по лестнице, за ним Гурген, Або и еще несколько бойцов.

— Хорошо, командир, хорошо придумано! – шептал Гургену на ухо Або. – Заберем золото у Мамикона и ночью уйдем!..

Тусклый свет струился из верхнего окошка. Вдоль стены стояли бочки с вином и коньяком.

— Ведро сюда! – скомандовал Гурген, и Мамикон тотчас нашел ведро.

— Ну, а теперь пировать! Подай-ка нам своего лучшего вина.

— Вот эта, эта бочка – для самых почетных гостей. – Мамикон отвернул кран, и розовая жидкость полилась со звоном в ведро.

Они поднялись в зал и пустили ведро по кругу. Бойцы жадно пили и плечи их расправлялись, на лицах замелькали улыбки.

— Вот такая смерть мне по душе! – рассмеялся голубоглазый Месроп.

— Не каркай! Еще выпутаемся! – осадил его Гурген. – Ставни закройте...

— А где хозяин?

— Где Мамикон?..

— А черт с ним!

— Как черт с ним? – вскричал Або. – У него же наверняка где-то припасено золото! Надо бы его расспросить хорошенько...

— Упустили!

— Может, под стол спрятался? Мамикон, выходи!..

Мамикон бежал вверх по улице, благо угол был рядом. Он свернул и сразу уткнулся огромному красноармейцу прямо в живот. Целый отряд красноармейцев, и тачанка с пулеметом.

— Господа товарищи! Господа красноармейцы! Там! Там! – махал рукой Мамикон за угол.

— Чего там? Чего верещишь? – сошел с тачанки человек в фуражке с красной звездочкой, судя по всему, командир отряда.

— Там! Там! В моем духане они!

— Кто они?

— Дашнаки! Целый отряд!

— Сколько их?

— Человек пятнадцать... Командир, там и черный ход из дома есть!

Едва Месроп и еще пара бойцов вышли на улицу закрыть ставни, как вокруг защелкали пули, и они кинулись назад: одно тело, тем не менее, осталось лежать у порога.

— Красные! Красные!

— А где Мамикон?..

— Мамикон, будь он проклят, выдал!

Зазвенели стекла – стрельба шла по окнам.

— К окнам! К окнам! Занять оборону! – орал Гурген.

Бойцы кинулись к окнам, Стреляли с перекрестка, поэтому выстрелы нападающих шли наискось и не приносили вреда, не считая тех, кого слегка порезало летящими осколками. Но и увидеть красных, не высунувшись, было трудно, а высовываться никому не хотелось, и палили больше для острастки по пустынной улице перед домом.

Гурген и Або закрыли дверь огромным деревянным брусом.

— Ай, пропали! Совсем пропали! – нижняя губа Або тряслась, и глаза лихорадочно бегали.

— Заткнись, здесь черный ход должен быть! Дворами уйдем...

Неожиданно выстрелы со стороны красных прекратились – невольно перестали палить и бойцы Гургена.

Наступила нехорошая тишина.

— Эй! – вдруг явственно послышалось с улицы. – Эй! Гурген!

Бойцы удивленно оглядывались на командира.

— Эй, Гурген, поговорить надо!

Гурген осторожно приблизился к краю окна.

— Чего тебе? – прохрипел он.

— Слушай меня! Я красный командир Максим Вершинин! Дело ваше, слышь, дохлое... Весь город уже наш! Дом окружен! И черный ход блокирован!

— Чего надо? – проорал Гурген.

— Сдавайтесь...

— И что нам будет, господин комиссар? Конфеты момпаса угостишь?

— Жизнь...

— Врешь, комиссар!

— Веришь-не веришь — дело твое, жизнь обещаю... В общем, слушайте все, вот я сигарку закуриваю, пока не докурю – думайте. Не надумаете – все ляжете!

— Что будем делать, Гурген?

— Врет, все врет комиссар, к стенке поставят, а своих сэберегут! Уж лучше себя подороже продать! Так умрем как воины!

— Ну, хватит! – внезапно раздался вопль. Это вопил Або. – Хватит его слушать! — Глаза Або теперь прямо смотрели на Гургена и горели неприкрытой ненавистью.

— Это ты, старый осел, кишка дохлая, завел нас сюда! Ты не захотел вовремя уходить с моста, и нас отрезали! Какой ты после этого командир! Я давно знал, что ты не командир, а коровья башка, куча навозная! Люди! Довольно слушать этого осла! Пусть остается здесь, а мы сдаемся!

Глаза у Гургена налились кровью, зрачки лили плавленный свинец.

— А ты, Або, каким трусливым ванским вором был, таким и остался! Тебе лишь бы шкуру спасти! Да на тебя пули даже жалко, я зарублю тебя! — выхватив шашку, Гурген кинулся на Або.

— А ну, давай! – ощерился Або и, вырвав из ножен свою саблю с золоченой рукояткой, с неожиданной готовностью бросился навстречу.

Клинки сшиблись, лязгнули, размыкаясь, брызнул фонтан желтых искр...

Дрались, вкладывая в удары всю силу, всю злобу, все отчаянье. Гурген был шире в кости, и удары его были мощнее, но Або был гибче и моложе, ловко отбивался и отходил. А Гурген, чем сильнее бил, тем сильнее уставал. Хотя он и не был стар, но выглядел лет на десять-пятнадцать старше своих лет: серая ноздреватая кожа лица, глубокие борозды морщин, мешки под глазами, брюхо, вывалившееся за последний год неизвестно откуда. Сердце бешено колотилось, разрывая грудь, он очень скоро стал задыхаться. И если вначале шансы на победу были приблизительно равны, то теперь Гурген ощутил, что время работает против него. Наступал уже молодой и выносливый Або, а Гурген только успевал отмахиваться, видя перед собой в красном тумане лишь черные злобные глаза и оскал врага... Где же отряд? Почему никто ему не поможет?! Он же командир! Кто-то должен остановить схватку, сказать: хватит! Свалить мятежника! Нет, Гурген, никто сейчас тебе не поможет, даже честный Месроп, нахмурившись, смотрит куда-то в сторону... А остальные стоят вокруг и только наблюдают, кто первым упадет. Стая!.. Эх, был бы Ваче живой! Верный Ваче! Но Ваче лежит сейчас мертвый у стойки на полу, и ему все равно.

Сделав очередной шаг назад, Гурген почувствовал толчок под колени об оказавшуюся позади лавку и присел, нелепо взмахнув клинком, чтобы сохранить равновесие. И этого мгновения хватило для того, чтобы клинок Або обрушился ему на голову. Но тело Гургена шло вниз и немного мотнулось в сторону, и клинок достиг лица на излете.

Брызнула волна нестерпимой боли. С грохотом повалилась лавка позади Гургена, повалился спиной на пол Гурген, отбросив саблю и схватившись за отрубленную щеку.

Або кинулся к столу, содрав белую скатерть, выхватил трехлинейку у Месропа и стал нанизывать на штык белое полотно.

А Гурген сидел на полу, прижимая к лицу отрубленную щеку, и, раскачиваясь, подвывал. Кровь обильными ручьями струилась меж его пальцев, однако никто теперь не обращал на него внимания.

— Отряд! – обернулся к бойцам Або. – Теперь я командир! Вот мой первый и последний приказ: мы сдаемся!

— Эй, дашнаки! – послышалось с улицы. – Ну, что надумали?

— Сдаемся! Не стреляйте! – раздалось сразу несколько голосов. Но большая часть мрачно и подавленно молчала.

— Выходите по одному! – скомандовали с улицы.

Або осторожно открыл дверь, просунул в него штык с белой скатертью и закричал:

— Выходим! Выходим!

Неожиданно позади него хлопнул выстрел. Або испуганно оглянулся.

— Месроп! Честный Месроп застрелился!

— Черт с ним! Одним дураком меньше.

Або осторожно вышел на улицу, держа высоко над собой ружье.

— Оружие бросай! Руки кверху! – кричали красные. Або бросил под ноги винтовку и медленно, с поднятыми руками, поплелся к перекрестку, за ним другой, третий...

Вновь назначенный полковой комиссар Лева Фрумкин и матрос Жлоба, не спеша, ехали на интендантских клячах по переулку и вдруг увидели впереди скопление солдат и тачанку.

— А ну, стой! – Фрумкин спешился. Отдал поводья Жлобе и направился вперед. Это был взвод их полка. У тачанки он увидел хорошо знакомого ему командира Максима Вершинина.

— Что это у вас? – спросил Лева.

— Да вот, дашнаки обнаружили. Сдаются, — кивнул в переулок Вершинин, закуривая очередную самокрутку.

— Уговорил? – усмехнулся Фрумкин.

— Да ребят жалко своих, а зверям жизнь обещал...

— Это ревтрибунал разберется, — нахмурился Фрумкин.

Молодой пулеметчик киргиз Чеболдаев не сводил узких охотничьих глаз с приближающихся фигур в папахах с поднятыми вверх руками.

— Слышь! – кто-то сильно толкнул вбок пулеметчика. Это был огромный мордатый матрос. Он улыбался.

— Чего нада? – спросил пулеметчик.

— Слышь, браток, дай шмальнуть! – горячо зашептал матрос.

— Чего-о?

— Шмальнуть, говорю, дай: ни разу из пулемета не приходилось.

— Начальника не приказывала! – шмыгнув носом Чеболдаев.

— Та мне разрешил, значит, маневр у него такой – замануть и жахнуть, просто занят сейчас: вон важный разговор у него, вишь? А меня прислал.

— А ты не обманывала? – покачал головой Чеболдаев.

— Та, не обманывала, поди сам спроси. Дай пулемет!

— Ну, хорошо-о... — Чеболдаев подвинулся, уступая место у пулемета Жлобе.

Матрос сжал рукоять пулемета, нащупал спуск и навел прицел прямо в грудь того, кто уже почти подошел к позиции отряда.

Ударила очередь.

Або упал замертво, за ним кривой Сурен...

Другие бросились бежать обратно к духану, а пулемет все бил.

— Кто? Кто позволил? – орал взбешенный Вершинин. – Отставить!

Пулемет замолчал.

— Кто позволил? – орал на Чеболдаева и Жлобу командир. – Да я вас под трибунал!..

— Она сказала — ты сказала, начальник! – выпучив глаза, пытался оправдаться Чеболдаев.

— Заткнись, дурак, обоих сейчас под трибунал! К стенке!

— Ай, ай, зачем обманывала, плохо обманывала! – качал укоризненно на Жлобу Чеболдаев.

— Товарищ Вершинин! – вмешался Фрумкин. – Со своим солдатом делайте что хотите, а боец Жлоба находится в моем личном подчинении, и отправлять его под трибунал или нет, решать буду я!

Однако матрос лишь широко ухмыльнулся.

— О чем забота, командир? Неужто жаль эту нечисть? Все равно б трибунал их кончил.

— А ты что, трибунал? – орал на него Вершинин. – Теперь их оттуда не выкуришь, и ребят положу своих ни за грош под конец войны!

— О чем забота, начальник, — вновь ухмыльнулся Жлоба. – Я их сейчас сделаю!

— Чего?

— Он может! Он может! – закивал Фрумкин.

— Та у них и оружия-то не осталось – все покидали, пока выходили... — добавил Жлоба. – Сделаю...

— Вот и иди, делай! – распорядился Вершинин.

— Пару гранат дашь?

— Дайте ему три гранаты!

— Сколько их было? – спросил Фрумкин.

— Человек пятнадцать.

Фрумкин и Вершинин пересчитал лежащие в переулке тела – вышло восемь.

— Тьфу, черт! – махнул рукой Вершинин. – значит, в духане примерно столько же.

— Только без оружия! – напомнил Фрумкин, указывая на кучу ружей, маузеров и сабель перед духаном. – Так драпали, что не успели прихватить.

— Кто их знает, может, у кого и осталось, — покачал головой Вершинин. — Эй, вы там! – крикнул Вершинин в сторону духана. – Сдавайтесь!

Послышались невнятные крики, смех и ругань, русский и армянский мат.  
— Теперь их оттуда не выкуришь, — вздохнул Вершинин. — Придется брать!  
— Значитца так, командир, — обратился Жлоба к Вершинину. — Я подбираюсь по-тихому, кидаю лимоны в окошко и дверь — дальше ваши доделывают.  
— Доделывают! — передразнил командир, — вот за таких стратегов хреновых и приходится доделывать! Ладно! Давай! — махнул рукой Вершинин. — Чеболдаев за тобой пойдет...  
— Ребята! — обернулся к солдатам Жлоба. — В духане вина — море! Отобьем — все наше! Дадим последний и решительный!..

Их оставалось четверо, не считая Гургена, конечно, который сидел на полу в луже крови, раскачивался и стонал, все так же придерживая щеку. Он хотел попросить бойцов добить его, но боль была такая, что он не в силах был произнести ни слова! Левый глаз был закрыт и залеплен кровью и грязью, а правый безумно выпучен и, кроме страдания, ничего не выражал.

Их оставалось четверо, и они приготовились биться до последнего: один подобрал маузер Гургена, другой кольт Месропа, третий шашку Гургена, а четвертый взял в руки тяжелый брус, которым закрывали дверь.

Почти одновременно в приоткрытую дверь и в разбитое окно полетели гранаты...

Четверо, как и хотел того Гурген, умерли, как воины, а самого его осколки не тронули, лишь чиркнуло по грыже, и он, так же сидя, уже ничего не слыша, раскачивался и выл с дико выпученным глазом. В этот глаз и ударил штыком рядовой Силкин, вбежавший в духан последним из бойцов отряда.

— А ты, как всегда, Силкин, вовремя! — едко ухмыльнулся Вершинин, оглядывая погром. — Потери есть?

— Чеболдаев убит, Верещак ранен...

— Стратеги хуевы! — ругался Вершинин, исподлобья поглядывая на Жлобу и Фрумкина. — Вот и доделали! Верещака в госпиталь! Всех дашнаков на улицу выложить: приказ командования всех на площадь собрать — чтоб другим неповадно было!

— А кто потащит?

— Местное население, не мы же! Вот у тебя Силкин лучше всего с безоружными общаться получается — ты и организуй! Стучи соседям на улице, пусть тянут! А Чеболдаева пока в подвал, в холодок... завтра, как героя, схороним!

## ЭПИЛОГ – ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЛОГА

### КОМИССАР ФРУМКИН

Мертвец шагал по затихшим ночным улицам. Когда он проходил мимо дворов, собаки в ужасе скулили, рычали, ошетиниваясь, и заползали в свои будки и щели. А люди крепко спали и ничего не чувствовали.

Мертвец и сам не знал, куда и зачем идет, ибо он мертвец, а мертвецы не в состоянии думать. Но любой движущийся объект находит цель. Гурген кружил по переулкам, но с каждым разом все приближаясь и приближаясь к духану Мамикона.

Навстречу ему попался патруль из трех красноармейцев.

— Стой! — приказал главный из них. — Кто идет?

Мертвец будто не слышал и продолжал надвигаться на них. В свете выскочившей из-за облака луны все увидели его изуродованное лицо. Они сорвали винтовки и по разу успели пальнуть почти в упор, но мертвец двигался, как ни в чем не бывало, даже не пошатнувшись, хотя все три пули застряли в его теле. Бойцы почувствовали, как на них надвигается что-то холодное, ужасное, непонятное, и кинулись врассыпную.

Под тяжелыми каменными сводами духана Мамикона гремел и трещал храп красных бойцов, побежденных натуральным виноградным вином и тутовой водкой. Одни спали, уронив головы на стол, другие валялись на цементном заляпанном пятнами крови и красного вина полу.

Толстый маленький Мамикон ходил между столами и телами и, покачивая головой, пытался подсчитать убытки.

Он цокал, покачивая головой и причитал: «Вай!.. Вай!.. Кто за все это заплатит? Разорен! Разорен!..»

Все карасы с вином в подвале были уже пусты, большинство кувшинов разбито, многие стулья сломаны, не говоря уже о крови и рвотных следах.

Мамикон прислуживал новым хозяевам сам, несмотря на свой немолодой возраст и брюшко, бегал по крутой лестнице, как заводной, между карасами и непрошеными гостями.

В самом начале, когда разгоряченные бойцы заполонили питейное заведение, в котором еще пахло порохом и кровью, он было попытался улизнуть, но матрос Жлоба ухватил его за шиворот.

— Ты хозяин? — спросил Жлоба.

Мамикон сознался.

— Ну вот что, буржуйская морда, раньше тебе прислуживали, а теперь революция, слышал? Теперь наоборот – вы, буржуины, будете рабочему классу и красным бойцам служить! А ну, показывай героическим красным бойцам свой подвал, ежели жить хочешь!

Героические красные бойцы пили за победу, пили за павших товарищей, пытались петь «Смело, товарищи, в ногу», но хор получился неслаженный, «не в ногу», каждый пел по-своему, и получалась какофония. Потом люди перестали слышать и хотеть слышать друг друга – каждый говорил и орал о чем-то своем «самом-самом», страшный матрос стал отплясывать на столе яблочко, и стол сломался.

Мамикон, бегая за вином по крутой лестнице, совсем выбился из сил, но пытался угодить всем, выдавливал из себя улыбочки, боясь, что Жлоба его расстреляет.

К полуночи все спали мертвецким сном в тех позах, в которых их свалил Бахус. И страшный Жлоба был уже не опасен – спал, сидя, с головой, лежащей на столе. Мамикон, пошатываясь и негромко причитая, ушел.

Не спал всего один человек – молодой комиссар Лева Фрумкин. Он старался пить меньше других, иногда выливая вино под стол. Но даже и того, что выпил, хватило с излишком: он покачивался, контуры предметов в глазах двоились и троились.

Он сидел прямо и горделиво думал, что бы сейчас сказала о нем тетя Тася, увидев его такого — в форме, в кожаной португее – комиссара героической пролетарской армии. Что бы она сказала, узнав, как высоко он взлетел?! Он будто видел ее – седовласую, с вечно насмешливыми голубыми глазами — и словно слышал наяву (сколько раз это от нее слышал!): «Иосик играет на скрипке Мендельсона, Розочка поет и играет на пианино, маленький Мойше, сидя на горшочке, наизусть цитирует услышанные у отца целые отрывки из Торы! Подумать только, такая необыкновенно талантливая семья у моего брата. И лишь Лева не имеет ровно никакого таланта, ну ровно никакого таланта! Бедный Ефим, бедный мой брат, сколько он с ним ни бился — один нонсенс! Кто бы подумал, что сын такого человека может быть таким бэз таланта! Ему, Левке, только на привозе торговать папиросы!»

«Ну вот, тетя Тася, человек теперь я не простой, несмотря на свои восемнадцать, — думал Лева Фрумкин торжествуя – комиссар, командир в революционной Красной армии! Смотри, сколько у меня бойцов, сколько героев, боевых товарищей! И что бы ты сказала, увидев это?! Это вы со своими старыми тысячелетними книгами, вашей пыльной ветхозаветной мудростью, все ждете какого-то мессию, и в ваши престарелые седые, косные головы даже мысль не могла прийти, что может этот мессия рядом, может Я и есть тот человек, который придет, чтобы сделать всех счастливыми! Пусть Розочка поет, Иосик играет на скрипке, а Мойше поскорее научится читать и прочтет не Тору, а «Капитал»... а он сам, Лева Фрумкин из Одессы — МЕССИЯ!»

Лева сидел за столом, млея от гордого любования собой и растягивая это приятное ощущение. В руки ему попала какая-то деревяшка, и он невнимательно крутил ее. Невольно глаза остановились на предмете. Явно это была неслучайная деревяшка. Лева Фрумкин был человеком любопытным и приметливым к мелочам. Да, это была явно чья-то ручная работа. Можно различить голову, углубления глаз, что-то вроде платья, опущенные руки и даже что-то вроде узора по поясу!... Да ведь это кукла! Примитивная варварская кукла. Ею, наверное, играла маленькая дочка хозяина и забыла здесь. Надо будет подарить какой-нибудь сиротке из тех, которых так много он видел на улицах, хозяин достанет своей дочке новую, а сиротка всю жизнь будет помнить доброту новой власти!

Керосиновые лампы догорали, и в углах и за колоннами скапливалась темнота.

Неожиданно ударила входная дверь, и в помещение ворвался холодный, будто с ледника, воздух. Послышались тяжелые шаги. Фрумкин поднял глаза, невольно привстал и... ошеломен. К нему приближался человек. Вид его был ужасен, и, вместе с тем, казался чем-то знакомым: правая глазница заполнена черной запекшейся кровью, левая щека висела на кожном лоскуте, мерцали обнажившиеся зубы... второй глаз был открыт и тускл. Он будто втягивал в себя свет. Волосы прищельца и борода были слипшиеся и всклокоченные, френч, вымазанный кровью и грязью, болтался при каждом шаге, волосатые ноги мертвеца были босы. Серый воздух в подвале стал таким густым и вязким, что рукой не пошевелишь. Мертвец, оставив на Фрумкина единственный глаз, двигался к нему, не обращая внимания на других бойцов. Фрумкин хотел двинуться, но не смог, хотел закричать, но горло словно клещами сдавило, как в кошмаре. Фрумкин стоял, прижимая к груди куколку, будто она могла его защитить. Мертвец подошел к нему и протянул к его груди руку, будто собираясь вырвать сердце. Это было выше сил, и Фрумкин, закатив глаза, рухнул без чувств.

Когда он очнулся, все спали, как прежде, только ни мертвеца, ни куколки не было. Вся одежда была мокрая от пота, будто его окунули в реку.

— Вот так и сходят с ума от водки! – с ужасом подумал Фрумкин. Он растолкал Жлобу.

— Жлоба, проснись, черт морской!

Жлоба замычал и приоткрыл глаза.

— Жлоба, здесь кто-нибудь был?

Жлоба замычал: мол, отстань от меня, дай человеку отдохнуть.

— Жлоба, ты сейчас кого-нибудь видел?

— Тебя видел, — выдохнул Жлоба, и голова его упала, громко стукнувшись лбом о стол.

«Господи, что ж это творится!? – лихорадочно думал Фрумкин, — выходит, мне нельзя, совсем нельзя пить!»

«Лева, у тебя ровно никакого таланта! – явственно услышал он голос тети Таси, — тебе на привозе папиросы торговать!» — и увидел ее, будто в каком-то серебристом облаке.

— Тетя Тася! – пал на колени Лева. – Клянусь тебе самым дорогим, Лениным клянусь, Карлом Марксом! Больше в рот ни капли не возьму!

А тетя Тася не отвечала, она лишь строго погрозила ему сухим пальцем из своего серебристого облака и вместе с этим облаком медленно растаяла.

Фрумкин сдержал свое слово: он больше никогда в жизни не пил ни капли спиртного. О его участии в Гражданской войне как-то быстро забыли. Возвратившись в Одессу, он быстро демобилизовался, закончил курсы зубных врачей и стал прекрасным дантистом, которого обожал весь город. Во время Отечественной войны его мобилизовали. Попал в немецкий плен. Потом был лагерь смерти Собибор, откуда бежал. Партизанил, воевал хорошо. После соединения его отряда с Красной армией был обвинен в измене родине, как и многие бывшие в немецком плену. Потом была Колыма, где выжил благодаря тому, что сделал прекрасную вставную челюсть с золотыми зубами начальнику режима зоны. Дважды за эти годы он все же пробовал пить, но едва делал глоток спиртного, как его сразу выворачивало в неукротимой рвоте. После реабилитации вернулся в родную Одессу, где продолжал работать дантистом. О мессианстве своем он никогда больше не вспоминал. И умер он семидесяти девяти лет на работе, только что вытащив чей-то зуб и присев на стул передохнуть.

## БЕСЕДА С ОСЛОМ

Пустынны и страшны были тогда ночные дороги Армении. Время тревожное, неустоявшееся, и мало кто в одиночку да без оружия осмеливался путешествовать по ним. Конную банду курдов, перешедших границу, можно повстречать или местных мужичков-душегубцев из ближайших голодных деревень, рыщущих в поисках любой добычи, для которых в темноте и одиноковье теряло уже всякое значение.

Но дело сложилось так, что пожилой отец семейства Аршак Тер-Григорянц, полукрестьянин-полугорожанин, уж и не ведающий своего происхождения, позабытого еще ближайшими предками, оставившего лишь кое-какие следы в фамилии в виде приставки «Тер», намекавшей то ли на предка священника или на архидревнего князя, да в «ц», будто еще пытающейся подчеркнуть родовую гордость, оказался на ночной дороге, ведущей из Священного Эчмиадзина в Город. Впрочем, был он в Эчмиадзине вовсе не по священным, а по самым что ни на есть земным делам и пришлось задержаться.

Он ехал на небольшой двуколке, запряженной послушным и тихим осликом по имени Хмац. Кто назвал таким именем ослика, было неизвестно, ибо Аршак уже купил его с таким именем, и на него он отзывался. Вопреки имени, которое по-армянски значит «пьяный», ослик был послушный, терпеливый и, кстати, вовсе не упрямый.

Своим Хмацем Аршак был доволен и старался, как мог, делать жизнь животного более сносной – не бил, давал время на отдых, не забывал напоить, ухитрялся всегда найти сенца или травки. Хлеб Хмацу и не снился – его не хватало и членам немалого семейства Аршака, состоящего из визгливой жены, младшего женатого сына, двух невесток, двух маленьких внуков – по одному от каждой. Младший сын пока не радовал, а старшего – умницу, надежду семьи, который хоть как-то помогал ему, три года назад зарезали, когда он проезжал через татарскую деревню, чтобы сократить путь. Аршаку было под шестьдесят, но был он еще жилист, довольно крепок, хотя и давали знать уже боли в спине и в суставах, работы любой не гнушался, но от женщин семейства слышал одни упреки и ругань за то, что не умеет «зарабатывать деньги», и семья живет впроголодь, в основном, лишь за счет маленького огорода при доме.

У сына была своя жизнь. Хлеба много он в семью не приносил, а все слонялся где-то с друзьями и пил с ними водку, на которую деньги у них каким-то образом почти всегда находились.

И выходило так, что и поговорить по душам Аршак мог только со своим осликом. Делал это он, конечно, так, чтобы никто не слышал. Аршак рассказывал ослику о своей жизни, начиная с детства, об отце, о матери, о том, что с ним случалось и что приходилось пережить, о текущих делах, и ослик смотрел на него грустными человеческими глазами, будто понимал.

Ну, а сейчас была ночь, пустынная дорога, и Аршак мог беседовать со своим длинноухим другом от души, сколько заблагорассудится – вот только глаза немного слипались.

Вся его речь была – нескончаемая жалоба на то, как несправедлива судьба и нескончаемое вопрошение, отчего так много несправедливостей позволяет милостивый Бог на Земле.

Хотя сегодня Аршаку, можно сказать, повезло. Двоюродный брат уехал с семьей в Россию – что мог, забрал, что мог, распродал, а ему, Аршаку, в наследство досталось еще совсем нестарое кресло, которое передал сосед.

Кресло удалось погрузить на двуколку, подвязать. Его можно было использовать по-разному. Можно было оставить в комнатах, ведь, сидя в кресле, каждый, даже самый простой человек, чувствует себя немножечко царем, ибо происхождение кресла все-таки идет от трона, но лучше было бы его разобрать! – Деревянные части пошли бы на топливо, из обивки можно сшить куртки для внуков, а ватой утеплить, сено можно было бы отдать Хмацу, а сколько маленьких симпатичных гвоздиков можно вытащить из него – они бы и в хозяйстве пригодились, часть можно было бы и продать. Сколько способов применения одной вещи можно придумать! Но, конечно, все решит крикливая Сусанна...

Всякая нищета имеет свою грустно-комическую сторону. Аршак ехал не безоружным: под креслом лежал завернутый в материю кухонный нож, которым собирался героически обороняться от шаек разбойников.

Хмурая была местность, каменистая, пустынная и неприветливая. Кроме него и Хмаца на дороге – ни души. На луну то и дело тучи набегали, и тогда все погружалось в такую темень, что даже Хмаца не было видно – только слышалось мерное цоканье его копыт о камень да поскрипывание колес. Когда ветер сдувал с луны облака, обнажался ее болезножелтый лик и неприветливая пустынная местность с невысокими голыми холмами вдоль дороги, и только длинные добрые уши Хмаца вселяли какую-то надежду.

— Да, друг мой Хмац, и зачем человек живет? — вопрошал привычно Аршак. — Вот я, прожил, можно сказать, целую жизнь — умного сына потерял, а дурак остался. Вот впереди старость... И ты думаешь, меня эти бабы будут уважать? Кто-нибудь поднесет стакан воды, когда я уже не смогу встать с постели?.. С каждым днем, чем я слабее, тем они глупее и злее...

Нет, Хмац, плохи мои дела... И что я видел хорошего? — Сызмальства работал на винограднике, пас скот, за любую работу в хозяйстве брался. Молодость мелькнула, как звезда падучая... Появилась семья, стал горбатиться, чтобы хоть как-то ее прокормить. Потом война, голод... Резня... Человек человеку — волк... Да и о каком мире можно говорить, если и в семье — война на войне!..

Раньше турки убивали, сейчас вот красные пришли. Жестокосердые — многих людей сгубили за словечко... Чека!.. И главное, наши же армяне там сидят и армян расстреливают сотнями. Они говорят, за мир, мол, ради трудящихся стараются. Так ли это? Вот я — тружусь, надрываюсь и что, мне легче становится?.. Нет — говорят только...

А подгонять палкой они, конечно, мастера...

Так и работай, работай, пока не здохнешь...

Аршак помолчал, прислушиваясь к ночной темноте, и продолжил.

— Дожил до того, что и поговорить по душам не с кем, кроме как с ослом! Ты только не обижайся, Хмац, я тебя вовсе не хочу обидеть, я благодарен за то, что хоть ты меня слушаешь.

А если по правде, Хмац, грех сказать, я так устал душой, что самых близких людей разлюбил. Наверное, это большой грех, но это так. Ведь всех людей разлюбил... Ха! А тебя вот нет!.. Как это можно объяснить с Небесной точки зрения?

Ветер очередной раз сдул тучи с луны, и Аршак увидел справа от дороги древнее кладбище с покосившимися хачкарами. Это место он знал, и оно пользовалось у путников дурной славой. Кладбище было такое древнее, что никто из родственников умерших уже сюда давно не приходил — потомки так отделились от почивших предков, что забыли их навсегда. Иногда лишь днем любопытный путник делал здесь остановку, пытался читать полустертые имена, цифры, дивился на узоры, неповторимые, как каждая человеческая судьба. Были здесь могилы, которым и тысяча, и более лет. Легендарное время очередного кратковременного расцвета, время царей армянских и витязей...

Аршак почувствовал, как тяжелеют веки, и в этот момент его послушный Хмац вдруг резко остановился. Аршак увидел приближающуюся к ним по дороге странную одинокую человеческую фигуру, и на него вдруг повеяло каким-то особым скывывающим холодом. Хмац взревел так громко, как ревет лев, но это был рев страха, рванулся с необыкновенной силой, извернулся, освобождаясь от постромок, чуть не перевернув двуколку, которую еле успел придержать соскочивший с нее Аршак, и, продолжая реветь и стонать, кинулся куда-то в ночную пустыню. А Аршак вцепился в двуколку и смотрел на темную приближающуюся фигуру. Сердце, сжимаемое холодом, стало биться все медленнее и медленнее, он не мог двинуться, чтобы достать кухонный нож, да и что-то убеждало его, что нож тут совсем не поможет... И вдруг, когда до идущего к нему оставалось шагов десять-пятнадцать, раздался звук, напоминающий щелчок, и фигура исчезла.

Аршак зажмурился, протер глаза: нет, дорога была свободна, лишь у изгиба стоял древний огромный тысячетный хачкар — то ли праведнику какому возведенный, то ли князю.

Аршак перекрестился, пробормотал молитву: «Господи Иисусе, прости меня грешного и избави от лукавого». Может, все это ему только привиделось? Может, просто задремал? Но почему тогда так перепугался Хмац, ведь не мог же им присниться одинаковый сон? Обиженный рев Хмаца все еще доносился из сумрака и, оставив двуколку, Аршак пошел на рев, зовя Хмаца. Вскоре он его нашел, мелко дрожащего, теплого.

Аршак погладил Хмаца по холке, поцеловал в белое пятнышко между глаз, стал говорить ему что-то бессмысленно успокоительное и, когда Хмац перестал дрожать и совсем успокоился, хозяин взял оборванную веревку и повел его к двуколке.

Аршак шел, покачивая головой, вновь беседуя с самим собой и Хмацем.

— Бывает же такое, друг?! Чудеса! Ведь никто не поверит!

Разве что сосед Маркар... единственный оставшийся приятель, с которым они изредка встречались. Нет, Маркар — человек серьезный, семейный. — не поверит, скорее решит, что Аршак спятил... И уж, тем более, нельзя рассказывать об этом дома — женщины просто засмеют, а Сусанна назовет вралем и трусом.

— Нет уж, лучше об этом, — сказал Аршак ослу, — мы никому никогда не расскажем! Чудеса, прости Господи!

## МАРШ МЕРТВЕЦА

Будто лопнул огромный пузырь и душа вернулась к Гургену — он вспомнил, кто он, что с ним было, и огляделся. Вокруг, до горизонта, расстилалась странная холмистая местность, вся усеянная большими и малыми хачкарами, — невероятно огромное кладбище, начала и конца которому не видно. С серого низкого неба лился какой-то совсем слабый свет, силы которого еле хватало превратить полную темноту в сумерки. Свет был явно не солнечной природы, а какой-то иной — это он почему-то сразу ощутил. Свет этот к горизонту слабел, будто оттуда надвигалась ночь и там, вдали, вспыхивали багровые грозные сполохи.

Гурген зашагал по равнине, изредка натыкаясь на хачкары, потом приспособился их обходить, как-то овладевая своим онемевшим телом. Впереди он вдруг увидел женскую фигуру, обнимающую один из хачкаров. Он подошел ближе и сразу узнал ее.

— Сатеник!

Сатеник оглянулась на него, отпустила крест и встала навстречу. Лицо ее было спокойно и совсем не выражало удивления, будто она знала заранее о приходе Гургена.

— Сатеник, здравствуй, что ты здесь делаешь? И что это за место?

— Здравствуй, Гурген, — улыбнулась грустно Сатеник, — это Армянское кладбище. Видишь, какое оно большое?

— Да, — еще раз оглянулся Гурген, охватывая одним глазом местность, — я такого еще не видел. Но что ты здесь делаешь?

— Прошу прощения у своего мужа... Грех великий я совершила с тобой. Ведь когда мы венчались, он еще, оказывается, жив был. На германском фронте ему обе ноги оторвало, поэтому домой и не возвращался. А когда мы с тобой венчались, умирал в госпитале в России в муках... Вот этого греха он простить мне не может...

— И сколько ты будешь просить у него прощения?

— Пока не простит... может, месяц, может, тысячу лет... Но я все равно счастлива: я все же нашла его, а главное, знаю, что наш сын сейчас у хороших людей — сыт, учится... Спасибо тебе и Месропу, что вы ему помогли. Вот видишь, Гурген, все произошло, как я предупреждала: я согрешила, тебя убили...

— Я думаю, он должен простить, ведь ты делала все, что могла, а меня-то по-настоящему и не любила, — прохрипел Гурген.

— Я думаю, простит все же, и тогда я смогу войти в Счастливый Поток Прощенных...

— Что за поток?

— Он светлый, уходит вверх, и там все, кого простили и кто смог простить, и все счастливы счастьем неземным...

Гурген покрутил глазом:

— Почему здесь такой слабый свет и откуда он?

— Это свет сознания человечества, устремленного на нашу Беду.

— А почему там, вдали, темно и будто ночь, только вспышки, будто бой?..

— Потому что, Гурген, о нашей Бедѣ мир забудет, никто кроме нас не будет о ней вспоминать, а красные вспышки — это беды наши грядущие и войны. А ты иди, иди, Гурген, и выполняй назначенное тебе...

Снова будто шелчок раздался, будто лопнул пузырь, душа покинула тело, и мертвец оказался в том же месте на дороге у древнего хачкара. С того момента, как он исчез отсюда, по земным меркам прошло около часа, и Аршак с Хмацем успели уже отъехать довольно далеко по направлению к городу, а мертвец, как заводная игрушка, вновь двинулся по дороге вперед.

Больше этой ночью он не повстречал никого.

К утру дошел до Сардарабадской пустыни.

Небо на востоке посветлело, и из-за волнистого края гор выглянул серп раскаленного добела солнца. Мертвец остановился, прислушался, будто ветер донес сквозь время эхо криков идущих в атаку людей и стук пулемета. Но в следующий миг все затихло, и солнечный белый круг, оторвавшись от гор, начал свое восхождение.

Мертвец постоял-постоял, будто пытаясь что-то вспомнить, и, резко повернув, зашагал на юг. Холодный ночной воздух быстро согревался, а ветер сушил плоть, останавливая ее разложение.

Где-то далеко справа вышел на склон Арагаца крестьянин, вышел на свой надел, взял в ладонь свою красноватую землю, покрошил, пробуя, насколько она еще холодна и скоро ли будет готова к пахоте.

Он заметил странную фигуру вдали: но ему было не до нее — земля на ладони интересовала больше. А странная фигура, едва появившись, уже удалялась. И крестьянин посмотрел на розовое солнце, повеселел и замурлыкал, загудел, как шмель:

Эй, Оровел, оровел...

Вот рассвет зарозовел...

Это был, собственно, тот самый мужик, которому в 1915 году перерезали горло, но он чудом выжил и после следующей пасхи вышел вновь в поле сеять зерна. Тот самый, который все время как-то скромно оставался за рамками нашего повествования, ожидая своей минутки.

Его еще будут много раз убивать: забьют по доносу в сталинских застенках, он погибнет под линией Маннергейма, сгорит в танке под Куском, упадет на пороге своего дома в Карабахе, скошенный автоматной очередью... Но на каждую пасху он будет снова воскресать, мять и нюхать красную землю, потом выходить в поле сеять. А осенью в его квадратных ладонях будут перекатываться не патроны, а золотые зерна хлеба или тлеть красным, желтым и зеленым сквозь матовую пленку ягоды виноградской кисти.

И труд этот никогда не был и не будет рабским, ибо как может быть рабским волшебство рождения и произрастания? — И его, этого мужика не убить, пока останется хоть клочок его красной или бурой земли, ибо созидающий из глубины сердца в принципе непобедим.

«Эй, Оровел, оровел!...»

А если о нем Мир вдруг снова услышит, то люди удивленно пожмут плечами: «А он еще живой?..», чтобы через минуту забыть.

Скоро Гурген перешел мелкую речку, отмечающую границу, обозначенную живыми людьми — для него границ не существовало.

Гурген шел на юг по безлюдной местности то по дороге или тропе, то вовсе, будто пытаясь сократить путь, через заросли кустарника и напрямик через отроги холмов и гор. Он спешил. Иногда какая-то сила пронесла его вмиг от

поворота до поворота тропы, дороги, потом он снова шагал... Месиво в правой глазнице засохло и превратилось в корку, отвисяющая полоска кожи щеки болталась во время ходьбы. В том, что он был мертв, были свои преимущества – ему не надо было ни есть, ни пить, он не знал усталости – все шагал и шагал.

Он вновь вышел на ведущую к югу дорогу и долго по ней двигался. То и дело рядом с ней белели и желтели человеческие кости, в некоторых местах целые груды – кости армянских беженцев.

В полдень ему встретился выдвигающийся к границе отряд аскеров. Они шли обычным шагом, колонной. Впереди шагал офицер. Увидев мертвеца, он сразу решил, что это один из оставшихся чудом недобитых гяуров, выхватил пистолет начал стрелять в него. Не дожидаясь команды, впереди идущие солдаты, сорвав винтовки с плеч, тоже открыли огонь: пули застревали в плоти или выходили сзади, вырывая ее куски, но мертвец все шел и шел на них. Не выдержав, бросив пистолет, офицер в ужасе бросился прочь с дороги в кустарник, а за ним и солдаты с криками «О, Аллах! Шайтан!.. Шайтан!..»...

А мертвец будто не видел их, а все шел и шел...

Около трех дня на дороге показался отряд конных курдских гамидие во главе со знаменитым и грозным разбойником Агир-Багером, которого боялись даже соплеменники. Седло Агир-Багера украшала связка высохших человеческих ушей, несколько езидских скальпов-косичек и засохшая головка девочки на ремешке, продетом через уши, которой любила играть его маленькая дочка. Небольшая головка за два года, пока ее таскал убийца, еще более ссохлась, и личико девочки сморщилось в облик крохотной старушки.

Когда курды увидели идущего по дороге мертвеца, их лошади остановились и стали пятиться. Но то, что было позволено остальным, то не было позволено их главарю Агир-Багеру – выказать страх, обратиться в паническое бегство: тогда бы он «потерял лицо» в глазах всей шайки, обреч бы себя на всю оставшуюся жизнь насмешкам, и лег бы этот случай позором на весь его род – и на предков, и на потомков...

Солнце вспыхивало на зубах над отрубленной щекой, мертвец будто над ним смеялся. Агир-Багер выхватил саблю с золотой рукояткой и стал нахлестывать своего пятящегося вороного коня. Почти никогда он не поднимал руку на своего любимца, а тут стал бить плетью, но конь храпел, вставал на дыбы и продолжал пятиться. Багера охватило бешенство, глаза налились кровью, он бил коня все сильнее и сильнее, но это не помогало. И тут он сделал то, что никогда не делал – вонзил шпоры, которые носил больше для красоты, в бока животному. Конь мотнул головой в сторону и резко, почти вертикально встал. Агир-Багер слетел с седла головой вниз и, ударившись о камень, мигом испустил дух.

Увидев все это, остальные хищники резко повернули своих лошадей и с криками «Алла! Алла! Шайтан!» в ужасе ринулись прочь от дороги кто куда. А избавившийся от всадника вороной конь еще долго мчался прочь вверх и вниз по горным склонам...

А мертвый Гурген продолжал идти, и в такт шагам сотрясался свисающий с лица лоскут кожи. А солнце жгло и сушило его, потом стало клониться к западу, и задул прохладный ветерок. Наступила ночь, луна скрылась за облаками, но странным образом мертвец и в темноте находил правильный путь вдоль дорог и троп, избегая препятствий и обрывов.

Было около двух ночи, когда он поднялся на очередной холм. Полная луна ясно высветила, как фонарем, внизу долину с деревней, с домиком пастуха на отшибе у дороги, порушенной армянской церквушкой на холме... От деревни веяло теплом – она была обитаема. Жители спали – лишь кое-где побрехивали собаки.

Гурген спустился вниз и оказался на дороге, пересекающей деревню. Скоро он шел по улице, никого не встречая. Прошел площадь с чинарой. В белой стене у ворот калитка. Толкнув ее, оказался в саду. Двинулся дальше мимо абрикосового дерева... Ночь была теплая, и дверь в дом была приоткрыта. Поднялся по ступенькам крыльца, и они заскрипели под его ногами.

— Ахмед? – послышался тревожный женский голос из дома.

Веранда... Комната... Посреди нее стояла, покачиваясь, деревянная люлька со спящим ребенком. Он не заметил жвавшейся от ужаса в стену позади него женской фигуры.

Узор на люльке будто что-то ему напомнил, и мертвец остановился как бы в недоумении. Ребенок улыбнулся во сне. Мертвец вытащил из-за пазухи деревянную куколку и протянул ее ребенку, задержав игрушку над люлькой, будто собираясь с ним поиграть.

Вдруг с неожиданным воем что-то мелькнуло перед его глазом, выхватило ребенка из люльки и умчалось прочь: в женщине материнский инстинкт переборол сковывающий людей страх. Мертвец недоуменно оглянулся, покрутил глазом, вновь спрятав куколку себе за пазуху и, повернувшись назад, вышел из дома, пересек сад тем же путем и оказался снова на улице.

Он продолжал идти вперед. Деревня закончилась, за ней был яблоневый сад. Он миновал его и очутился на площадке перед обрывом, приблизился к краю и немного постоял, будто что-то обдумывая или ожидая дальнейших команд. Луна ярко освещала горы.

Он двинулся вдоль обрыва, по тропе спустился с него, и с этого момента направление его пути резко изменилось: теперь он уверенно шагал на северо-восток.

С тех пор в этих краях еще долгое время бытовала легенда о мертвце, который неожиданно появляется на дорогах, убивает одиноких путников, крадет в деревнях детей и выпивает их кровь. Сгрудившись у костра на переходе, ее слушали аскеры, сжимая винтовки, и тьма, и горы вокруг казались еще более непонятными и враждебными.

Высоко в горах, на склоне Арарата обитает загадочное племя курдов-езидов, которые верят в то, что миром управляет падший ангел, а добрый Бог есть, конечно, но где-то далеко, слишком высоко, но придет время и он, падший, будет прощен и ад зальет слезами, но пока его сила, добро и зло в нем пребывают борясь, и гневить его опасно – и приносят они жертвы, и молятся, чтобы не трогал их деревню Тавуш-Мелек.

Доставалось езидам от всех: их изгоняли христиане, убивали мусульмане, как турки, так и единокровники. Обитатели этой деревеньки видели странного незнакомца, который шел вверх по склону.

А выше езидов, почти у границы вечных снегов, жил в пещере старец. Никто не знал ни его имени, ни религии, ни возраста, ни национальности, поэтому его и прозвали Никто. Он жил в своей пещере уже лет тридцать – он пришел сюда уже стариком.

Езиды побаивались его, считая то ли святым, то ли посланцем дьявола, то ли великим мудрецом и, на всякий случай, раз в неделю приносили ему еду. Никто ходил в шкурах, седая его борода достигала пояса, питался, бывало, насекомыми и змеями, которых с великим искусством ловил и жарил. Иногда, в ответственные для деревни моменты, езиды, принося еду, спрашивали его совета. Они спросили Никто и о мертвце, проходившем мимо их деревни: не является ли это каким-то дурным знамением?

— Кто этот мертвец и что делает он здесь? – спросили его езиды, — и не принесет ли он нашей деревне беды?

Никто был последний из людей, кто видел мертвеца. На его глазах мертвец пересек линию снегов и стал подниматься все выше, пока не скрылся с глаз. Никто покачал головой, веки его опустились, прикрыв зрачки.

— Это большой грешник... Нет, он не вернется — он ищет свою могилу...

— А где должна быть его могила?

— Там, где земля кончается...

## АРТЕФАКТ

Через полвека, году в 71-м, в одном солидном американском научном издании появился отчет об американо-турецкой экспедиции на вершину Арарата (турками переименованного). Но в отчете он значился все же как Арарат. Одним из археологов-американцев, входившим в эту экспедицию, Бертом Робинсоном, на самой вершине был найден странный деревянный предмет. Он напоминал примитивную куколку: глаза, нос, руки вдоль тела и даже какой-то нехитрый крестовидный узор по поясу.

В турецкой печати было тут же торжественно и широко заявлено, что это материальное свидетельство того, что турки взойшли на Арарат десять тысяч лет назад. Однако куколку сразу отправили за океан на радиоуглеродные и прочие исследования. Оказалось, что она из сосны, возраст которой немногим более ста лет, а время ее создания – около пятидесяти лет, то есть она каким-то образом попала на вершину примерно в начале двадцатых годов двадцатого века. Но как? Каким образом? В начале двадцатых годов не было экспедиций на вершину... На это не могли ответить самые гениальные головы. Да и с какой стати людям, поднимающимся на гору, тащить с собой эту совершенно ненужную штучку?

Явление не укладывалось ни в какие разумные объяснения и гипотезы и наконец археолога Берта Робинсона, честнейшего человека и авторитетнейшего в своей области специалиста, обвинили в том, что он сам подкинул этот предмет с целью произвести сенсацию и привлечь к себе внимание. Над Робинсоном стали открыто насмехаться и в газетах, и прямо в глаза, коллеги под разными благовидными предлогами перестали с ним встречаться, а научные журналы публиковать его работы. Научная карьера его была погублена, он запил, бросил археологию и закончил мусорщиком в Атланте. Кстати, куколка долгое время находившаяся в экспозиции виднейшего археологического музея, загадочным образом исчезла, и о ней быстро забыли.

А среди стариков езидов, все еще обитающих в одной из деревень на склоне Арарата, до сих пор ходит легенда. На горе, в ледяной пещере, лежит мертвец. Раз в год, в сентябре, когда ледяная шапка горы становится меньше обычной, рассыпаются ледяные оковы, и мертвец выходит ночью на вершину. Он прислушивается: не слышно ли шума волн второго Потопа, не слышно ли скрипа весел и мачт Нового Ковчега с Праведниками, готовыми пристать к первой пристани и начать Историю с белого листа. Только тогда он сможет уйти навсегда, в Светлый Поток.

И тогда Господь Бог возьмет чистый лист бумаги, шариковую ручку и начнет писать... Или он предпочтет клавиатуру компьютера?...

«И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...»

И все будет уже по-другому. И многие сослагательные наклонения исчезнут, и в Истории останется меньше невыученных уроков.

Впрочем, возможно, это сказка, сочиненная самими стариками, для привлечения западных туристов, а сами езиды спокойно ждут, пока их Тауш-Мелек или еще кто там образумится и будет прощен, и готовы ждать очень долго...